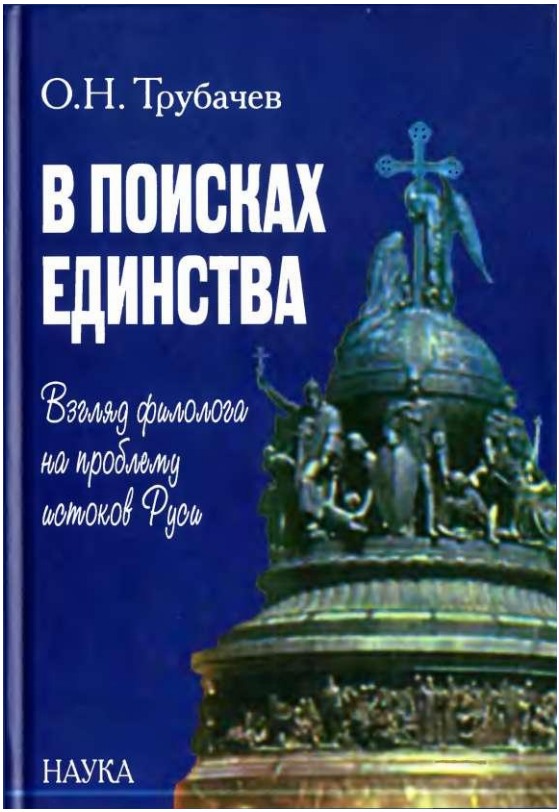

О.Н. Трубачев
В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА
Взгляд филолога на проблему истоков Руси
НАУКА

ТРУБАЧЕВ
Олег Николаевич

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
им. В.В. ВИНОГРАДОВА

О.Н. Трубачев

В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА

Взгляд филолога на проблему истоков Руси

Издание третье, дополненное

МОСКВА НАУКА 2005

УДК 811.16
ББК 80
Т77

Составители:
Г.А. Богатова, И.Б. Еськова, И.Г. Панова

На переплете изображен
памятник "1000-летие России" (1862 г.)
скульптора М.О. Микешина, установленный в Новгороде Великом

Трубачев О.Н.
В поисках единства : взгляд филолога на проблему истоков Руси / О.Н. Трубачев. – 3-е изд., доп. – М. : Наука, 2005. – 286 с. – ISBN 5-02-033259-3.

В книге рассматриваются вопросы происхождения восточнославянских народов, названия славянских городов, областей. Настоящее издание дополнено новыми главами: "Из истории языка древней и новой Руси" и "Россия и Европа", а также включает библиографию трудов О.Н. Трубачева.

Для историков, филологов, публицистов и всех, кому небезразличны отечественные язык, история и культура.

По сети "Академкнига"

ISBN 5-02-033259-3

© Институт русского языка
им. В.В. Виноградова РАН, 2005
© Редакционно-издательское оформление. Издательство "Наука", 2005

К ЧИТАТЕЛЮ

Прошло уже несколько лет с тех пор, как я получил приглашение выступить по высокому поводу – дни памяти святых Кирилла и Мефодия и тысячелетие крещения Руси. Так родилась серия "В поисках единства", предлагаемая ныне читателю и собранная в одной книжке (последовательные выступления на кирилло-мефодиевских празднествах в Новгороде, Киеве, Минске, Смоленске, Симферополе, Ялте, а также в Москве, Рязани и др. городах). Собственно, вначале у меня не было этой ясности, что я берусь осуществить именно серию. Ясность пришла потом, по мере того, как нанизывались факты ближние и дальние, объединенные радующим меня чувством, что у меня есть что сказать нового по каждому из этих фактов языка и истории славянского племени. Фундаментом, естественно, послужили мои многолетние работы над Этимологическим словарем славянских языков и исследования этногенеза славянских народов. Зато мне было ясно – уже с первых шагов, что я буду говорить о **единстве**, важном для всех нас, – единстве, угрожаемом и перевираемом и подчас задрапированном в ученую пелену, плохо проницаемую для глаза. Мне действительно очень хотелось при этом показать внутреннюю связь вещей, сложных в научном отношении и нередко отделенных от сего дня немалым временем, и того, что может представлять и сейчас повседневный интерес. Конечно, я не тешу себя надеждами заинтересовать своими мыслями всех. Конечно, мне был бы дорог доброжелательный интерес прежде всего тех, кто на вопрос о том, где родился и живет, отвечает "в России", а не "в этой стране"... Остается признать, что предлагаемая серия очерков "В поисках единства" в сущности не имеет конца (как не имеют его и сами поиски), все прочее читатель почерпнет сам, если даст себе труд перелистать до конца эту небольшую книгу. На этом кончу свое напутствие, но позволю себе еще задержать внимание читателей на обстоятельствах, казалось, внешних.

Возвращаясь памятью на эти несколько лет назад, я должен признать, что чувствовал себя тогда много увереннее, и в этом, думаю, со мной согласятся, потому что тогда существо-

вал наш Союз, отмену которого декретировали известным образом недавно. Мы знаем, что мнения на сей счет поляризовались: на одном полюсе – торжествующие вопли о крушении империи, на другом – сожаления о разрыве тесных экономических связей и чаяния, что связи эти до конца все же не разорвать и что они еще сведут нас воедино. Но учредители самостийных железнодорожных тарифов и прочих политических, таможенных, валютных границ искренно позабыли о том, во что лично я глубоко верю. Дело в том, что ни одна подлинно великая страна не кончается там, где кончается ее территория. Феномен этот в мировой практике известен, но признается охотно не во всех случаях. Я имею в виду притягательность великих стран и культур. В наших средствах массовой информации промелькнуло как-то, что о приеме обратно в Британское Содружество просит Пакистан, в прошлом – часть Британской Индии и, следовательно, – Британской Империи. То, что итогом распада этой империи оказалось образование также ряда в сущности англоязычных государств, известно. Я не намерен здесь пускаться в рассуждения о колонизаторской и ассимиляторской политике и чрезмерно обобщать. Но есть факт, что в республике Ирландии почти не осталось говорящих по-ирландски, зато в молодых многонациональных и многоплеменных государствах Африки и Азии пользование единым английским языком оказалось даже сплачивающим фактором. То же можно наблюдать и на примере частей бывшего Французского Союза и, наверное, также на других. Фактор общего языка, незримого, как воздух, которым дышим, обретает особую значимость – для многих, если не для всех в этом меняющемся мире. Этот закон, похоже, не писан только для нас. Вот и приходится напоминать нам некоторые имеющие к сему отношение вещи. Союз, который лукавые политики, как им кажется, благополучно развалили и даже проводили в последний путь, помнится, признанием "лицемерности" (?) его характера, – союз этот и не думал распадаться, но, как говорится, был, есть и будет. Нам, огрубевшим от нашей материально неблагополучной жизни, самое время напомнить, что крушение материального Союза ССР не означает полного и бесповоротного его крушения, ибо последнее, смею надеяться, все же не затронуло лучшую, в полном смысле слова нетленную, часть нашего союза, о которой я имею кое-что сказать уже профессионально как языковед, ибо это – языковой союз, **русский языковой союз**. Как уже говорилось, ни одна подлинно великая страна не кончается там, где кончается ее территория. Значительно дальше простирается влияние культуры

великой страны, и это влияние идет практически всегда через ее язык. Знание языка великой культуры пускает корни в сопредельных инонациональных регионах, языки которых при этом связывает с наиболее авторитетным языком макрорегиона целая система своеобразных отношений, которые укладываются в понятие языкового союза, уже относительно давно принятое в мировой лингвистической науке. Разумеется, в действительности процессы эти проходят не в стерильном пространстве, они развиваются на фоне реальных политических и экономических отношений. Последние могут сдерживать, но могут и усиливать рост авторитетности центрального языка культурного региона. Все сказанное имеет отношение к России и к русскому языку. Многоруганная централизованность политико-административной власти в Российской империи, возможно, сказалась, со своей стороны, на такой известной особенности русского литературного языка, как его единство, безвариантность, а это, в свою очередь, гарантировало удобство, надежность и действенность именно русского языка как средства самой широкой коммуникации. Не надо также забывать и ту простую мысль (пока нас от нее совсем не отучили), что русский язык был не только языком официальной администрации, но и – прежде всего – языком великой культуры. Все это в совокупности сообщало ему высокую притягательную силу, чего, естественно, не было бы в помине, если бы язык просто "насаждали", за ним же – ничего не стояло.

Сейчас трудно рассчитывать на доброжелательное обсуждение этого вопроса, ибо он, вопрос о русском языке, оказался уже давно втянутым в политические игры, участвовать в которых нет никакой охоты. Достаточно, думаю, только коротко рассказать. В общесоюзном парламенте, похоже, сделали все возможное, чтобы не признать самоочевидного – общегосударственного статуса русского языка. Не стало Союза, самоупразднился парламент, и вот почти с тем же усердием забалтывают вопрос о статусе русского языка уже в Верховном Совете России – вещь невозможная для уважающего себя государства! Но я **лично** читал, как в проекте соответствующего российского закона протаскивались любые мыслимые формулировки – о государственных языках (!) России, о множественных суверенитетах, ну, словом, все, кроме честного признания единственного реального факта: в России, а также между Россией и другими республиками (да и между самими республиками в любых двух – и многосторонних отношениях!) официальные переговоры ведутся на русском и ни на каком другом. Чем объяснить недостаток доброй воли, явствую-

щий из слишком очевидного нежелания признать эту безальтернативную реальность? В самом деле, мне интересно знать, как переговариваются между собой в Риге лидеры стран Балтии – неужели через переводчика (ведь литовский и латышский, с одной стороны, и эстонский – с другой – очень разные языки, взаимопонимание исключено)? Или, может быть, по-английски? Я почему-то наивно полагаю, что они делают это скорее всего и – проще всего – по-русски. Наша печать хранит об этом непривычно деликатное молчание, а, по-моему, информация такого рода выглядела бы красноречиво именно сегодня, ибо вот то, что держит нас вместе прочнее экономических уз, всяких там (недо)поставок зерна и нефти. Что руководители государств – членов СНГ – говорят в Давосе (Швейцария) по-русски, я, кажется, понял сам, несмотря на необъяснимо деликатное глушение по Центральному телевидению. Никакие вспышки суверенности не заслонят незыблемого факта, вряд ли кто-нибудь настолько наивен, чтобы перестать понимать и не видеть, что, только владея русским языком, попрежнему все же легче добраться от Клайпеды до Курил и обратно.

Но дело не в облегчении вояжей по нашему необъятному "пространству". Речь идет об организующем и единящем начале, которое я назвал выше **русский языковой союз** в границах старой России и недавнего Союза. Впервые я высказал это в газете "Правда" в 1987 году, затем – несколько шире – в журнале "Дружба народов", годом позже (ну, и помимо этого, в специальном академическом журнале). Высказал и – сразу сподобился нападок и политических ярлыков вроде "шовинизма". Разумеется, такая реакция неадекватна и несправедлива, и я не могу уважать тех, кто поспешил приписать мне соответствующие "измы" и приклеить эти ярлыки. Мне почему-то верилось, что положение о языковом союзе в нашей стране достаточно серьезно и заслуживало бы иного отношения. Вряд ли честен в моих глазах лингвист, который орудует политической демагогией и трусливо уклоняется от обсуждения. Будущее, собственно, очень скоро и показало это, причем – весьма конфузливым для моих оппонентов образом. В 1990 году журнал "Вопросы языкознания" опубликовал архивную посмертную работу (о которой я – тем самым – имел право не знать) крупнейшего русского ученого XX века, филолога, князя Николая Сергеевича Трубецкого, и в работе этой весьма выразительно говорится о влиянии русского языка примерно в том же околорусском культурно-языковом ареале. Лучшего подтверждения своим мыслям о действительном наличии русско-

го языкового союза я не мог и желать, и неважно, что покойный ученый не называет этого феномена именно так (может быть, сработала идиосинкразия выражений языковой союз – Советский Союз, неприятная для заграничного русского? Хотя как раз самому Трубецкому принадлежит инициатива введения в 20-х годах в научный оборот идеи и термина "языковой союз"!). Главное – нельзя не видеть, что ученый понимает и характеризует это явление точно в указанном смысле, каким-либо кривотолкам должен быть положен конец. "Сильное русское влияние" на многочисленные литературные языки народов России – Евразии, их формирование "преимущественно на переводах с русского", "русская литературно-языковая традиция", роль русского литературного языка как "мощного очага литературно-языковой традиции" – таково видение проблемы Н.С. Трубецким. "Существует сейчас и будет существовать и впредь зона литературно-языковой радиации русского языка, подобная таковой же зоне греческого, латинского и т.д. языков" (Трубецкой Н.С. – ВЯ 1990. № 3. С. 128). Итак, почему не слышно обвинений в "шовинизме" в адрес Трубецкого, которому при желании можно бы приписать и "имперские настроения" (сейчас – очень модно в иных устах)? Приумолкли мои весьма избирательные оппоненты, эти любители – до поры – тушевать все русское под "советское", а сейчас – под подоспевшую новую волну, когда русского не доищешься за "российским"...

Описываемый феномен вправе интересовать не одних языковедов, речь идет, по сути, о нашей с вами ноосфере. Науке уже известны разные типы языковых союзов, среди них довольно хорошо изучен балканский языковой союз, возникший на народноразговорной основе и на разрушении старых письменных языков Балкан. Наш – русский языковой союз – больше походит на другой, позднее вскрытый европейский языковой союз, отличие последнего в том, что он сформировался на книжно-письменной основе греко-латинской цивилизации. Русский языковой союз тоже берет начало в письменной культуре, в старой влиятельной канцелярии русского государственного центра. Да, устойчивые обороты и шаблоны письменной речи этой канцелярии решали многое, только им соглашалась верить Москва, которая, как говорится, "слезам" верить отказывалась. Конечно, это был лишь один из стимулов и каналов влияния, правда, может быть, один из самых стойких, но сюда приложилось со временем еще очень многое из того, что необходимо для формирования мощного культурно-языкового союза, ибо базой языкового союза, особенно

такого, с которым мы имеем дело, всегда служит культура. Языковой союз – это масса тождественных по значению и употреблению слов, терминов культурной жизни, оборотов речи, не говоря о прямых заимствованиях. "Дающим" по преимуществу является при этом наиболее авторитетный язык региона, и не надо забалтывать также и эту реальность демагогическими лозунгами уравниловки (помню, как на меня осерчали за простую констатацию, что русско-чукотские языковые отношения не предполагают столь же выраженного влияния чукотского на русский, как и русского на чукотский, причем у меня и в мыслях не было задеть чукотское национальное достоинство). Ярко и объективно наличие языкового союза подтверждается относительно легкой переводимостью с одного языка региона на другой; сказывается выработка достаточно массового общего фонда понятий, значений слов, оборотов речи (клише). Всякое иное объяснение было бы искусственно. Примером (причем довольно убедительным) того, как целая категория, модель одного языка передается ряду других членов языкового союза, мне по-прежнему представляется распространение в нерусской языковой среде модели фамилий на *-ов*: начиналось все, видимо, с обязательности официальной канцелярской формы фамилий в той культурной среде, где подобное (русское) обыкновение еще не утвердилось, особенно массово – в тюркоязычных областях, но и не только в них, вспомним дублеты Цертелев-Церетели, Чубинов-Чубинашвили, Сулакадзев-Сулакадзе (русский – грузинский); Фанарджян-Фанарджев, Сараджев (армянский – русский). Ср. и довольно многочисленные тюркские фамилии с русским суффиксом *-ин*: Губайдуллин, Мантулин, Сейфуллин. Но, конечно, есть и другие, менее массовые и меньше бросающиеся в глаза случаи, скажем, Гайвазян-Айвазовский, это уже будет тип русских фамилий на *-ский*. Словом, материя эта явно заслуживает спокойного обсуждения и изучения. И, может быть, я не так уж ошибся, вынеся именно этот лингвистический, гуманитарный вопрос о языковом союзе в нашей стране сразу на общенародную трибуну. Видно, время пришло, да и вопрос этот – не рядовой, а из ряда вон выходящий, призванный (я в том уверен) формировать наше общее самосознание, то самое, которое определяет – особенно на перспективу – наше бытие, пожалуй, поглубже, чем эта галопирующая дороговизна сегодняшнего дня.

Я говорю о языковом союзе в границах старой России – союзе, который не признает новых лоскутных границ, потому что считаю важным сказать об этом именно сегодня, вижу в

этом нечто, в чем можно черпать уверенность, что не все еще пошатнулось и пошло в распыл. Сейчас ведь совсем мало осталось того, что способно вселять уверенность в прочности нашей страны и ее будущего. Жизнь серьезно испытывает нас, перед глазами постоянно проходят апокалиптические картины общего распада. Но это, как говорится, еще не конец. Давно уже при чтении одного исторического сочинения мне запомнилась одна пронзившая меня простая мысль о том, что в самую, казалось, безнадежную годину дробления Древней Руси на княжества, а княжеств – на еще более мелкие уделы, именно в эту пору, а не в пору минувшего расцвета – началось **сложение древнерусской народности**. Этот ободряющий пример хотелось бы подольше задержать перед глазами. Он поучителен тем, что отводит материальному относительно скромное место и позволяет оценить истинные потенции духовного в той его части, о которой вспоминают в последнюю очередь, если вспоминают вообще, – о языке.

Русский языковой союз – великое и достаточно уникальное культурное наследие, его надлежало бы хранить, а не замалчивать, тем более, что в нем – одна из гарантий сохранения единства страны и ее культуры также в будущем. Оппоненты и всякого рода "литературные чекисты", конечно, не заставят себя долго ждать и на этот раз и увидят обязательно во всем изложенном действия "апологета русификации", хотя все эти эпитеты и ярлыки – не более как очередные политические игры с целью устранения инакомыслия и как таковые заслуживают нашего презрения. Да и сама "русификация" (тем более – умышленная, целенаправленная русификация) – злонамеренный и очень избирательный миф, возьмем хотя бы то, что больше ни один из мировых языков не удостоился подобного специального "ассимиляторского" термина, а ведь история любого большого языка знает и освоение новых пространств. Кроме всего прочего, влияние языка на язык – естественный процесс, иначе в реальной жизни просто не бывает, поэтому и тут проглядывает очень нарочитое стремление особо обвинить именно русский язык. А между тем **русский языковой союз не направлен против других языков региона**, это, пожалуй, тоже важно отметить, тем более что расплодившиеся охотники читать между строк подвергнут это сомнению в первую очередь.

Здесь нет колониализма – ни старого ("разделяй и властвуй"), ни нового ("уйти, чтобы вернуться"), нет политики кнута или пряника (с "пряниками" туго...), нет вообще политики, языковой союз, в отличие от союзов политических, никто

не строил, он установился сам и еще пребывает в наших суверенных домах – как залог, быть может, нового, более совершенного единства. Не проглядеть бы нам его в этот раз.

Академик О.Н. Трубачев

От составителей. Такого обращения к читателю для третьего издания академик О.Н. Трубачев написать не успел, но на страницах второго издания в корректурных примечаниях уже были обозначены планы и новые источники его дальнейшей работы. Кроме "Этимологического словаря славянских языков", выходившего с 1974 г., многие положения настоящей популярной книги восходят к исследованиям "Indoarica в Северном Причерноморье" (1999 г.). Это не только книга, но и целое направление в науке, новая ветвь знаний о древности южного региона, включающего значительную часть Украины, весь Крым и Северо-Западный Кавказ. Когда в прошлом веке была продемонстрирована иранская принадлежность языка скифов и сарматов, населявших эти места, это было открытием. Но со временем накопились факты, удобно обозначенные как "нескифское в скифском". Иранский постулат не был отвергнут, но необходимо потеснен в интересах случаев, которые с его помощью не читались. Двадцать с лишним лет назад удалось сформулировать гипотезу и построить теорию о наличии в Северном Причерноморье в геродотовские и в более близкие к нам времена также особого – **индоарийского** – этнического компонента, ближайше родственного, а порой тождественного по языку, индийскому, санскриту. Не имевшие письменности синды (жители нижнего Дона) и меоты (жители Кубани) "заговорили". В последних главах этого издания перед нами реликты языка, этноса, культуры. Важно отметить, что это реликты читаемые. Академик В.Н. Топоров назвал эту книгу "россыпью открытий О.Н. Трубачева, позволивших искать истоки названия Руси в местах, связанных с древними поселениями славян (Тмутаракани, Подонья)".

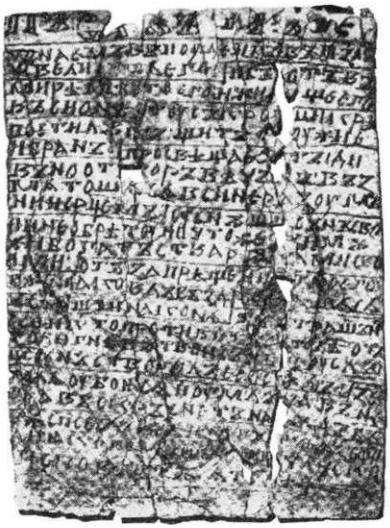
Дальнейшая работа над лексикой, культурной и этнической историей славян была продолжена в двух изданиях книги "Этногенез и культура древнейших славян: лингвистические исследования" (М.: Наука, 1991, 2003).

Так научные открытия попали на страницы третьего издания популярной книги "В поисках единства".

В настоящее издание вошли главы VI "Из истории языка древней и новой Руси" и VIII "Славяне и Европа", написанные О.Н. Трубачевым после выхода второго издания книги, и как Приложение Хронологический указатель трудов О.Н. Трубачева.

I

Новгород Великий



Из археологических находок 2000 г. в Новгороде Великом Псалтырь. X в. (Янин В.Л. Средневековый Новгород. М.: Наука, 2004. С. 120).

Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?.. А если бы все были один член, то где было бы тело?..

Первое послание к Коринфянам
св. Апостола Павла, гл. 12

Итак, с чего начать рассуждение о единстве? Не лучше ли с Новгорода и вовсе не потому, что это пример, удобно подсказанный случаем, а скорее – как тот камень в древней притче, который хотели сначала выбросить строители, а камень оказался главою угла...

Не так ли и Великий Новгород, который смущает иных исследователей, быть может, потому что не лезет в построенные ими схемы, и тогда эти ученые предпочитают забыть о Новгороде хотя бы на время... Я думаю о тех исследователях, которые ведут счет России и русскому языку только с XIV в., как и языкам украинскому и белорусскому. Они пекутся о единстве трех восточнославянских языков, честь им за это и хвала. Нам тоже дорого это единство братских языков, вышедших из древнего языка Киевской Руси. Но как решить тогда загадку Новгорода и его языка? Считать ли и его русским только с XIV в.? Но еще из XI в. дошли до нас новгородские берестяные грамоты, в которых русские люди обращаются друг к другу на русском языке. Вот пример условной схемы, которая втискивает в прокрустово ложе слишком поздних дат на самом деле гораздо более древнее и непрерывное существование русского языка, а возможно, и языков украинского и белорусского. Стоит Великий Новгород, а в нем – наперекор сомнениям – уже больше века стоит памятник Тысячелетия России, и тут, как говорится, ничего ни прибавить, ни отнять.

Но он и дальше не дает покоя умам, этот удивительный город, достаточно древний, чтобы называться "Новым городом", достаточно отдаленный географически от Киева, "матери городов русских", и столь привлекательный своим непокорством татарскому игу. Один зарубежный автор дал волю своим фантазиям о том, что было бы, если бы в XV в. Новгород победил Москву и открылась бы уже тогда – не окно в Европу, но целая дверь, и хлынула бы в эту дверь западноевропейская цивилизация, и смягчились бы нравы, и расцвела бы литература на живом русском языке раньше на добрых три века, и был бы поставлен за-

слон всей косности и азиатчине, которые в глазах того автора воплощала неполюбившаяся ему Москва... (см.: Исаченко А.В. Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой. Об одном несостоявшемся варианте истории русского языка. 1973). Другие судят строже о Новгороде, который в эгоизме своей республиканской обособленности не заботился якобы о единении Руси, и потому Москва одержала над ним также духовную победу.

Обе эти столь несогласные точки зрения роднит, как ни странно, признание особности Новгорода, Что же это за особность Новгорода, Новгородской земли, ее населения, ее языка, и как она сейчас видится нам, ищущим единство? И не получим ли мы именно отсюда роковой ответ, что не было единства, а было что-то совсем другое? Ведь речь на этот раз идет уже не о единстве русского, украинского и белорусского языков. Нет, на карту поставлена идея единства самого русского языка как такового. Но сначала – по порядку. То единство, которое мы имеем в виду, разумеется, не допускает простодушного понимания. Исследуя культуру и в ней – язык, необходимо уметь подняться до типологических обобщений и при этом – разглядеть единство в сложности, единство более высокого порядка, которое не может быть мертвым единством монолита, но только единством живого целого, состоящего из множества частей (вспомним слова из предпосланного нами эпиграфа: "Тело же не из одного члена, но из многих..."). Думая о единстве, занимающем нас, мы испытываем не одну лишь уверенность, но сознаем также и драматизм, потому что это единство (или эти единства) сейчас приходится доказывать, идет ли речь о древненовгородском диалекте и его единстве с остальным русским языком или о единстве культурного диалекта Древней Руси и нашего народного языка, или же наконец – о великом единстве всей русской культуры – древней языческой и – сегодня вот уже тысячелетней – христианской.

Такая программа способна дать пищу для ума многим и на многое время. Поэтому, сознавая свои ограниченные возможности, попытаемся лишь наметить ответы. Впрочем, это занятие, как и всякое другое, таит в себе профессиональные опасности, – когда, долго всматриваясь в предмет, начинают преувеличивать значение отдельных факторов, упуская при этом масштабы целого. Кажется, что именно так получилось с характеристикой этноязыковых корней Новгородского Севера. Известна, например, старая гипотеза об особом, западнославянском, происхождении северновеликорусов Великого Новгорода (Вопросы языкознания. 1980. № 4. С. 44). На чем она основана? На том, в частности, что в новгородских говорах имеются черты сходства с языками

западных славян; коротко говоря, и в одних, и в других сохранились некоторые старые сочетания звуков, тогда как на всей остальной русской территории эти сочетания давно изменились, упростились (Зализняк А.А. Наблюдения над берестяными грамотами; Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977–1983 гг.).

Особенно ярко обнаружились эти старые черты в древненовгородских грамотах на бересте, теперь всесторонне исследованных. Однако дает ли это основания считать древний новгородский говор и его носителей пришельцами из области западных славян, даже если оказывается, что вначале несхожих черт было больше и они сглаживались лишь впоследствии? Усматривать тут лишь усвоение чужеродного элемента – значит недооценивать единство собственного сложного целого, каким является ареал русского языка. К настоящему времени наука в общем неплохо изучила, как функционируют и развиваются такие языковые ареалы, и законы здесь одни для всех. Древнерусская языковая область была огромна и тысячу лет назад, но все обычные закономерности проявились и в ней. Новообразования языка при этом, как правило, выступают в центре ареала, тогда как уцелевшие древности, архаизмы естественно оседают и сохраняются на его окраинах, периферии. Новгородская земля была одной из периферий Древней Руси, на то время, быть может, – самой дальней. Так получилось, что именно новгородская окраина отпечаталась вместе со своим древним говором в древнерусской письменности, возможно, лучше всего, но это надлежит понимать в том смысле, что о других самобытных окраинах Древней Руси (например, о ее древнем Юго-Востоке, стертом Степью) мы просто ничего не знаем.

Поэтому, не впадая в профессиональные преувеличения, мы не станем вести древних новгородцев от западнославянских лехитов, да и общие архаизмы в языке у тех и у других с научной точки зрения не могут служить для этого достаточным резоном, каким в случае совместных языковых переживаний могли бы быть только **общие новообразования**. А таковых как раз не имеется, и это показательно. Лехиты (то есть западные славяне, близкие к полякам, и сами поляки) и новгородские словены – это родственные друг другу славяне, а о единстве всех славян, дорогом нашему сердцу, мы еще скажем дальше. И Балтийское море, конечно, не разделяло, а соединяло народы, населявшие его берега, и древние пути тянулись из Южной Прибалтики и с Вислы к Волхову и Ильменю.

Но торговые связи – это еще не миграции целых народов. Расселение по Восточноевропейской равнине шло с юга на се-

вер и никак иначе, тем же путем поднималось и культурное развитие. Древняя обособленность новгородского диалекта не мешает нам видеть в нем исконный (а не приращенный!) член русского языкового организма, а те, кто из этой особенности спешат сделать вывод о **гетерогенности** компонентов восточнославянского языкового единства (см. Хабургаев Г.А. Становление русского языка. М., 1980), просто не дают себе труда понять сложный изначально диалектный характер этого единства и не утруждают себя также соблюдением правил науки – лингвистической географии. У таких теоретиков выходит, что все своеобразие – заемное: "В результате языковой ассимиляции аборигенов". Доходит до того, что и знаменитым русским полногласием (*город, молодой, береза* и много-много других примеров) мы опять кому-то обязаны – балтам (Хабургаев Г.А. Загадка восточнославянских редуцированных. 1984), хотя известно, что самобытное ударение этих русских слов имеет древнюю, еще индоевропейскую природу!

Внешнее правдоподобие того исторического обстоятельства, что древнерусские племена в своем более чем тысячелетнем распространении на север и северо-восток действительно приходили в соприкосновение с балтийскими и финскими народностями, еще не доказывает того, что наступало безоглядное смешение, а значит, мол, и русский народ и русский язык – сплошная гетерогенная смесь. Нет, это может устроить только тех, кто не отличает правдоподобия от правды. Ведь на огромной лесистой и полноводной равнине древней Восточной Европы местные племена охотников, рыболовов и примитивных земледельцев были по жизненной необходимости расселены очень редко. Новые "насельники", Русь, и местные племена продолжали жить "особе", сосуществовали; ни о каком безоглядном смешении не могло быть и речи. Праздным рассуждениям о таком смешении, об "ассимиляции аборигенов" я бы противопоставил профессиональные выводы наших антропологов о том, что в расовом, антропологическом отношении влияние аборигенов Восточной Европы на восточных древнерусских славян оказалось минимальным и что восточнославянские народы хорошо сохраняют свои изначальные праславянские признаки (Алексеева Т.И., Алексеев В.П. см.: VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973). Я допускаю, что этим трудно вдохновиться, когда усиленно рассуждаешь об особо смешанном происхождении великорусов, о массовом вторичном обрусении и т.д. Но все же полагаю нужным напомнить, что здесь сегодня больше преувеличения, чем тогда было обрусения. Наконец, ничем, кроме как немым изумлением, я не умею реагировать на встре-

ченные утверждения в юбилейном пылу, что Русь в X веке была многонациональным государством... Это – в десятом-то веке!

Короче говоря, бывает нужно истово сражаться против подстановки понятий, поэтому я позволил себе сказать несколько искренних слов в защиту понятия, дорогого и человечески, и научно – в **защиту русского этнического и языкового единства.**

А центр этого единства, центр древнерусского ареала медленно сдвигался на север и северо-восток, из Среднего Поднепровья в Волго-Окское междуречье, как бы сворачивая с пути "из Варяг в Греки" – пути, по которому "из Грек в Варяги", с юга на север, главным образом шло все наше развитие – развитие народа, языка, письменности, культуры.

Конечно, год 1988-й для русского народа и других народов-братьев проходил под знаком тысячелетия крещения Руси, конечно, русскую культуру последнего тысячелетия не без основания связывают, как и всю европейскую культуру вообще, с христианством. Но... Думаю, что сказать свое "но" нам придется еще не раз – всякий раз, когда возникнет необходимость не поддаваться "слишком очевидным" очевидностям. Так, справедливо считается, что новая культура появляется сначала в неадаптированных формах, что престижу новой религии способствуют более высокие формы языка или вообще – язык, несколько отдаленный от народной основы, например, чужой язык. Этим языком христианской веры оказался у Древней Руси так называемый церковнославянский язык с характерными южнославянскими, болгарскими чертами. Следует ли это понимать в том смысле, что до введения в богослужебных целях церковнославянского языка на Руси своего собственного литературного языка не было и не могло быть? Значит ли это, что церковнославянский книжный язык уже по логике вещей был **единственный древнерусский литературный язык**? Вот вопрос, который наука прошлого завещала науке наших дней (см.: Горшков А.И. Отечественные филологи о старославянском и древнерусском литературном языке. М., 1987). Претендовать на его бесповоротное решение трудно, но все же свежий взгляд на вещи кажется небесполезным и здесь, особенно потому, что здесь множатся подчас тупиковые воззрения, вроде того, что до 1700 г. "никакого русского литературного языка не существовало" (Исаченко А.В. Возникновение русского литературного языка. 1978). Тут самое время вновь напомнить о неслучайности наших поисков единства – будь то единство культуры народа или единство языка в его диалектах. Для нас важно именно **единство**, а не **система**, ибо система есть скелет, а нам требуется дыхание жизни, которое возможно лишь в единстве всех частей и функций.

Неуместным парадоксом, возможно, прозвучит, но все же – пусть прозвучит мнение, что наши трудности с определением природы русского литературного языка проистекают оттого, что совпало введение христианства и одновременно – церковнославянского книжного языка. Подобным образом обстоит дело и с другими христианскими народами, хотя это и не обязательно. Крещеная Греция осталась при своем эллинистическом койне ("общем диалекте"), крещеный Рим – при своем латинском языке. Если бы не крещение Руси, то, вероятно, не был бы введен у нас и церковнославянский (болгарский) книжный язык. Отсутствие **пришлых форм культуры и новой религии** благоприятствовало бы употреблению **привычных форм языка**. Да, но – каких ? Тех же, что употребляются в обиходном общении? Или они не все подходят для более высоких целей? Так и хочется сказать – для письменной функции, хотя это только усиливает острую нашу неудовлетворенность состоянием проблемы начал нашего литературного языка.

Схематизм существующих решений этой проблемы закрывает перспективу, нужны более широкие типологические подходы, **не скованные (пусть это не покажется странным!) гипнозом письменной формы языка**. Такие подходы есть, их представляет изучение **праславянского языка и его диалектов**, вообще – дописьменного и бесписьменного языка. Наивно представлять себе, что дописьменный язык существует только в виде местных народных диалектов. Нужды дела, коммуникация всегда вели к междиалектному общению, при котором – в интересах лучшего взаимопонимания – всегда существует тенденция избавляться от слишком местных диалектизмов. Это уже – путь к **наддиалектным** формам общения и хранения информации, он неизбежен. А договоры, клятвы, обращения к божеству – все это уже было под солнцем и притом – до христианства, практически всегда. А устная народная поэзия! Ведь это уже litteratura sine litteris, литература без букв. Добавим, что только это и делало язык – языком, а народ – народом, то есть **сознаваемым этническим единством**. Это есть общий путь для всех, единая, так сказать, формула развития (при всей моей нелюбви к формулам), с помощью которой можно вывести существование также исконно русского литературного языка, независимо от того, как бы ни сложилась потом его судьба. Наддиалект, развиваемый каждым нормальным, или, как еще теперь говорят, "естественным" языком, – это потенциальный предтеча литературного языка в распространенном понимании. Такой надрегиональный диалект существовал, надо полагать, и в рамках всего праславянского многодиалектного языкового пространства, именно он уже в эпоху праязыка славян

питал сознание **славянского этнического единства**, которое нашло выражение в едином наддиалектном самоназвании всех славян – *slověne, этимологически – что-то вроде "ясно говорящие, понятные друг другу".

Мысли о древних устных культурных наддиалектах медленно и с трудом, но все же прокладывают себе дорогу в науке. Даже применительно к Древней Болгарии уже высказано вероятие наличия особого устного культурного языка, который существовал еще какое-то время **наряду с церковнославянским письменным языком**, но потом был полностью вытеснен. Предполагали, далее, и существование различных праславянских культурных диалектов (Кравчук Р.В. Дифференциация праславянских культурных диалектов по данным словообразования. Минск, 1983). Как бы там ни было, показательна, например, судьба такого удивительного суффиксального форманта, как *-тель*, образующего стилистически высокие названия лиц (*создатель, спаситель, деятель*). Этот суффикс имеет исконно славянские народные истоки, но как раз в народных говорах представлен слабо. Он как бы **ушел из народной речи**, "сублимировался". Будет, видимо, правильно, если мы, признав исходной народную форму всякой речи (местные диалекты), обязательно признаем следом за этим неизбежную аристократизацию, то есть выработку через междиалектное общение **более высоких наддиалектных форм речи** каждым языком. Любое развитие предельно, и аристократизацию ждет в конце пути кризис, естественной реакцией на который отзывается новая демократизация. Говоря фигурально, сосуществование "санскритов" и "пракритов" вечно. Но сейчас для нас важна первая фаза циклического развития литературного языка – важна хотя бы потому, что русскому языку в ней упорно отказывают. К сожалению, исследования о русском литературном языке совершенно еще не затронуты этими историко-типологическими исканиями. Исследования генезиса русского литературного языка, казалось бы, изобилуют материалом письменности и литературы, но это может служить, скорее, примером, как фактическое изобилие не спасает от схоластицизма, в котором эти исследования тонут.

После сказанного ясно, что нас не может удовлетворить такая формулировка: "Начиная с христианизации на территории восточных славян сосуществовали два языка – **древнерусский язык в своей диалектной раздробленности** (выделено мной. – *О.Т.*) и церковнославянский..." (Хютль-Ворт Г. Спорные проблемы изучения литературного языка в древнерусский период. 1973). В настоящее время некоторые ученые у нас и за рубежом выступают с концепцией диглоссии в Древней Руси, при которой,

по мысли этих ученых, богослужебные и высокие функции были уделом церковнославянского языка, а светские, бытовые – уделом русского народного языка. При этом русский литературный язык мыслится в виде продолжения церковнославянского, а вопрос об исконно русском литературном языке как бы снимается. Естественно, что концепция диглоссии вызвала критику. Критиковавшие, в частности, отстаивали идею существования древнерусского литературного языка, правда, ставя ее в слишком тесную связь с другой идеей – существования у восточных славян письма до введения христианства (Мельничук А.С. О начальных этапах развития письменности у восточных славян. 1987). Сторонники диглоссии заимствовали свое понятие из исследований на материале весьма отдаленных языков, однако курьезно, что это отнюдь не оказалось проявлением их чуткости к проблемам типологии развития языка, напротив, мы вправе констатировать у них отсутствие вкуса к этой типологии, ибо как иначе объяснить то, что вопрос о развитии собственного культурного наддиалекта у русского языка при этом даже не ставился, а значит, **пренебрегалась универсалия развития языков**.

То, что реально имело место на Руси, соответствует, конечно, понятию двуязычия, а не диглоссии, потому что налицо множественные влияния **народного языка** на **книжно-церковнославянский** и обратно, то есть отношения **двух языков**. Именно наличие **взаимовлияний** и даже распространенность гибридных форм обоих языков убедительно свидетельствуют **против диглоссии с ее постулатом культурного неравноправия** высокого и низкого языков. Интересно, что, при всем обилии церковнославянской письменности, текстов на "чистом" церковнославянском языке не существует. В наши задачи не входит обозрение влияний церковнославянского на русский и русского на церковнославянский; они неплохо изучены и продолжают изучаться. Церковнославянский язык с самого начала в силу ряда обстоятельств оказался в преимущественном положении высокого языка в Древней Руси. Надо сказать, что это преимущество церковнославянского языка пользовалось постоянным вниманием ученых. Несравненно меньшее внимание привлекло **преимущество, которого церковнославянский язык был практически лишен**, а именно внутреннее развитие, присущее каждому естественному языку, в том числе и древнерусскому народному языку. Этот недостаток церковнославянского языка – мертвого книжного языка Древней Руси – завуалирован его кажущейся подверженностью моде и изменениям времени в отдельных случаях. Эти последние вызвали у некоторых западных исследователей даже иллюзию собственной эволюции церковнославянского языка: "Ибо в противоположность латин-

скому, с которым церковнославянский многими охотно сравнивается ввиду своих функций и своего надрегионального распространения, церковнославянский имел, начиная со своего возникновения в IX веке, чрезвычайно изменчивую и оживленную историю, которая протекала в значительной степени обособленно от развития окружающих разговорных славянских языков" (Вайер Э. Предисловие к изданию церковнославянского перевода Иоанна Дамаскина. 1987). Но для правильного понимания кажется важным настоять именно на иллюзорности собственной языковой эволюции церковнославянского языка, этого "языка без народа", постепенно насыщаемого элементами местной живой речи. Неслучайно в стране с местным живым славянским языком употребление церковнославянского языка приводит к тому, что оказывается невозможным даже написать грамматику, например, сербскоцерковнославянского языка. Согласимся, что собственная "оживленная история" заведомо мертвого языка есть нечто очень сомнительное. Мертвые языки типа санскрита в принципе лишены собственной истории.

Сказанное – не пустая констатация. Наоборот, от этого зависит многое дальнейшее, что мы можем сказать еще существенного по истории русского литературного языка. В исследованиях по истории русского языка можно встретить и такой эксперимент, способный привести к заключениям, кстати, прямо противоположным тому, что хотел экспериментатор. Берется, наример, одна статья "Русской Правды" – "О татьбѣ" как образец древнерусского юридического текста и делается в общем оправданный вывод, что текст этот **довольно темен**: "Хотя большая часть употребленных в этом тексте слов представляется знакомой тому, кто знает современный русский язык, точное значение целого остается почти совершенно темным. Одна из причин заключается в том, что из 14 имен этой статьи только 6 не изменили (или почти не изменили) свое старое звучание (*торг, конь, скотина, муж. истец, князь*). Остальные восемь имен совершенно неизвестны в современном русском языке: *татьба, мытник, видок, рота* – или имеют другое значение (напр., вост.-слав. *продажа* "штраф" – русск. *прода́жа*). Не любопытно ли, что возвышенно-абстрактные вокабулы церковнославянского гимна продолжают жить в современном русском языке.., в то время как "народный" или "исконный" словарный состав юридического или бытового языка XIII века всплывает в современном русском языке лишь обрывочно?" (Исаченко А. История русского языка. Т. 1: С начального периода до конца XVII в. 1980.)

Отсюда автор этого исследования (Исаченко А.В.) даже делает вывод, что "для развития современного русского литератур-

ного языка знание языка древних деловых документов не имеет первостепенного значения". Переходя к языку летописей, этот исследователь отмечает его "неоднородный" состав ("цитаты" из живой разговорной речи персонажей, народные пословицы, элементы языка народного творчества). Привлекаемый им далее отрывок из начальной летописи с рассказом о крещении княгини Ольги, по мнению исследователя, за малыми исключениями, написан "на чистом церковнославянском языке". И вот окончательный приговор автора: "Этот текст сегодня без труда понятен каждому, кто владеет русским языком и немножечко вчитался в церковнославянский. Если применять степень понятности как масштаб генетического родства языков, то придешь к выводу, что современный русский язык несравненно ближе стоит к церковнославянскому, чем, возможно, к народному языку грамот".

Но ведь это говорит единственно о том, что **один из языков**, а именно **народный язык юридических и бытовых документов**, был живым **языком** и, следовательно, **непрерывно развивался**, почему сравнение текста XIII и, скажем, XX в. объективно констатирует как бы "сдвиг по фазе", усложняющий понимание сегодняшнему человеку. Тогда как другой из языков (**церковнославянский русского извода**) предстает перед нами и в XII и в XX в. как **мертвый** книжный язык в своей **забальзамированной неизменности**. Да, он понятен современному **культурному** русскому, но лишь постольку, поскольку он вошел в современный русский язык на правах одного из стилей или типов книжной речи. Церковнославянские элементы, как бы ни входили они "в плоть и кровь" литературного русского языка, суть **цитаты и культурные заимствования**. Отрицать же значение народных текстов и элементов только за то, что их надо "переводить", можно, лишь игнорируя фактор времени и развития. И весь этот эксперимент – еще одна попытка взглянуть на русский язык как на существо, которое жить живет, а головы не отрастило. В споре с этой концепцией помогает уверенность в обязательном для каждого языкового развития еще с дописьменной стадии выделении и оформлении **наддиалектных, потенциально литературных** форм языка, и было бы странно настаивать, что именно русский – непонятное исключение из универсального пути развития языков, представляя собой "древнерусский язык в своей диалектной раздробленности" (Хютль-Ворт Г. Там же) с абсолютным вакуумом вместо культурного наддиалекта, который был якобы восполнен пришлым церковнославянским книжным языком.

Опыт истории литературных языков разных стран показывает необходимость серьезно отнестись к их родственной связи с соответствующими деловыми – дипломатическими языками. Это

вероятно даже там, где научная традиция привычно ставит вопрос об индивидуальном авторстве одной выдающейся личности, например Вука Караджича – создателя нового сербского литературного языка (Штольц Б. Об истории сербохорватского дипломатического языка и его роли в образовании современного литературного языка. 1973).

Итак, помышляя в своих рассуждениях, казалось бы, только о единстве, мы на самом деле обрели великое противостояние народного русского языка и церковнославянского, противостояние, которое наложило свою печать на русский литературный язык навсегда. Это удивительное явление нашей культурной истории, как и все истинно большое, несло в себе и утраты, и приобретения. Вместе с тем, хорошо понимая смысл определенных утрат собственной самобытности, связанных с иноязычным выражением привнесенной книжной христианской культуры, мы все больше проникаемся величием культуры, которую несло с собой письменное слово.

Если бы меня спросили, какие проблемы из всей обширной науки славянской филологии привлекают меня более всего, я бы назвал две равновеликие проблемы – происхождение славянских языков и народов и **возникновение славянской письменности**. Наша книжная старина хранит **сказания о начале славянской письменности**, и это уже само по себе замечательно. Мне, например, неизвестны сказания о возникновении **германской** письменности... Считается, что именно германские племена опрокинули Западноримскую империю, что не помешало им затем принять из рук Рима не только христианство, но и **латинское письмо**. Казалось, такая же естественная судьба ждала и славян, живших в тени мощной греко-римской культуры.

Но случилось другое. В 60-е годы IX столетия один человек, блистательный ученый Константин Философ, в монашестве – Кирилл, впервые сложил буквы славянского письма. Славянские книжники всегда умели гордиться этим великим культурным актом. Медленному вырастанию греческого алфавита из восточного письма они противопоставляли славянское письмо, которое создал "един свят муж". Возникновение латинского письма из западногреческих алфавитов тянулось столетиями, и здесь также нет авторства, нет печати гения. У нас вообще не так много таких точных великих культурных дат древности, как эта: вот уже 1132 года мы пользуемся славянской азбукой. Это письмо, созданное в Моравском княжестве, было с самого начала адресовано **всем славянам**. Наша начальная летопись хорошо видела и этническое единство всех славянских племен ("а се язык словенеск"), и единство славянского письма ("тем же и грамота прозвася славянская").

И пусть западные славяне в ходе истории и роста влияния католического Рима перешли на латинское письмо, – все равно они хранят память ослепительной культурной вспышки зарождения оригинального славянского письма. Что же говорить о нас, чья культура непрерывно продолжает кирилло-мефодиевские традиции! Неприкосновенность этих традиций поистине удивительна. Ведь даже значительность петровских преобразований выразилась не столько в европеизации государственных и общественных институтов, сколько, может быть, в том, что **не посягнули на русское кирилловское письмо**. Ограничились лишь умелой модернизацией его начертания, причем сделано это было так удачно, с таким тактом, что другие славяне, пользовавшиеся кириллицей, без колебаний перешли потом на **русский гражданский шрифт кириллицы**. Так красиво возвратила Россия старинный культурный долг тем славянам, которые раньше нее приобщились к славянскому письму.

Славянское письмо, книги славянского письма – извечный столп нашего культурного самосознания. Мы с благодарностью думаем о первоучителях славян – Кирилле и Мефодии, братьях, день памяти которых – 24 мая. Не случайно в некоторых славянских странах, например в Болгарии, этот день празднуется как День славянской письменности и культуры. Думаю, давно пора и в наш официальный календарь занести этот день как Международный праздник славянской письменности и культуры. Этот день памяти – один из символов единства славянских народов. Единство славян – важная тема, ибо сознание этого единства входит в самосознание самих славян. В нем никто никогда не сомневался, его не надо было доказывать, не требовалось насаждать путем просвещения. Его боялись те, кто в этом единстве не был заинтересован, и свидетельства этой боязни доходят до нас из прошедших веков (Басай М. Языковые аспекты славянского самосознания до XVI в. 1987). Историки отмечают такое далеко не повседневное явление, как сознание принадлежности не только к собственному народу болгар, мораван и др., но и ко всему славянству у современников Кирилла и Мефодия (Д. Ангелов. Славянский мир в IX–X вв. и дело Кирилла и Мефодия. 1985). Дальнейшая история потрудилась, как могла, чтобы подорвать общее сознание этого единства. На результате сказались и роковые стечения обстоятельств, и усилия недоброжелателей. Подвижники времен Кирилла и Мефодия верили, что они работают во имя единства славян, просвещенных отныне **единой верой**. "Летить бо нынѣ и Словѣньско племя // Кѣ крьщению обратишася вьси" – как о том вдохновенно повествует "Азбучная молитва" (Лавров П.А. Материалы по истории возникновения древнейшей

славянской письменности. Л., 1930). Какой порыв заключен в этих словах – *племя – ныне – летит*...! Это так же замечательно, как и многократно обыгрываемое в той же "Азбучной молитве" созвучие *слово* и *Словѣньско племя*, созвучие, как мы сейчас в этом уверены, отражающее научную этимологию имени славян. И как вместе с тем по-человечески понятна живая гордость этого первого поколения славянских просветителей успехами родного племени! Гораздо труднее понять тех авторов современных газетных статей, которые облюбовали именно цитату: "Национальная гордость – культурный стимул, без которого может обойтись человеческая культура" (см. ст. Кедрова К. в газ. "Известия" от 9 янв. 1988, и Гониотова – там же, от 27 февраля 1988, с упорным повторением той же цитаты).

Уже очень скоро единство новой христианской религии славян было подвергнуто жестокому испытанию: раскол церкви расколол и славянство надвое – римско-католическое славянство, православное славянство. Рим, немало помогавший братьям Кириллу и Мефодию в их борьбе с немецкими епископами, как бы оказался в чужом стане. А сколько других расколов еще разрывали потом душу и тело славянского единства! Казалось, тема единства должна была умолкнуть совсем. Но мы все же возвращаемся к ней. Как историка меня всегда интересует проблема единства старого и нового и вторая, не менее вечная проблема, вытекающая из первой: насколько новое – действительно новое, а старое – безвозвратно старое?

В IV в. христианство признается официальной религией в странах Римской империи. Почти тысяча лет ушла затем на то, чтобы христианизировалась вся остальная Европа – с юга на север и с запада на восток. Историкам религии известно, конечно, все в подробностях, но мне кажется, что у нас немногие задумывались над тем обстоятельством, что **из всех славянских народов Русь, оказывается, крестилась последней**. Еще к VIII в. относят крещение Словении, Хорватия крестилась около 800 года, в первой половине IX в. – Чехия, в течение IX в. – Сербия и Болгария. Даже поляки, обитавшие тогда в стороне от больших дорог, крестились лет на двадцать раньше, чем Киевская Русь. Получается, что "путь из Варяг в Греки", с которым связывают введение христианства на Руси и который мелькает поэтому в нынешних юбилейных высказываниях, имел относительно более скромное значение, чем то, которое ему приписывают. Позже Руси крестилась лишь окраинная Скандинавия (как раз те самые "Варяги") и – что любопытно – близкая соседка Руси Литва (последняя – всего шестьсот лет назад). К концу X века, на который приходится крещение Руси, христианство понесло уже значительные утраты имен-

но на Востоке, на близком к Руси Кавказе; постепенно переходит в ислам Абхазия, неподалеку от древнерусского Тмутороканского княжества, а от такой христианской страны, как Кавказская Албания, с обращением в ислам не остается ничего – ни культуры, ни государственности, лишь скудные следы в Ширване (Северный Азербайджан), о которых могут гадать специалисты. Православное христианство, таким образом, почти с самого начала существовало в условиях конфронтации с мусульманским Востоком, и славянское православие вынуждено было уступить турецкому исламу ряд своих позиций на Балканах – в области сербохорватского языка (Босния), в болгаро-македонской области. Случаи перехода русского населения из христианства в магометанство мне неизвестны.

Как все новое, христианство приживалось с трудом. И хотя киевский митрополит Иларион лет семьдесят спустя после крещения повествует об этом событии как о триумфе, действительность была и суровее, и сложнее. В Новгороде, обращенном в новую веру некоторое время после Киева и из Киева, разыгрались настоящие уличные бои (Введение христианства на Руси. М, 1987. С. 113–114). Как и во всех новообращенных странах, в Древней Руси сначала крестилась правящая верхушка – князь и его приближенные, которые, естественно, были жителями городов, точнее – города Киева. Затем последовали рядовые горожане. Язычество, как и повсюду, отступило при этом в села и на окраины. Поначалу некрещеных, видимо, никак не называли (еще не успели назвать), позднее их стали называть словами *языческий, поганый*, но все же охотнее относя эти "нехорошие" обозначения к иноплеменникам-нехристианам и врагам Руси, а не к своему народу. Свой народ уже считался весь христианским, что на деле было далеко не так, иначе откуда бы взяться волхвам, то есть языческим жрецам, которые не только существовали, но и сумели взбунтовать простой народ, и это – уже после митрополита Илариона. А слова *языческий* и *поганый* говорят сами за себя: *языческий* сначала значило "народный" (ведь *язык* – это также и "народ"), а *поганый* произошло из латинского *paganus*, что значило "окружной" (ср. "непрестижный" смысл наших современных слов *уездный*, особенно – *районный*), но уже в самом латинском языке *paganus* стало применяться для обозначения нехристиан, язычников. Так, прежнюю веру отцов, выраставшую как бы из земли, вечную и ниоткуда не пришедшую, "свою", сменила книжная вера, христианство, не сразу укоренившаяся даже в городах, а в села, остававшиеся дольше языческими, новая вера пришла еще позже. Но в языке постепенно обесцениваются все более или менее оценочные слова; когда масса простого народа

стала официально христианской, само обозначение христианина тоже оказалось "сосланным в село", словно вслед за язычниками первых времен, потому что в своей народной форме – *крестьянин* – слово стало названием рядового земледельца. Случай этот довольно оригинальный, так как из всех языков народов, охваченных христианизацией, как будто только в русском обозначение **христианина** превратилось в обозначение **землепашца**, потеснив исконное славянское *селянин* (в украинском и белорусском крестьянин по-прежнему называется древним словом *селянин*). Что-то отдаленно напоминающее историю русского слова *крестьянин* произошло с аналогичным исходным обозначением во французском языке (*crétin* – "слабоумный человек, кретин, идиот", в сущности – народная форма от латинского *christianus* "христианин"), и, само собой, там существует книжное слово того же происхождения *chrétien*, что означает "христианин".

У гонимого язычества путь был один – сначала на окраины Руси, потом – в уголки людских душ, в подсознание, чтобы там остаться, видимо, навсегда, как бы мы ни называли это – суеверием, пережитками или пережитками пережитков, как бы мы ни игнорировали все эти виды двоеверия. Не считаться с ним – напрасное занятие, ибо в двоеверии открывается своего рода отрицательная преемственность, то есть единство культуры. Конечно, говоря о единстве русской культуры, мы подразумеваем более высокое содержание и более фундаментальную преемственность, имея в виду при этом не только (и даже не столько) успехи дохристианской Руси на политическом поприще и ее известность в других землях, чем по праву гордился Иларион Киевский, поминая в "Слове о законе и благодати" "старого Игоря" и "славного Святослава": "не въ худѣ бо и невѣдомѣ земли владычьствоваша. нъ вѣ руськѣ. яже вѣдома и слышима есть. всѣми четырьми конци земли". Мы говорим о неразрывности культуры в понимании Джона Бернала ("Наука в истории общества"), а именно: "Древняя культура влияет на современную через посредство неразрывной цепи традиций, лишь последняя часть которой является письменной традицией". Таким образом, устремив вначале свои мысли к "тысячелетию русской культуры", мы отнюдь не хотели этим сказать, что русской культуре исполняется 1000 лет и – ни одним годом больше: это попросту невозможно. Историю русской культуры нельзя начинать с крещения Руси, как и выводить ее из Византии. Это можно делать, лишь не видя (или не желая видеть?) ее собственных корней. Отводя сразу упрек в голословности и одновременно выражаясь по необходимости кратко, я скажу о том, что понимаю под собственными корнями русской культуры: выработанную всем предшествующим

славянским и индоевропейским языковым и общекультурным развитием систему достаточно высоких религиозных и этических понятий, выраженную в соответствующей исконной терминологии. Наугад взятая фраза из церковного богослужебного обряда – "створим требу господеви и богови нашему" – вся состоит из еще языческих по своему происхождению терминов, как в общем верно сказано у известного нашего исследователя славянского и русского язычества Б.А. Рыбакова (Язычество Древней Руси. М., 1987. С. 227). Не на месте пустом и диком был выстроен величественный христианский храм.

Новая вера не только искореняла и истребляла все нехристианское, она умела проявлять гибкость, искать и быстро находить, на что опереться в старом сознании, в старом языке народа. Очень мудро был не отменен, но бережно использован прежний религиозный лексикон. Я думаю, что этот опыт древней христианизации вообще заслуживает изучения как удачный сам по себе, в противоположность всякого рода начинаниям более новых времен, которые как будто старались отличиться прежде всего переименованиями и введением новой терминологии, что всегда только отвлекает внимание от изменений по существу. Мне, конечно, могут возразить, что новая книжная вера принесла с собой лавину новой, греческой церковной терминологии, и все же это не самые частотные слова. Составители древнерусского словаря XI–XIV вв. подсчитали, что в древнейших русских более или менее светских (не богослужебных!) текстах не менее 10 000 раз употребляется слово *бог* (по данным Картотеки Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.), а слово *бог* было дохристианского, глубокоязыческого происхождения.

Даже без специальных подсчетов, думаю, позволителен вывод о ядерном, базовом и наиболее частотном употреблении терминов, взятых христианством у старого, дохристианского культа: *святой, вера, бог, рай, дух, душа, грех, закон* и некоторых других. Отныне то, что веками и даже тысячелетиями служило старой вере (а например, слово *бог* **оформилось как религиозное, вероятно, под иранским влиянием еще в скифскую эпоху, то есть по меньшей мере за тысячу с лишним лет до крещения Руси**), стало служить новой вере во Христа, в искупление и загробное блаженство.

Некоторые старые и тоже дохристианские термины, правда, при этом наполнялись – и даже "переполнялись" – новыми смыслами, причем по-разному в разных областях христианизированного славянства. Таково слово *закон* с его, видимо, первоначальной семантикой установления, регламентации поведения, обязательств, главным образом между людьми. Неудивительно, что старый смысл его был дополнен новым: "установление от бога",

особенно – в ветхозаветном употреблении, сравните у много поминаемого ныне митрополита киевского Илариона, который противопоставлял ветхий **закон** и евангельскую **благодать**. У поляков слово подвергнуто дальнейшему приспособлению: *Stary Zakon* "Ветхий завет", *Nowy Zakon* "Новый завет". Западное христианство посылало все новые импульсы, которые частью так и остались у западных славян, а к нам почти не дошли, например, польское *zakon* в значении "орден (монашеский)", *Zakon Krzyżacki* "орден крестоносцев" (на Руси и вообще в православии таких орденов, как мы знаем, и в помине не было!). На западных рубежах Украины еще можно встретить диалектное, гуцульское слово *зáкін*, обозначающее причастие. Но все это – новшества, а наше слово *закон* и сейчас еще хранит свое более древнее значение.

Изображать, что смена религий прошла мягко и безболезненно, нет причин. Старые боги сами не уходили, их свергали, били, топили, о чем имеются исторические свидетельства. Трогательно, однако, что, при всей резкости, революционности смены язычества христианством на Руси, как и во всем славянском мире, сопровождавшейся разорением прежних святынь, идею святости и само слово *святой* уходящее язычество передало христианству. Прежняя вера только потом была изобличена как *суеверие*, то есть "напрасноверие, тщетная вера", и древние наши предки-язычники сами себя и свою веру, разумеется, не называли *язычниками*, *язычеством*, *суеверием*, *поганством*. Все обличительное именословие родилось в борьбе, а раньше это, видимо, никак не называлось, но было сродни мудрости, вещему духу, доброму смыслу.

Выходит, единство было и ушло вместе с единоверием – древней верой-обожествлением всех сил природы, а победившее христианство оказалось ввергнуто в изнурительную и бесконечную борьбу с двоеверием, так никогда и не закончившуюся, поскольку никому не дано до конца изжить языческих леших из наших лесов, а домовых – из наших домов. Но раскол прежнего единства высвечивает тонкие и вместе с тем прочные нити, которые продолжают связывать воедино всю русскую культуру.

Так, нельзя пройти мимо того курьезного факта, что новая христианская вера, уготовившая рай только для собственных праведников-христиан (и, наоборот, ад – для упорствующих язычников), сама переняла слово *рай* у язычников-нехристиан. Дело в том, что, в отличие от европейских народов германского и латинского корня, славяне не заимствовали греческое название рая – παράδεισος! Зато – как бы для компенсации – слово и понятие "ад" пришло к нам вместе с христианством из Греции (*пекло* –

тоже пришлое, не народное у нас название ада с его кипящей смолой). Нельзя отрицать наличие мрачных сторон в мировоззрении и практике язычества, особенно если взять жертвоприношения, в древности – даже человеческие. Но идея ада как искупления отсутствовала, ее принесло христианство. В другом месте я более подробно пишу о том, что *рай* у наших древних предков-славян знаменовал расплывчатое широкое понятие загробного мира вообще, отделенного от мира живых водной преградой. Христианство, конечно, провело здесь строгую концептуализацию рая-вознаграждения и ада-воздаяния за грехи.

Неописуемо интересен культурно-типологически тот факт, что у большинства неславянских народов Европы все было в принципе наоборот. То ли по причине большей мрачности местных языческих культов (а о древних германцах это можно утверждать положительно), то ли в силу других специфических обстоятельств народным, дохристианским оказалось там как раз название **ада** – как первоначального обозначения **нижнего, подземного, потаенного** мира (лат. *infernum* и его продолжения во всех романских, немецкое *Hölle*, английское *hell*), а понятие и название **рая** в Западной Европе было заимствовано с приходом христианства из греческого. Во многом родственная славянам Литва тоже пошла, скорее, по "западноевропейской" модели христианства: своим, исконным там тоже оказалось понятие и название **ада** – литовское *prãgaras*, собственно – "жерло, пасть", а чужим – название **рая** (литовское *rõjus* "рай" – из славянского).

После сказанного, может быть, станет яснее тот многим известный и сердцем понятный феномен большей светлости и даже веселости нашего православного христианства и русской православной христианской архитектуры в сравнении, скажем, с католичеством Западной Европы и его храмами. Причина может корениться в том (как нам это теперь подсказывает язык), что духовной культуре древних славян была чужда мрачная идея посмертного возмездия.

Нередко даже в тех случаях, когда христианство привносило совершенно новое религиозное понятие, оно обращалось к существующему древнему лексическому и идейному фонду славян. Так, идея и образ **душевного спасения** и бога как душевного спасителя, очевидно, неизвестные дохристианскому, языческому мировоззрению, получили выражение в первоначально пастушеской, скотоводческой лексике древних славян: *спасти (съпасти)* – это ведь, в сущности, "пасти (домашний скот)", то есть первоначально "охранять и кормить", сюда же *спаситель (съпаситель)*, в христианской письменности – об Иисусе Христе, так-

же *спас (съпасъ)*. Так передавалось при переводах гнездо греческого σώζειν "спасать", σωτήρ "спаситель", древнее исходное значение которых – "крепкий, здоровый телом", как и у латинского *salvātor* "спаситель" (откуда названия Христа-спасителя в романских языках). Но уже в близких западнославянских языках Христос-спаситель носит название совсем иной природы – не из пастушеской терминологии, а из абстрактной лексики: польское *Zbawiciel*, собственно, "избавитель", напоминает уже немецкое название спасителя – *Erlöser*, тоже буквально "избавитель, освободитель".

Давно было замечено, что, хотя "официальное" крещение Русь получила из Греции, Византии, ряд важных христианских слов и понятий пришел на Русь, вероятно, значительно раньше и притом – не непосредственно из Византии, а совершенно иными путями, с Запада. Именно оттуда, через германское посредство, получили мы слово *церковь*, распространившееся и в других славянских языках. Этимологически близкое название церкви живет во всех германских языках, в то время как латынь и большая часть романских предпочли другое греческое название для церкви: *ecclesia*, собственно "созванное собрание (христиан)". И, как это ни странно на первый взгляд, крещенная Византией Русь употребляла для понятий "крестить", "крещение" совсем не греческие слова, но вместе со всеми остальными славянами наши предки называли этот обряд словом, очень давно пришедшим с Запада, из области немецкого языка. Заимствованное оттуда, наше *крестить*, как и *крест*, восходит к германской, немецкой форме имени Христа. В греческом имеется совершенно другое слово со значением "крестить" – βατίζειν, собственно, "погружать, омачивать, окрашивать"; из него произошло и латинское *baptizare* "крестить", распространившееся в романском мире, но странным образом совершенно не известное славянам. Эти немногие, но важные примеры показывают значительность и древность западных культурных импульсов, формировавших самое знакомство всех славян с христианством и навсегда положивших свою печать на славянское христианство. И все же ни их, ни им подобных влияний на Древнюю Русь со стороны западных славян (см. о них: Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры... Л., 1930) не стоит преувеличивать. **Знакомство с христианством** дошло до Руси **с Запада**, но **крещение пришло на Русь с Юга**.

Став внутрирусским явлением, крещение пошло дальше этим главным путем древнерусской культуры и цивилизации – от Киева к Новгороду (см.: Введение христианства на Руси. М., 1987).

Если развивать эту мысль о магистральном пути русской культуры, то необходимо добавить, что и летописание подобно христианству пришло в Новгород не с Запада, а с Юга, из Киева (Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977). Непонятно поэтому, как могут до недавнего времени появляться высказывания вроде того, что "мы решительно ничего не знаем о христианизации Новгорода..." (Исаченко А.В. Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой. С. 51. примеч. 3).

Итак, мы снова в Новгороде, после того, как был проделан немалый мысленный путь вспять к истокам русской и славянской культурной истории, письменной и христианской культуры в ее европейских связях. Позволительно, как путнику в конце пути, оглянуться на пройденное-передуманное, проверить, не упущено ли что из главного и даже не обязательно только главного. Бывают мысли-приложения и факты-приложения, способные в общей картине раствориться незаметно, а взятые порознь – привлечь особое внимание, как потом выясняется, вполне заслуженное. Укажем и мы два таких совершенно различных факта, или эпизода.

Обычно говорят о полифункциональности и престижности книжного языка, особенно, если в число функций входит богослужение, как в случае с церковнославянским на Руси. Этим всячески подчеркивается культурная оттесненность русского народного языка. Однако все гораздо сложнее, и в этой сложности и неоднозначности убеждает уже беглый взгляд на ономастику, прежде всего – на имена людей. В Древней Руси до крещения употреблялись, естественно, свои имена исконно славянского типа: *Святослав, Ярослав, Изяслав, Осмомысл, Остромир*. Их народность, а также высокость (княжеские имена!) стоит в неоспоримой связи с общенародным языком и помогает увидеть в дополнительном свете наддиалектность этого языка (**высокий** статус полных имен вроде *Ярослав*!). Все это не привлекало в нашей науке должного внимания, как и сами имена собственные, которые, например, в словари обычно не включаются. При этом как-то забывают, что имена – это тоже язык, язык и культура в своих, может быть, характернейших ракурсах. Ракурсах, которые могут объяснить много в языке и культуре вообще. С введением греческого христианства было официально принято много греческих крестных имен. Но этот формальный акт натолкнулся на **мощный традиционный народный узус**, мощь которого состояла в том, что он действовал в самых верхах древнерусского общества. И несмотря на то что, как обычно считается, у православных русских возобладал христианский (в основном греческий) именник,

нужно отметить большую стойкость и преимущественную употребительность (в официальной, деловой сфере, в летописях, документах, литературе) традиционных языческих русскославянских личных имен, например *Ярослав*. Ведь тот факт, что князь Ярослав Мудрый имел еще крестное имя Федор, всплывает только в настенной церковной погребальной записи о его смерти как о кончине мученика Федора и нуждается в расшифровке историка для идентификации.

Обнаруживается пробел в **многофункциональности** церковнославянского языка, во всяком случае такого его раздела, как именник. Церковнославянско-греческие личные имена в Древней Руси выполняли ограниченную (культовую) функцию, которой долго противостояла **не менее высокая и явно более широкая роль традиционного народного древнерусского (великокняжеского) имени**. Это один пример того, как полезно, оказывается, изменить трафаретный угол зрения на **бесконкурентно якобы высокий** статус церковнославянского языка.

В предыдущем изложении нас остро занимала культура до введения христианского культа, единство культуры в преемственности древних ее начал. Сюда относилась и проблема письменности до христианства. Некоторые формулировки звучат здесь заостренно дискуссионно, как кратко упоминавшаяся уже проблема литературного языка до введения письменности. Чуть ли не еще большим парадоксом покажется утверждение о существовании задолго до христианства на Руси, как и у остальных славян, терминов *буква, книга, писать, читать*. Ведь это уже терминология письменной культуры! Можно еще примириться с понятием литературного языка до письменности, имея в виду **устную** литературу, но конкретные термины письменной культуры до появления письменности! Проще понять случаи, запечатлевшие проникновение к славянам отдельных заимствований из соседних языков и культур. Таковы слова *буква* и *книга*. Они оба заимствованы давно, в праславянскую эпоху: *буква* – из германского названия букового дерева и дощечки из него с письменными знаками. Слово *книга* в столь же незапамятные времена, вне всякой связи с христианством, пришло с Востока и первоначально обозначало совсем не то, что мы называем книгой сейчас, что-то вроде "письмо, лист, покрытый письменами". Да и наше исконное слово *читать* ранее означало – "считать громко, вслух", как подсказывает его этимология. Но самое важное из всех слов, имеющих отношение к письменности, – слово *писать* – ниоткуда не заимствовалось, является исконно славянским, даже индоевропейским. А главное – оно всегда значило "писать", то есть не только "рисовать, писать красками" (сравните родственное слово

пестрый), но и буквально – "писать знаки, которые затем можно прочесть, поняв их смысл" (ведь писались же бортные знамена и гончарные клейма). Это безусловный парадокс, но парадокс замечательный и многозначительный для тех, кто ищет раскрытия древних культурных потенций. Тем более, что так было далеко не везде и не всегда, и другой, вполне естественный путь нам показывают немецкое *schreiben* "писать" – из латинского *scrībere*, первоначально означавшего "царапать", а английское *write* сначала имело в виду только "царапать", а уже потом – "писать". Наконец, само греческое γραφῶ, один из краеугольных камней всей европейской учености и культуры, тоже сначала имело смысл "скрести, царапать, делать зарубки".

II

Откуда есть пошел Киев... И другие вопросы

Златник Владимира Святославича с надписью: Володимиръ на столѣ. XI в. (ГИМ).

Мы и сегодня осенены великой тысячелетней датой крещения Руси, и в этом, конечно, все мы едины. Но ум и добрая воля способны видеть наше единство еще и во многом другом, не столь явном, но важном для нас всех, и ради этих поисков стоит трудиться. Не на месте пустом и диком воздвигся величественный храм новой веры; новая вера мудро использовала плоды культуры славянского духа и славянского слова. Взять хотя бы древнее, народное и единое по-прежнему для всех славян – католиков и православных – слово и понятие рай. Исконное свое название для блаженного потустороннего мира и различные заимствованные, новые, пришлые слова для ада, преисподней, пекла, мира возмездия...

Сколько подлинного и еще не до конца раскрытого культурного своеобразия стоит за этим, и какая бездна отличия от других индоевропейцев, от остальной христианской Европы, где, как правило, в этом случае все как раз наоборот!

И это только один пример. Можно говорить как бы о трех единствах русской и славянской традиции: об уже упомянутом вскрываемом через язык **единстве культуры славян дохристианских и христианских**, каковое демонстрируется через пример со словом *рай* и ряд других, затем – о нередко забываемом, но все же насущном **единстве древнего культурного наддиалекта и последующего письменно-литературного языка** и, наконец, **о единстве древнего** новгородского диалекта и всего древнерусского, древневосточнославянского языка.

В среде филологов и гуманитариев, думаю, известно, что три только что упомянутых единства у восточных славян порой оспариваются и весьма энергично, а значит, тут нет праздного интереса, напротив – есть что защищать. Вспомним хотя бы – кратко – вопрос, казалось бы, специально новгородский: актуальные или даже модные концепции прихода новгородских словен на Ильмень не с приднепровского Юга, а от западных славян. И повод для этого, казалось, есть – древние различия новгородской и киевской речи, и, наоборот, древние сходства новгородских и западнославянских особенностей. Но за всем этим все же кроется преувеличение при одновременном забвении некоторых фунда-

ментальных истин нашей науки (ограничимся лингвистической географией): так, для констатации общих исходных языковых судеб новгородским словенам и западным славянам нехватало самой малости, но этой "малостью" были бы общие языковые новообразования. Потому и дальше, чтобы правильно понять новгородскую речь, мы должны будем обращать свои мысленные взоры к Югу, к Киеву.

А как же древние северные отличия? Нашей теоретической мысли, конечно, покойнее представлять себе дело так, будто единство – это всего-навсего единство, а что сверх того, то от лукавого. В действительности все обстоит сложнее. Единство языка, языкового ареала не перестает быть единством, но это есть **единство живого целого, единство тела**. Об этом единстве живого целого лучше всего давно сказано в первом послании к Коринфянам святого Апостола Павла: "**Тело же не из одного члена, но из многих...**". Уже здесь со всей лаконичной простотой выражена мудрая мысль о сложности всякого целого, об этом **единстве в сложности**.

Нельзя не удивляться, как долго шла по линии самоупрощения и самообеднения теоретическая мысль, соблазняясь всяким проявлением сложности, и как далеко она при этом зашла, умудряясь всякую "мешающую" сложность воспринимать как **отрицание единства**. Существуют целые достаточно вульгарные теории гетерокомпонентного образования древнерусского языка. Не станем спорить против возможных инородных компонентов в языке и этносе; они целиком в природе вещей. Но действительность намного тоньше и разнообразнее, чем это снилось иным теоретикам. Достоверно известен, например, приход радимичей и вятичей на Русь от западных славян, "от лях". Но где их отличия? Они практически полностью нивелировались. Для полноты картины добавим, что, наоборот, там, где как будто налицо существенные отличия, как в древнем Новгороде, они отнюдь не обязательно должны зачисляться в чужеродные следы. Просто они суть отличия **периферии от центра единого ареала**. Одной из таких ярких, самобытных периферий был Новгород, а центром для периферий древнерусского Севера, как, впрочем, и древнерусского Востока, и Юго-Востока, был и долго оставался Киев.

Это было настоящее единство, живое в многообразии своих частей; я чуть было не сказал, – "система", но ведь, как это ни странно, провозгласивший системный подход структурализм все-таки в критической степени пренебрегал как раз **связями** целого, сосредоточив свое внимание на всяких дифференциях и дистинкциях. Неслучайно оперативным понятием структурного анализа являются **дифференциальные признаки**, а, скажем, не **интеграль-**

ные признаки. Но не будем "обогащать" терминологию, которая и так уже неоправданно сложна и, боюсь, многое заслонила собой в науке. Поэтому понятна ностальгия по былой простоте выражения – отнюдь не в ущерб пониманию, то есть примерно как у Апостола Павла.

Мне запомнились недавно услышанные слова: "Языкознание – это наука возвратов". Что ж, это справедливо, впрочем, не только (и не столько) о языкознании, сколько о науке, о человеческой мысли, о жизни человечества вообще, и ссылка на слова библейского Экклезиаста уже рискует при этом показаться банальной. Получая в руки новые данные, мы **возвращаемся** к науке, "проигрываем" снова старые вопросы, старые решения и вдруг видим, что они вовсе не такие "старые", но оживают вновь. Необходимо возвращаться к великим идеям прошлого. Лично для меня одна из таких великих славянских идей связана с именем Шафарика. Не стану сейчас этого расшифровывать, а только приведу слова того, кто сказал об этом проще всего, а следовательно – мудрее всего: "...Слава тобі, Шафарику, / Во віки і віки, / Що звів єси в одно море / Слов'янські ріки..." (из личного посвящения Т.Г. Шевченко Павлу Шафарику).

В наше время, столь характерное острыми дефицитами, **дефицит единства**, возможно, один из самых острых. Не нужно ходить за примерами далеко: раскроем труды наших коллег-историков Древней Руси, древнего Киева и первое, может быть, что мы там увидим, это борьба идеи единства с "теорией уделов". Как это созвучно тому, что мы имеем у себя в языкознании. Отрадно бывает, когда встречаешь в этих исторических трудах понимание важности и научной плодотворности **идеи единства** (Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII–XIII вв. Киев, 1980).

Именно этой идее единства в значительной степени мы обязаны и своим нынешним "возвратом" к проблемам Киева, своим возвратом в Киев, в это место на земле славянской, которое и без нас, казалось бы, не обойдено вниманием исследователей. В сюжете, которым мы займемся далее, Киев предстает перед нами не только как зеркало славянской языковой и этнической истории (иного мы, как говорится, от Киева и не ожидали!), но и как **старый** случай, рассматриваемый с привлечением **новых данных**, что могло бы представить некоторый дополнительный интерес.

Я имею в виду своего рода "вечный" вопрос происхождения названий города Киева, их этимологии. Собственно говоря, речь пойдет, наряду с некоторыми другими, о главном названии города, нынешнем единственном его имени – *Киев, Київ*. Существующие этимологии названия *Киев* достаточно широко известны, и я

могу быть здесь краток; суть же дела состоит в том, что есть исконно славянские этимологии этого названия (весьма неравноценные, одна из них вероятная, с нашей точки зрения, другая – неприемлемая; подробности – дальше), и имеют место непрекращающиеся, можно сказать, и сегодня атаки на исконно славянское происхождение имени *Киев*. Все сказанное побудило нас разобраться в этом.

Напомню лишь кратко, что под славянскими этимологиями *Киева* мы имеем в виду, во-первых, оправданное со всех точек зрения объяснение древнерусского Кыквъ как производного от древнерусского же личного имени *Кыи*, *Кий*, известного также у остальных славян, особенно в более ранние времена, и как имя, прозвище человека, и как нарицательное "палка, дубинка, то, чем бьют" (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, 2-изд. М., 1986. Т. II. С. 230; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 189–190; Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 13. М. 1987. С. 256–257; Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ, 1985. С. 77 и сл.; Ковачев Н.П. Средновековното селище Киево, антропонимът Кий и отражението му в българската и славянската топонимия // Изв. на Ин-та за български език. Кн. XVI. София, 1968. С. 125 и сл.).

Во-вторых, есть еще славянская этимология, объясняющая *Кыквъ* в связи с польск. *Kujawy*, название местности, *kujawy* "песчаный бугор, дюна", но ее мы решительно отклоняем, так как обычно при этом привлекаемые иностранные формы на *-u-* в сочинениях арабских географов и Титмара Мерзебургского сами суть не что иное как приблизительные субституции славянского [у] с помощью диграфа *ui* (явление, распространенное и давно отмеченное в науке), к тому же, *Kujawy, kujawy* – слишком очевидно локальное и позднее, звукоподражательное образование, даже с точки зрения одного польского языка. Упоминая это толкование единственно для полноты (см.: Етимологічний словник... С. 77 и сл.; Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára. 4., bövített és javított kiadás. I. kötet. Budapest, 1988. C. 729), мы совершенно четко видим его несоответствие ни **ареалу названия *Киев*, по сути – общеславянскому** (разве что за вычетом одной только маленькой Словении), ни его структуре. Ибо *Киев* – в сущности даже не этимологический случай, в нем нет никакой затемненности, это прозрачный пример регулярного славянского словообразования и морфологии, ясно сознававшийся и добрую тысячу лет назад (ср. летописное: на перевозъ на Кыквъ...) и сохранивший свою ясность по сей день. Наличие в нашем материале форм всех трех родов – не только *Киев*, но и *Киево*, *Киева*, – не оставляет сомне-

ний в том, что перед нами прилагательное "принадлежащий Кию", и неважно, что в Болгарии, Сербии, Хорватии, Чехии и других славянских землях это уже были, разумеется, свои "Кии" и что легендарный киевский Кий – лишь один из многих, хотя, очевидно, наиболее выдающийся по своим личным качествам. Тут проявился яркий параллелизм разных славянских диалектов, хотя миграции и межславянская взаимность тоже, наверное, сказали свое слово. Надо также иметь в виду, что мотивы наименования менялись со временем, и то, что в нашу интеллектуализованную эпоху звучит почти оскорбительно ("дубина", "орясина"), в давние времена воспринималось как лестное сравнение крепкой мужской стати, скажем, со стволом дуба.

Короче говоря, если в целом в славянской этимологии и ономастике неясностей, как и везде, хватает, то имя Киева представляет блистательное исключение: здесь все ясно до уровня школьной хрестоматии. Не знаю, почему, а может, – именно потому, но, вопреки всякому здравому и научному смыслу, как я уже сказал, атаки на славянское происхождение названия *Киев* не прекращаются; наоборот, в последнее время они умножились, причем в ход пускаются все возможные и невозможные аргументы, призванные поразить воображение не слишком опытного или не очень внимательного читателя. Опытный и внимательный, я уверен, все же разберется в них. Правда, и новые аргументы в пользу неславянского происхождения имени Киева ничем не лучше старых и опрокидываются столь же безоговорочно и на тех же незыблемых основаниях, что уже мной приводились. И тем не менее, спор явно перерастает масштабы "локального конфликта". Как и все в науке и в истории связанное с Киевом, спор вокруг *Киева* быстро приобретает общеславянское значение, и поэтому он разбирается нами здесь. Я не намерен сколько-нибудь задерживаться на недавних попытках тюркских этимологий *Киева*, потому что они не только не убедительны, но элементарно не корректны научно.

А теперь – перевернем еще одну страницу истории, поскольку речь пойдет об открытии, а открытия новых источников всегда дарят нам по крайней мере одну новую страницу истории. Тем более, что за этим следует обычно оживление комментаторской деятельности. Убежден, что она, эта комментаторская деятельность, представит даже методологическую поучительность, поскольку явит примеры того, как из одних и тех же исходных моментов будут сделаны противоположные заключения.

В свое время в развалинах средневекового Каирского пригорода Фустат в Египте была обнаружена рукопись, получившая известность в науке как "киевское письмо". Всесторонне иссле-

дован и опубликован был этот действительно важный документ сравнительно недавно, в 1982 году, совместными силами семитолога Н. Голба и ориенталиста О. Прицака (Golb N. and Pritsak O. Khazarian Hebrew documents of the Tenth century. Cornell university press. Ithaca and London, 1982. Ср. также рецензию: P.B. Golden. A new discovery: Khazarian Hebrew documents of the Tenth centure... // Harvard Ukrainian studies. Vol. VIII. No 3/4, December, 1984). Последний выступает при этом также как славист, и как раз славистическая часть анализа представляется наиболее уязвимой.

Что касается "киевского письма", то это редкий документ конца хазарской эпохи, достаточно древняя, предположительно около 930-го года написанная рукопись на "отличном", как заверяет нас специалист, древнееврейском языке, скрепленная подписями иудеев, "носящих хазарские имена" (что, впрочем, не совсем так: среди этих имен есть Gostata – явно древнерусское Гостята; см. специально: Торпусман А.Н. Антропонимия и межэтнические контакты народов Восточной Европы в средние века // Имя–этнос–история. М, 1989. С. 48 и сл.), и визой по-хазарски тюркским руническим письмом (Golb-Pritsak. P. XIII). Содержательная сторона сообщает нам немало интересного. Это рекомендательное письмо, упоминающее о денежном займе у местных неиудеев; достаточно указать на то, что письмо (видимо, вместе с должником) попало из древнего Киева в Египет. Но самой, пожалуй, замечательной информацией, как это признают издатели рукописи и признаем с ними мы, является то, что авторы письма именуют себя "общиной Киева" (имеется в виду еврейская община Киева), причем в этих словах оригинала – *qāhāl šel qiyyōḇ* – **содержится древнейшее упоминание Киева вообще**. Все другие известные древнееврейские записи имени Киева – более поздние, XII и последующих веков. Запись названия Киева в "киевском письме" предшествует также византийской записи Κιοάβα, Κίοβα сочинения Константина Багрянородного "О том, как надо управлять империей" (около 948 г.) и, кстати, близка к ней фонетически.

Историко-лингвистическое свидетельство этого самого раннего упоминания Киева в вышеназванном "киевском письме" имеет для славистики безусловно выдающееся значение. Древнееврейская запись 1-й половины X в. – *qiyyōb* – почти совпадает фонетически с нашей нынешней формой, иными словами, она отражает славянское состояние **уже после** известного перехода *kū* > *ky* и даже – после перехода *ky-* > *ki-*, хотя форма *Кыѥвъ* держалась в архаизирующей древнерусской графике, мы знаем, достаточно долго. Так что здесь мы имеем момент живой древнерусской речи и абсолютной хронологии. Принципиальная важность

всего этого становится понятна в полной мере лишь после того, как мы сопоставим эти данные с тем фактом, что **примерно в то же время** (930–950-е годы) арабский автор Аль-Истахри приводит форму *kūyāβa* (о Киеве), которая вместе с латинской записью XI в. *Cuiewa* у Титмара Мерзебургского столь долго служила поводом для смятения ученых мозгов, вызывая к жизни совершенно бесполезные сближения с польскими Куявами.

Теперь благодаря ранней древнееврейской записи *qiyyō̲b* надобность в этих гаданиях окончательно отпадает: ясно, что араб. *Kūyāβa*, лат. *Cuiewa* – субституции и притом довольно приблизительные, их значение для истории названия Киева ограниченно, во всяком случае после публикации "киевского письма" уже нельзя с прежней свободой привлекать эти арабские и латинские записи в качестве довода против признаваемой нами исконно славянской деривации *Kyjevъ* от *Kyi*ь в упомянутом выше смысле. Соответственно это славянское толкование *Киева* после показаний "киевского письма" только усиливается. Таким образом, открытие "киевского письма" окончательно установило желанную ясность, которую теперь, казалось бы, уже просто нельзя замутнить... Но оказывается – можно!

Издатель и комментатор письма, американский профессор Прицак предпочитает занять скептическую позицию в отношении славянской этимологии названия (Golb – Pritsak. P. 54). Для меня так и осталось загадкой, **почему, имея дело с фонетически продвинутой живой формой в записи** *qiyyō̲b*, Прицак фактически ее игнорирует и оперирует несколько своеобразной реконструкцией ad hoc – **Kūyāwa*, собственно, модификацией, нужной ему, ориенталисту, для того, чтобы вывести название *Киев* из иранского, произведя его от хорезмийского личного имени *Kūya*. Да, у современника описываемых событий, арабского писателя Аль-Масуди действительно упоминается хорезмийское имя *Kūya*, говоря точнее – некий Ahmad ben Kūya, то есть "Ахмед, сын Куй", вазир хазарских войск, или хорезмийского контингента на хазарской службе. Но можно ли из этих случайных данных заключать, что в названии *Кыѥвъ* уже, оказывается, и корень, и суффикс – не славянские, а восточноиранские? Так и хочется сказать: славист бы этого не сделал – вовсе не потому, что сказанное тяжело для славянского сердца и славянских ушей, а просто потому, что **существуют в науке какие-то объективные пределы комментаторства, с которыми надлежит считаться всем**. Славист не смог бы, например, столь полно игнорировать сопредельный с Хазарией **славянский этнический элемент**, как это на каждом шагу имеет место в книге Голба – Прицака о "киевском письме"; славист не позволил бы себе умолчания об **этнической принадлеж-**

ности коренного населения древнего Киева, которое, конечно, было славянским, а не хазарским. И вообще – славист должен знать, видеть все те импульсы, которые тогда в этом временном славянско-хазарском пограничье (авторы признают, что граница Хазарии проходила по Днепру) шли с **Запада, который не мог не быть славянским**. Весь этот славянский фон Киева для профессора Прицака как бы не существует: рассуждая о полянах киевских, он ни словом не упомянул о тождественности их племенного названия и этнонима более западных полян польских. Точно так же, рассуждая о Киеве приднепровском, он с удивительной легкостью обошелся без славянского фона Киева, и в воздухе повисает вопрос: а **как быть с теми десятками других славянских Киевов, далеко от Хазарии разбросанных по всему славянству**? Ведь они – cum tacent clamant! Одной географической сводки размещения *Киевов* на карте славянства (причем локализовать и идентифицировать удается далеко не все) оказывается достаточно, чтобы понять, что **ареал Киевов – это одновременно и весь славянский ареал**. И все эти *Киевы* славянства, если смотреть со стороны Хазарии, лежат в основном строго на запад от Днепра начиная со славного Киева приднепровского, который в древности был городом выразительно правобережным. Это можно назвать **тестом лингвистической географии**, и хазарско-иранская этимология *Киева*, преподносимая нам востоковедом, этого теста не выдерживает, потому что эпицентр или источник славянских *Киевов* (**а надо решать вопрос с учетом всех славянских Киевов либо вовсе не браться за его решение**) не мог находиться в хазарских степях (опускаем здесь внеязыковой аспект ограниченного градостроительства самих хазар). И по-прежнему весь набор языковых признаков Киева как прилагательного, легко изменяемого по родам (*Киев, Киева, Киево*, первоначально, очевидно, *Киев город, Киева весь, Киево село, озеро* и т.п.), с его формантом принадлежности, с его корнем, хорошо известным в славянских языках и на ономастическом, и на апеллативном уровне, – все это непреложно свидетельствует о славянской природе имени, причем – со степенью объективности и понятности, доступной, думается, всем непредвзятым людям, не только ученым филологам – лингвистам-лексикологам.

Говорю: "славист не мог бы... славист бы себе не позволил...", а сам своими ушами слышал и был удивлен, как славист В.Н. Топоров, в учености которого я никогда не сомневался, с высокой московской академической трибуны провозгласил отца Ахмеда бен Куя, так сказать, эпонимом города Киева, и, само собой, охотно пишет о "хазарском периоде русской истории" в связи с этим "киевским письмом" (Топоров В.Н. Язык и культура: об од-

ном слове-символе // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988. С. 10).

А был ли "хазарский период"? Или нас опять потчуют преувеличениями чего-то одного за счет остального? Реально имело место данничество, но ведь данничество могло осуществляться в приграничной полосе и оккупации не предполагало. Историки знают эти вещи лучше, хотя объективные сведения о той эпохе вообще скудны. Тем более нет оснований выдавать свое собственное (порой – противоречивое) понимание за действительное положение вещей, то есть говорить один раз – об основании Киева хазарами (Golb – Pritsak. P. 20), но ср. другой раз там же: "Поляне основали (или завоевали) Киев не ранее XIII века" (Ibid. P. 50), потом снова – о "хазарском правлении в Киеве" (Ibid. P. 71).

Сомнительно, чтобы все так было в действительности. А был **Киев разноплеменный**, как и дóлжно было быть торговому городу на таком перекрестке путей. И селились в нем с незапамятных времен иноплеменные колонии – из деловых людей, а то и пленников. Существовала в Киеве, например, армянская колония (Słownik starożytności słowiańskich. T. II, Wrocław, etc. 1965: Kijów, stolica Rusi (H. Łowmiański). C. 407), хорошо известен факт существования древнекиевской еврейской колонии, известно и место ее – на запад от киевской Горы, в западной и южной части Копырева конца, ср.там *Жидове* / *Жиды* (Ипат. летоп. под 1124-м г.), наконец, известные *Жидовские ворота*, они же *Львовские* (Толочко П.П. Древний Киев. Киев, 1976. С. 62), через которые шла древняя торговая дорога на Львов и в Центральную Европу. Предполагают, что была в Киеве и польская колония у Ляцких ворот (Słownik starożytności słowiańskich... C. 409). Наконец, замечательно наличие в Киеве особого района под названием *Козарѣ*, упоминаемого "Повестью временных лет", на Подоле, то есть в противоположной стороне от Львовских ворот и Копырева конца, где специально селились в те времена евреи. Есть ли основания считать всех этих евреев **хазарскими**, как это уверенно делают издатели "киевского письма" Голб и Прицак? Не благоразумнее ли впредь до новых аргументов развести эти понятия – "хазарское" и "еврейское" в Киеве – тем более, что явная географическая и экономическая ориентация на европейскую Львовскую дорогу позволяет предполагать в киевской колонии ашкеназских, то есть европейских, немецко-славянских евреев. Как видим, слишком решительные утверждения о "хазарской администрации" в Киеве, о "хазарском периоде русской истории" и в конце концов – "о хазарских евреях" в Киеве в значительной своей части рискуют оказаться мифом. **А вся реальная история разно-**

племенных отношений в рамках Киева протекала прежде всего на славянском фоне. Возьмем тот же *Копырев конец*, для которого в книге Голба–Прицака дается вымученная этимология – от тюркского племенного имени *Kabar* (Golb–Pritsak. P. 56–57), тогда как здесь возможна лишь целиком славянская этимология – от названия пахучего растения слав. **kиругъ*, русск. *купы́рь*, ср. также слав. **коргъ*, укр. *копер*, *-пра* "укроп" (Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 12. С. 26–27; вып. 13. С. 115–116).

Назрела вполне насущная научная необходимость трезвого пересмотра того, сколь основательны вообще эти тенденции сеять сомнения относительно всего славянского в Киеве, будь то имена самого Киева и киевских мест или, скажем, киевская легенда о трех братьях-основателях города. Археология и топография Киева **подтверждают легенду о трех братьях** (Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ. Київ, 1963. С. 93; Słownik starożytności słowiańskich... C. 406: Wł. Kowalenko. Kij, Szczek i Choriw). Сравнение с другими славянскими языками и культурами тут тоже еще далеко не использовано, например **типологически** любопытный факт, что в древней Польше в седую старину выдвинулся человек по имени Piast, собственно, "пест, то, чем толкут", ставший родоначальником первого княжеского дома. Пяст, как известно, был крестьянином и имя имел "chłopskie", как пишет Брюкнер (Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. W-wa, 1957. C. 405); наш Кий, по дошедшим через начальную летопись сведениям, видимо, был вначале "перевозник" на Днепре. Простые занятия этих людей, простые, некняжеские прозвища "Дубинка", "Пест" перекликаются между собой, вызывая у нас ощущение отнюдь не легендарного правдоподобия, биографичности.

Не все еще сказала в этом вопросе и теория языкознания, я имею в виду такие моменты на **уровне описания форм** слов и их функций, которые сродни возможностям **внутренней реконструкции**.

Поверхностному взгляду может показаться неким камнем преткновения или даже аргументом "против" то, что на самом деле наилучшим образом свидетельствует "за" отстаиваемую нами этимологию *Киевъ* < *Кий*. Известно, что в Древней Руси жители Киева "почему-то" носили названия *кыяне*, а, скажем, не *кыквляне* подобно русскому *киевляне* (некоторые справочные пособия рассматривают это даже как "незакономірність відойконімних похідних" (см.: Етимологічний словник... С. 78). А между тем при внимательном рассмотрении именно форма *кыяне* замечательна тем, что обнаруживает как бы *двойную мотивацию*: с одной стороны, она не-

сомненно поставлена в связь с названием города (*Кыѥвъ – кыѧне*), это невозможно отрицать, но эта мотивация имеет все же вторичный (функциональный) характер, а первичная (словообразовательная) мотивация имеет место в отношениях форм *Кыи – кыѧне*. Это значит, что словообразовательно-этимологически *кыѧне* – это **"люди Кия"**. Это означает также и то, что в **форме *кыѧне* как бы осуществилась нейтрализация противопоставления, имеющегося между формами *Кыи – Кыѥвъ***. На языке науки эта констатация равносильна утверждению, что слова (имена) *Кыи* и *Кыѥвъ* **этимологически родственны между собой**. Так что украинский язык, сохраняющий эту в сущности древнерусскую пару форм *Київ – кияни* как норму, донес до наших дней глубокий архаизм, который тоже, между прочим, со своей стороны свидетельствует о реальной личности Кия (*кияни* – это ведь первоначально "люди Кия") и делает маловероятными идеи позднего "захвата" Киева полянами (Golb–Pritsak, passium).

Конечно, объективность суждения о Киеве тех древних, начальных времен требует учета и такого аспекта, как **Киев** и **Степь**: как **Степь** смотрела на Киев, в какой мере его знала и как его называла. Ведь Степь этой эпохи в немалой степени совпадает также с Хазарией, контролируемыми ею районами Левобережья. Следовательно, вопрос суживается: **Киев глазами хазар**. Дело в том, что тюркоязычные племена на восток от Днепра имели для Киева свое особое название – Mān Kermān "большой город". Как и многое другое, связанное со Степью, название это, засвидетельствованное еще в XII в. (Golb–Pritsak. P. 40), со временем было забыто, но четкий, хотя и косвенный след его употребления на Днепровском Левобережье сохранился в парном ему названии города *Кременчуг* (тюрк.) "малая крепость, крепостца". Скорее всего, именно под названием Mān Kermān "большой город, большая крепость" знали Киев и хазары, тюрки по языку. Это чисто лингвистическое свидетельство весьма важно в историческом отношении, ибо оно делает возможным два выхода, серьезно ослабляющие позиции сторонников "хазарского периода русской истории". Первый: название *Кыѥвъ* было **неизвестно** соседнему тюрко-язычному Востоку. Сам же Киев как город степнякам был, понятно, известен и даже носил у них специальное престижное название "Большой город", или "Большая крепость", превосходя, по-видимому, своими размерами все известное им, в том числе в Хазарии. Отсюда вывод второй: этот город **основали не хазары**. Для хазар это был престижный большой чужой город, поэтому сомнительно, что они когда-нибудь владели им.

Когда мы после всех этих серьезных размышлений и знакомства с фактами встречаем фразу-утверждение о том, что "Русь

завоевала Киев" (Golb–Pritsak. P. 43), мы остро чувствуем произведенную при этом подмену понятий далеко не адекватных, а именно – захват киевского "стола" Игорем Старым нам хотят представить как этническое основание прежде будто бы чужого славянам Киева.

Надо продолжать усилиями всех специалистов изучать проблему. Наше нынешнее эскизное изложение не может даже назвать все, что может к этому иметь не только прямое, но и косвенное отношение. Косвенные данные тоже крайне важны, не потому что от эпохи тысячелетней давности мало дошло прямых свидетельств, но и потому, что именно косвенные воздействия дают наиболее полную и обширную картину, при минимальной и довольно вероятной необходимой при этом реконструкции.

Если, например, предположить (на мгновение), что мы ничего не знали о древнерусском Киеве, но располагали лишь сведениями о том, что один и тот же древнерусский этнос появился в таких противоположных концах Восточной Европы, как новгородское Приильменье и Тмуторокань на Северном Кавказе, то и тогда, наверное, взвесив все и изучив карту, мы пришли бы к заключению, что осуществить это мог только тот, кто длительное время владел плацдармом в Среднем Поднепровье. Без Киева – центра и источника дальнейшего движения – нельзя понять самих древнерусских колонизационных движений, нельзя понять сложного восточнославянского единства. И еще, конечно, многое другое может прочесть внимательный специалист в этой дописьменной истории Киева, который оказался в своем "блестящем одиночестве" на днепровском Правобережье. На Украине, в сущности, Киев – один, но – крупный (потому, видимо, и один!), из всех пятидесяти и более довольно мелких Киевов славянских... Но наш Киев не остановился на этом высоком днепровском берегу, а в числе других путевых вех обозначил древний поход за освоение русского Северо-Запада. Ибо, как это ни парадоксально на слух, **именно приднепровский Киев двинулся в путь и пришел в незапамятные времена в Псковскую и Новгородскую земли, в Верхнее Поволжье, чтобы раствориться там добрым десятком малых – безвестных и "неперспективных" Киевов**.

Мне кажется, что эта миграция названия *Киев* к северу вряд ли может быть оспорена самыми убежденными сторонниками западнославянского происхождения великорусов Великого Новгорода. Во всяком случае, любые другие объяснения появления Киевов на Севере и Северо-Западе будут неизбежно громоздкими и неизящными, а значит – неверными, как учит нас науковедение. Вдобавок, здесь нельзя отговориться ссылкой на изолированное вторжение только этого одного случая, ряд других фактов ука-

зывает на то же магистральное направление пути – с Юга на Север, и мы вкратце еще коснемся их дальше. Конечно, и на этом в общем верном пути дело не обходится без дополнительных загадок, и это – в порядке вещей, потому что, как хорошо известно, за каждую одну решаемую проблему приходится платить приобретением нескольких новых проблем. Возьмем тот формальный, чисто лингвистический аспект, что содержавшееся в др.-русск. *Кыквъ* звукосочетание *yj* должно было привести к появлению так называемого напряженного редуцированного перед *j*. Дальнейшая судьба этого нового напряженного редуцированного сложилась по-разному во вновь разделяющихся частях восточнославянского языкового пространства: на Юге и Юго-Западе (то есть главным образом – на Украине, в Белоруссии и в нешироком пограничной с ними полосе русских говоров) древнее *yj* сохранялось, а к северу и северо-востоку, то есть на всей остальной собственно русской территории, *yj* перешло в *oj*. Стандартные примеры такого развития: укр. *мию, крию*, блр. *мыю, крыю*, но русск. *мою, крою*.

Прямолинейно поставленный вопрос: почему в русском употребляется форма *Киев*, ведь должна была бы быть в силу изложенного – *Коев*? – снимается, однако, при более внимательном учете привходящих обстоятельств. Дело в том, что в русском сочетании звуков *ky* рано перешло в *ki* (ранее была даже высказана мысль, что именно такое уже продвинутое фонетическое состояние запечатлела запись *qiyyōḫ* древнееврейского "киевского письма"). Следовательно, в отличие от сочетаний, где [у] сохранилось и потому подверглось русскому переходу в *-о-* перед *-j-* (ср. выше *мою, крою*), для собственно русского языкового развития можно считаться только с формой *Киев*. Правда, не следует думать, что это единственно возможная форма; напротив, и она оказывалась подверженной дальнейшим фонетическим перестройкам, способным изменить ее "литературный" облик в духе известных пар *Россия – Расея, Сергий – Сергей* и многих других, поскольку аналогичную судьбу испытал и напряженный редуцированный переднего ряда в группе *-ij-* с результатом *-ej-*. Названия *Киев*, подпавшего в русском языке под эту категорию вторично, это в полном объеме не коснулось. Может быть, при этом сказалась именно вторичность данной звуковой характеристики названия в русской языковой среде? А то мы бы с вами все только и говорили: **Кеев, *Кеев...* Но нельзя сказать, чтобы этой последней – чисто народной, низовой формы не было вообще; в русской диалектологии она известна.

Можно высказать соображение, что между этими формами даже установилась оппозиция не в горизонтальном плане низо-

вых локальных говоров, а в вертикальном плане социальной диалектологии: *Киев* (высокое, наддиалектное употребление) – *Кеев* (низовое, локальное употребление). Высокое, наддиалектное употребление, надо думать, побеждало, в чем сказывался престиж Киева – матери городов русских. Потому и получилось, наверное, что диалектная русская трактовка *Киев* > *Kejev*, закономерная исторически, как мы видели, и отмеченная исследователями (см.: Селищев А.М. Критические заметки по истории русского языка // А.М. Селищев. Избранные труды. М., 1968. С. 194; Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972. С. 241), представляется как бы скудно документированной. Остается неясным, касается ли она, эта диалектная трактовка, всех известных случаев *Киев / Киева / Киево* на Северо-Западе и Севере русского языкового ареала. Эти вопросы было бы неплохо дополнительно обследовать ввиду важной стоящей за ними традиции. Уже сейчас мы можем, впрочем, назвать также отдельные местные отклонения от описанной регулярной трактовки в говорах, скажем, пример огласовки (или только записи?) *Киово*, вместо (или – наряду с) *Киёво*, к северу от Москвы.

Будучи, так сказать, чисто лексическим, не морфологическим и не грамматическим (в чем и состоит его капитальное отличие, скажем, от местоимения **kъjь* → русск. *кой* как случая **категориального**, то есть непрерывно воспроизводимого), случай с Киевом и его непростой дальнейшей судьбой в русском языковом сознании не привлек, к сожалению, должного внимания наших диалектологов и, видимо, будет исследован не скоро. Достаточно сказать, что судьба напряженных редуцированных, например, в печатающемся выпуске 2-ом (морфологическом) "Диалектологического атласа русского языка" экземплифицируется практически исключительно на категориях морфологии, грамматики, ср. там карты № 42 (Окончание *-ей* или *-ий*, соответствующее литературному *-ой*, в формах существительных и прилагательных), № 99 (Основа в формах настоящего времени и повелительного наклонения глаголов типа *крыть* и в форме повелительного наклонения глаголов типа *пить* (вопрос "Программы" № 31). За единичными исключениями (вроде *шия – шея*), чисто лексические случаи не представлены. [За консультации благодарю Н.Н. Пшеничнову (Институт русского языка РАН).] Надо иметь в виду, что именно лексические случаи, проскользнувшие сквозь сито фонетико-морфологических преобразований, способны усложнить картину. Как пример этого можно привести некий изолированный архаизм – русскую диалектную форму (Пермь, Сибирь) *коёк* "особая палка, лыжная палка", объясняемую Фасмером именно из более древнего **kyjь* (Фас-

мер М.Т.II. С. 276), столь долго занимавшего нас в ипостаси человеческого имени и повсеместно известного в русском языке и его говорах в форме *кий*.

Итак, из киевского Полесья распространились дальнейшие потоки древнерусского народонаселения, формировавшие периферии огромного этнического ареала – Новгородский Север, Окско-Донской Восток, важность которого видел проницательный А.А. Шахматов и внушительные контуры которого до сих пор угадываются нами по связям его с дальним предкавказским форпостом Руси – Тмутороканью, по всей этой полузабытой Азово-Черноморской Руси и Руси Донской, залитой и стертой почти бесследно нашествиями кочевников. Думается, что эти маршруты, веером разошедшиеся по великой равнине – на Север, Восток и Юго-Восток, – суть лишь продолжение славянских миграций из Центральной Европы. На этом славянском пути киевское Поднепровье сыграло свою роль важнейшего и, вероятно, длительного плацдарма. Приход к будущему Киеву приднепровскому – это уже такие давние дали, что сейчас в них не будем углубляться. Одно, пожалуй, можно отметить: Киев был Центром миграций в означенных выше направлениях. **Но из Среднего Поднепровья не было, пожалуй, сравнимых этнических движений славянства только на Запад**, и это отрицательное свидетельство, в свою очередь, дает возможность судить о том, что в основе всех собственно восточнославянских передвижений лежит **общий приход с Запада.**

Итак, мы постарались сформулировать свой ответ на вопрос, откуда произошел Киев и куда он распространился. Чтобы не создалось ложного впечатления, будто далеко идущие выводы строятся на одном, пусть и важном аргументе, вернемся еще раз на древнюю трассу Киев – Новгород, с привлечением дополнительных аргументов, которые, по нашему мнению, со своей стороны свидетельствуют об этом – с Юга на Север – и никаком другом направлении древнерусского заселения Новгородской земли.

Еще в книге 1962 г. "Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья" собран достаточно большой материал, позволивший прийти к нетривиальному выводу о том, что западная часть Верхнего Поднепровья в древности лежала в стороне от основных путей восточнославянских продвижений. Старые и типично славянские водные названия распространяются в основном к востоку от Днепра. **Образующаяся при этом явная разреженность старой славянской водной номенклатуры между Неманом и Днепром** говорит, видимо, о том, что приход на русский Северо-Запад от западных славян через Понеманье маловероятен. Достаточно сказать, что названия на *-ка, -ец, -ица, -ля* (после губных согласных), то есть характерные восточнославянские гидро-

нимические словообразовательные типы, распространены в основном к востоку от Днепра, как бы знаменуя собой эту наиболее обжитую полосу на пути с Юга на Север. Обратное распространение – с Севера на Юг, как его теперь порой лихо изображают иные историки русского языка, в высшей степени неприемлемо, даже в рамках днепровского пути. По данным исследования гидронимии Правобережной Украины, славянская гидронимия на юг от Припяти и Десны (то есть в регионе, частично совпадающем с киевской округой и Средним Поднепровьем) отличается значительной архаичностью, с собственными старыми соответствиями в западнославянском и южнославянском (назовем для примера такие гидронимы, как *Девисябра, Жеримышел, Чамишел, Зеремянка, Стубель, Тусталь, Сопот, Долбока, Осой*, чтобы кратко проиллюстрировать их архаичный славянский облик). Археологи ставили вопрос о соответствии этой архаичной славянской гидронимии Среднего Поднепровья ареалу чернолесской археологической культуры. Уже к северу от Припяти эти архаические славянские гидронимы не повторяются.

Таким образом, в ономастике отложилась довольно четкая полоса – если говорить о крайних точках ее – от Волыни до Новгородской земли. Она была прослежена, в частности, Петером Арумаа на примере местных названий с элементом *-гость* (Arumaa P. Sur les principes et méthodes d'hydronymie russe: Les noms en *gost'* // Scando-slavica. VI. 1960. P. 144). Вся эта любопытная и очевидно древняя группа в основном повторяет рисунок все того же пути к Новгороду. Весьма древние, хотя и не очень многочисленные, примеры встречаются на Волыни и на днепровском правобережье (ср. *Пирогоща* в черте Киева). На левый берег Днепра эти характерные названия переваливают лишь не южнее Чернигова. Количественная "вспышка" их в районе Новгорода должна пониматься как признак колонизации этой конечной цели всего пути. [Неприемлемые суждения археолога о том, будто киевские славяне были долгое время "отрезаны" от новгородских и псковских славян верхнеднепровскими балтами (Sedov V.V. Studia nad etnogeneza Slowian i Kulturą Europy wczesnośredniowiecznej. T.I. Wrocław etc., 1987. C. 162), – вещь по тем временам невозможная ввиду редкой плотности заселения. Нашим memento в таких случаях должна служить сухая реляция Повести временных лет: Въ лѣто 6406 (898) идоша угри мимо Киевъ...].

Очень рано земли теперешней Левобережной Украины оказались под преимущественным контролем тюркских племен. Этот период запечатлелся в серии тюркских местных и водных названий. Они обнаруживают свой более поздний и пришлый характер и, например, не смешиваются с зоной, отмеченной ранее

архаической славянской гидронимии южнее Припяти и Десны. Но и при том, что достаточно старый славянский элемент прослеживается на Дону и Северском Донце (гидронимы и материальные следы былой Донской Руси в местной смешанной археологической культуре; см.: Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. Л., 1982. С. 108–109), все же здесь начинали брать верх тюркские или те смешанные с тюркскими этнические элементы, которые принято обозначать именем салтово-маяцкой культуры, а собственно и отождествлять с продвижением Хазарии (Плетнева С.А. Хазары. М., 1976. С. 45). Названия *Кагамлык, Кагальник*, то есть попросту "каганьи" реки Юга Украины, уводящие в Подонье, говорят сами за себя до сих пор. Постепенное растворение донского древнерусского этнического элемента в тюркском привело к тому, что Киев оказался лицом к лицу с Хазарским каганатом, и призрак "хазарского периода" русской истории неистребимо маячит в суждениях о той поре. Попытка разобраться, со своей стороны, в этих суждениях, помочь что-то развеять, но и выявить вместе с тем неизгладимые "родимые пятна", от которых не уйти никуда, – эта попытка и побудила меня выступить со своими заметками, в которых меня всякий раз занимало не только само явление, но и его фон, порой объединяющий многое разрозненное. Вот и о древнем славянском городе Киеве и его конфронтации с Хазарией, как мы видели, преувеличенной и криво толкуемой, нам, пожалуй, удобнее будет судить, если мы привлечем сюжет о другом городе, коренная связь которого с Хазарией, наоборот, была предана искажению и забвению и нуждается в нашей гласности.

Итак, напоследок что-то вроде "истории двух городов". Надо сказать, что случай, значительно более явно, чем Киев, причастный к реликтовому хазарскому (тюркско-булгарскому) ономастическому наследию и заодно – к "хазарскому" периоду истории Восточной Европы, представляет собой город Волгоград, одно время – Сталинград, а огромную часть своей истории существовавший под изначальным названием *Царицын*. Как город он известен уже четыреста лет (с 1589 г.), но само название места, безусловно, много старше – на добрых тысячу лет, поскольку языковеды-специалисты (хотя тоже, подозреваю, не все) знают, что форма названия *Царицын*, строго говоря, есть не что иное как русская **народная этимология**, приспособление дорусского – тюркского, хазарского местного названия *Saryǧyn*, буквально "желтоватый, беловатый". Этим рациональным объяснением мы обязаны светлому уму русского ученого-востоковеда прошлого века Ильи Николаевича Березина, известного издателя первого "Русского энциклопедического словаря", который выдвинул эту мысль об отражении

тюркского цветообозначения *sary* в ряде местных названий Нижнего Поволжья – даже таких, как *Царев*, ерики *Большая* и *Малая Царевка*, далее – *Царицын*, запечатленное в форме *Сарычин* в татарской рукописи "Tavārīh-i Bulγarīja", и даже – *Саратов*, собственно *Sarytau* "желтая гора". Эту связную концепцию И.Н. Березин обнародовал еще в 1850 г. в своей серии "Ханские ярлыки" (Березин И.Н. Ханские ярлыки. III. Внутреннее устройство Золотой Орды (по ханским ярлыкам). СПб., 1850. С. 2–3; см. также: "Die innere Einrichtung der goldenen Orda. Nach Herren Berjósin (Berésin)" // Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland. Bd. XI. Heft 2. Berlin, 1852. 181–182). Нельзя сказать, чтобы память последующих поколений была благосклонна к Березину. Толкование *Саратов-Sarytau* такой специалист, как Фасмер, например, приводит потом уже как "старое толкование" (без автора), а березинская тюркская этимология названия *Царицын* была просто забыта, ее Фасмер не знал, и пришлось не без труда выуживать ее из явно периферийной литературы (ср.: Németh Gy. A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930. С. 212; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 88, s.v. Волгоград; Kiss L... II. С. 775. Volgográd).

Существует, между прочим, традиция привязывать это хазарское название царской столицы *Saryγšyn* (вариант – *Šarigčin*) к самым низовьям Волги, близ Астрахани, к тому же – на левом берегу (см. карту "Khazaria and neighbouring regions in the first half of the tenth century" в книге Голба–Прицака: Golb–Pritsak. P.X; Также см. p. 155). Это едва ли верно (если не допустить, впрочем, компромиссное решение в том смысле, что у полукочевников-хазар стабильность ставки правителя, в том числе – столицы, была понятием относительным, а значит, справедливы поиски и в окрестностях Астрахани, и в других местах, одно из которых занимает нас здесь), и наиболее вероятным представляется старое отождествление хазарского *saryγšyn* именно с Царицыном, как то подсказывает менее известный из литературы местный топонимический ландшафт: в Царицыне–Сталинграде–Волгограде есть (по сей день, кажется, еще не совсем пересохла) речка Царица. И она помогает окончательно разделаться с "монархической" этимологией Царицына, на которой кончаются сведения (*Царицын* – от реки *Царица*...) не только для журналистов номера 15-го "Огонька" за 1989-й год, комментировавших волгоградское интервью писателя Ю. Бондарева, но и для Фасмера (см. т. IV русского издания его словаря, s.v. *Царицын*, где только мое краткое дополнение углубляет этимологию).

Дело в том, что старый этот гидроним *Царица* лишь внешне уподоблен слову-титулу *царица*, в действительности же тут со-

вершенно очевидно представлено обыкновенное тюркское *Sarysu* "желтая вода, река". Те, кто знают Волгоград, а особенно – Сталинград довоенных лет, имеют представление о преимущественно песчаной почве его правого (горного) берега, легко вздымавшейся жаркими ветрами-суховеями (для автора этих строк сталинградские песчаные бури – одно из неизгладимых воспоминаний детства).

Возвращаясь к лингвистическому анализу, отметим, что перед нами то, что немцы называют "Paradebeispiel" или лучше – "Schulbeispiel", школьный пример, он же и яркий до парадности: давние русские переселенцы, пленные, торговые люди, заставшие здесь название *Sarysu*, осмыслили его как форму винительного падежа на *-у* от основы женского рода на *-а*. В соответствии с этой парадигматической логикой было "построено" уже собственное, несуществовавшее ранее *Царица*, сквозь которое просматривается промежуточное и неудобное русскому уху своей малопонятностью **Сарыса* / **Сариса*. Это, в свою очередь, предрешило судьбу вторичного осмысления названия всего места, важного своим положением на древнем перевалочном волго-донском пути и населенного, по-видимому, с незапамятных времен, а не с того 1589-го года – года первого **упоминания** Царицына уже как Царицына. Так возник Царицын в **русской географической номенклатуре**.

Городу не везло, о его страданиях от войн и лихолетий знают все. Меньше знают о том, как не повезло его древнему имени (даже речушка Царица, на моей только памяти, и та – то переименовывалась в 30-е годы в "Пионерку", то обратно – в *Царицу*). И по сей день имя города несет на себе печать острого дефицита культуры и правильных знаний, хотя вокруг так много делается и говорится о гласности, реабилитации, возвращении культурных ценностей и имен. Ведь **если бы не** эта простодушная вера всех – от власть имущих до рядовых горожан, в то, что *Царицын* – "от царицы", "от царей", то Сталинград еще тогда, при Хрущеве, в начале 60-х годов, был бы безболезненно переименован обратно в древний *Царицын* "Желто-град" и не понадобилось бы придумывать в общем искусственный топоним: *Волго-град* (ведь на Волге все города – "волго-грады"...).

Мы, академические этимологи, опоздали (или тогда нас просто никто не спрашивал? А много ли спрашивают нас сейчас?), поэтому и мы виноваты в этом. А это как раз тоже такой исключительный случай, когда есть **одна** этимология и у нее соблюдены все необходимые критерии: исторический, языковой, географический. Взгляните на карту: неподалеку от Царицынской излучины Волги пролегла излучина Дона, а на Дону в начале IX в.

документирован хазарский *Саркел*, буквально (по-древнерусски) – *Белая Вежа*, т.е. "белый дом". Начав от Саркела и минуя наш *Сарүҳен / Царицын* (он же – *Саксинъ* Лаврентьевской летописи, ПСРЛ, изд. 2-е. Т. I. Л., 1926. Стб. 453) вверх по Волге, находим тоже – на правом, песчаном берегу и тоже – в ареале тюркской топонимии уже упоминавшийся *Саратов* < *Sarytau*. Речь идет не только о правобережности и песчаности, доподлинно отпечатавшейся в этимологии *Саратова* и *Сарыхшына / Царицына*, но и о глубокой принадлежности к истории и к нашему национальному самосознанию, т.е. к чему-то такому, что надлежало бы сберегать, а не вытравливать.

В истории соединились – на какой-то момент – ни в чем как будто не схожие Киев и Царицын, и их соединение показалось исследователю поучительным и далеким от произвола. Историю не перепишешь заново, что было, то – было: и "неразумные хазары", как назвал их наш пылкий поэт, и "смысленые поляне", как нарек их древний летописец, – все **были**; одни, правда, словно затем только, чтобы исчезнуть, раствориться без остатка, кроме разве что в топонимии, в онемевших названиях мест, давно населенных другим народом, с другой речью; другие живут, множатся и поныне. И все-таки по-человечески мы не можем отказать себе в удовольствии присудить авторство Киева славянам, в их числе – "смысленым" полянам, потомки которых здравствуют на днепровских берегах. Тем паче, что и научная этимология не велит иначе.

III

«А кто там идет?» Взгляд на этногенез белорусов

ПОСЛАНИЕ СВЕТОГО ПАВЛА
ПЯТЫЯ ХЕЯ • ЕЖЕ НАПИСАЛ ЕСТЬ КНИМЪ
ЕВРЕЙСКИМЪ ЙЗЫКОМ • ПОТОМ ПЯК СВЕТЫЙ
АУКЯ ЕВАНГЕЛИСТЪ , ВЫЛОЖИЛ Е НАГРЕЧЕ

Крупные и мелкие шрифты изданий Франциска Скорины (Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М.: Наука, 1979. С. 178).

Серия "В поисках единства" посвящена мною светлому кирилло-мефодиевскому празднику славянской письменности. Кирилло-мефодиевская идея славянского духовного единства помогает и нашим поискам единства языка славян восточных, поискам проявлений языкового и культурного единства всех славян. Нам казалось уместным замолвить слово об исконности древненовгородского диалекта и русского культурного наддиалекта, о преемственном единстве древней, еще языческой, культуры славян и новой их, уже тысячелетней, христианской культуры. Потом встали и другие вопросы, и среди них один – "откуда есть пошел Киев?" – оказался вопросом всех славян и их единства. А время властно подсказывает нам, кажется, совсем новые темы, но их общую природу помогает увидеть память первоучителя славян святого Кирилла. Готовясь к празднествам в столице Белой Руси, я вновь обратился к древним судьбам языка и народа этой земли (должен сказать, что уже тридцать лет, как я начал работу по сбору материалов для нового "Этимологического словаря славянских языков" и начал я ее тогда, в марте 1961 года с реконструкции праславянского словника специально для белорусского языка, потом последовали такие же словники для других славянских языков, но тот первый белорусский мой опыт памятен для меня, и он продолжает возвращаться ко мне в обороте словарных данных) и вот сейчас вновь испытал на себе очарование этого материала. Предмет оказался чрезвычайно интересен, и он много говорит чувству и уму, отрадно укрепляя наше понимание единства. Еще раз – кратко – возвращаясь вспять, нелишним считаю напомнить, что нам ведь полезно представлять себе не только "откуда пошел Киев", но и **куда** он пошел. При этом, если на Украине Киев один, а в Белоруссии можно насчитать уже добрый пяток малых Киевов и еще больше их дальше на север, на Верхней Волге, в Псковской и Новгородской земле, то опытный глаз видит, что это и есть магистраль древней русской истории, русского движения – с юга на север, от Киева к Новгороду.

Важно видеть движение и его направление, но часто бывает, что факты известны – все или почти все, – а механизм их нем, а значит, неясна динамика, и взамен нее господствует удобная, уст-

раивающая многих статика воззрений. Или – еще хуже, когда все, кажется, знают все обо всем, и предмет почти до конца исчерпан.... Это верный признак, что мы в плену заезженных истин и что пришло время освободиться от них, чтобы взглянуть свежим взглядом на привычный предмет.

А предмет того стоит, и время пришло, ибо речь – о генезисе языка и этноса, и нам отрадно – и тревожно – сознавать, что сейчас это уже вопросы не только науки, но и пытливого самосознания самих народов. Мы знаем, что сегодня кризис обострения коснулся и этих вопросов и, быть может, в первую очередь – именно их. Но кризис кризисом, а мысль о единстве в ходе поисков крепнет, как мы это кратко уже напомнили, и было бы неверно нынешней остротой дать себя сбить с этих позиций. Поэтому лучше сразу о главном – о том, **как шел народ**. Этим портретом снявшегося с места и идущего всего народа белорусов, народа, который, по общим представлениям, никогда не покидал одних и тех же мест, мы обязаны поэтическому образу Янки Купалы, чье имя недаром этимологизируется как **Иоанн Креститель**, или – в нашем случае вернее сказать – Иоанн Предтеча. Ибо трудно найти более емкий образ, чем тот, что заложен в этих простых словах, которые знают, конечно, все – в Белоруссии и вне ее:

"А хто там ідзе, а хто там ідзе
У агромністай такой грамадзе?
– Беларусы..."

Поэт-предтеча, таким образом, достаточно давно предварил то, что способна, как мы думаем, разгадать наука наших дней, – не одну статику фактов, но и их динамику, их ход. Эти в простоте души сказанные великие слова помогают нам преодолеть незыблемую уверенность тех, кто знает – думает, что знает – все обо всем.

Ведь, что, казалось бы, добавить к прочному школьному знанию о том, что белорусский народ и язык начинается с XIII–XIV в., что жизнь его протекала в тесном соседстве с Польшей (а по большей части – и в зависимости от нее), бок о бок с балтами, Литвой, и всему перечисленному обязана своим возникновением немалая часть белорусских отличий. Существует, к тому же, тенденция считать основные, так сказать, параметры белорусского языка и этноса "молодыми" и довольно поздними. Если говорить о литературном языке, моложе него, пожалуй, среди славян один только македонский литературный язык. Курьёза ради упомяну, что наши осторожные обществоведы датируют "формирование белорусской нации" временем после 1861 г.!

[1, с. 3], а то, что имелось до 1861 г., они называют другим кабинетным словом – "белорусская народность", да и то только с XIII–XIV вв., оставляя нас в недоумении насчет того, чем же был (и был ли вообще?) народ и его язык раньше, хотя при этом порой смешиваются такие, в сущности, разные вещи, как первое письменное упоминание и первое появление, а жизнь политическая прямолинейно накладывается на собственную жизнь языка и этноса. Если говорить о стереотипах, которые нынче принято ломать, то один из них перед нами. Стереотипность и рутинность характеризуют их единство и близость еще в этом – негативном – смысле.

В дальнейшем нам предстоит кратко обозреть: (1) проблему соотношения славянского и балтийского в белорусском и (2) реакцию на нее части славистов, (3) проблему соотношения политической истории и собственной истории языка и этноса, (4) белорусский язык в контексте общевосточнославянского языкового развития, (5, 6) белорусский язык и восточный, среднерусский генезис аканья, а также (7) дзеканья и цеканья, (8) средневеликорусские говоры и проблема центра общевосточнославянского ареала, (9) этот центр – вблизи водораздела Верхнего Дона и Верхней Оки, (10) проблема заселения Белоруссии, (11) дреговичи и их имя, (12) радимичи и их имя, (13) вятичи в Центре России, (14) готы и одно из названий белорусов, (15) терминология корчевания у белорусов и их соседей-славян, (16) кривичи – белорусы и великорусы, (17) откуда Белоруссия, (18) татищевская "Белая Русь", (19) почему белая Русь – "белая", (20) почему Великая Русь – "великая", (21) Великая и Малая Русь, (22) Белая Русь и Великая Русь, (23) белый – западный, черный – северный, красный – южный, (24) самая западная Русь, (25) самобытность белорусского славянства.

Остается добавить, что способность видеть чуть дальше других дает возможность смотреть на проблему с вершины рукотворного кургана, имя которому – **Этимологический словарь славянских языков (Праславянский лексический фонд)**. Речь при этом идет не только о фактах и не только о лексике, хотя именно ее в собственной практике "перелопачено" особенно много, но и о пространственной истории, и о лингвистической географии, наконец, о методологии науки. Есть мнение, что древние возводили курганы не столько как памятники, но и – как модель мира и способ видеть вдаль. Вид с кургана дает право на обобщение. Итак –

1. Конечно, уже давно и справедливо обращено внимание на особую близость белорусского и великорусского; выдающийся белорусский филолог-славист Е.Ф. Карский специально указы-

вал на то, что "в основу белорусского языка легла западная ветвь среднерусских говоров" [2, с. 193]. Другим несомненным достоянием науки о белорусском языке – достоянием также уже по крайней мере столетним – является констатация, что непосредственными предшественниками белорусских славян в их нынешних местах обитания были другие народы – балты, предки нынешних литовцев, латышей и исчезнувшие балтийские племена [2, с. 199]. Столь же стары и воззрения, согласно которым ассимилированный балтийский субстрат стал основой этнических особенностей белорусов. В своей законченной формулировке этот последний тезис принадлежит уже нашему времени (см.: В.В. Седов [6] и критика в его адрес: [1, с. 35; 3, с. 154]). Появились у этого взгляда и другие сторонники, которые с неменьшим жаром, хотя подчас с меньшей основательностью, стали толковать начало ряда восточнославянских племен как "славянизацию балтов" [4, с. 98]. И несмотря на то, что такие опыты интерпретации, по-видимому, не прекратятся и в будущем, внимательный глаз все же видит, что их продуктивность не прогрессирует, она пошла на убыль. Определенную дискредитацию серьезных сторон этой линии исследований можно, пожалуй, уже сейчас прогнозировать по отдельным утрированным концепциям. Думаю, что о высоком уровне нынешней славистики по-своему свидетельствует и тот факт, что сегодня нельзя, наверное, без риска подвергнуться дискредитации выносить на суд читательской критики безапелляционно однозначные утверждения вроде того, что "белорусы могут считаться народом смешанного, балто-славянского происхождения" [5, с. 2]. А в 60-е годы это звучало довольно авторитетно, как в только что процитированной тогдашней формулировке из работы польского археолога в Лондоне. Балтийский субстрат и его воздействия приписываются, собственно, всем прабелорусским племенам – полоцко-смоленским кривичам, радимичам, дреговичам [6, с. 118; 7, с. 83; вслед за Седовым]. По мере падения продуктивности, или, как еще иногда говорят, "объяснительной силы", особенно давала себя знать жесткость этой схемы – "все от балтов", тем более, что конкретное языкознание накапливало материал, говоривший, что как раз далеко не "все" от балтов. Как и нужно было в таких случаях ожидать, серьезные специалисты заговорили о преувеличениях этих ассимиляционных процессов в истории восточных славян и их языка [8, с. 357]. Словом, так или иначе сказывалось все еще недостаточное наше проникновение в специфику того, "как это было" в действительных отношениях между тогдашними балтийскими племенами и тогдашними нашими предками. Ясно, что и те, и другие селились преимущественно по рекам и селились достаточно редко. О хара-

ктере отношений балтов с восточными славянами косвенно свидетельствует хотя бы археологический материал, обобщенный В.В. Седовым на тему: "Распространение укрепленных поселений восточных славян в VII–XI вв." [6, с. 244–245, карта 37]. Судя по карте, огромное большинство этих укреплений приходится на Среднеднепровское Левобережье, Сейм, верховья Дона, т.е. на степные рубежи, где с очень раннего времени воспринималось военное давление Степи. Для внутренних районов обитания ранних восточных славян и мест предполагаемых балто-славянских контактов укрепление поселений нехарактерно: речь идет о Правобережном Поднепровье, Верхнем Поднепровье и Поочье. Укреплений не было, значит, они не требовались; соседство с балтами носило мирный характер (войны с ятвягами и Литвой – более поздние и локальные конфликты). А соседство есть соседство, оно предполагает общение и знание друг друга, но вместе с тем – отсутствие перехода за известную грань. Литовские языковые и этнические островки на современном белорусско-литовском языковом пограничье (ср. о нем также работу [9]) позволяют судить, насколько стабильно даже сейчас подобное мозаическое сосуществование и одновременно – усомниться в том, правомерно ли из факта соседства в пору древнеплеменных отношений прямолинейно заключать, что обязательным следствием являлась ассимиляция одного этноса другим. Реальных вариантов было гораздо больше.

Неслучайно ведь антропология приходит к совершенно иному выводу, а именно – что "дославянский субстрат сыграл значительно меньшую роль в этногенезе белорусов, чем в этногенезе других восточных славян" (В.П. Алексеев [1, с. 37]). Вообще переоценка роли субстрата в формировании восточнославянских языков и народов, особенно же – русского народа, продолжает оставаться популярной. По-прежнему некоторые исследователи уверены, что "среди носителей русского языка значительную часть составляют люди, имевшие предками носителей финно-угорских языков..." [10, с. 81]. Хотя спрашивается: кто это подсчитал и можно ли относить "значительную часть носителей" на счет заведомо малочисленных исконных жителей, редко населявших эти регионы.

2. Не стоит поэтому удивляться, что ответом явилась встречная тенденция в науке; ее представляет концепция славянской (а не балтийской) принадлежности большинства археологических культур древней Белоруссии железного века, разработанная известным белорусским археологом Л.Д. Поболем (Побаль). Мы не намерены касаться здесь и трудного вопроса, были ли "земли современной Белоруссии одной из главных территорий, на кото-

рой формировались славянские племена в разные периоды железного века и в более ранний период" [11, с. 14]. Действительно, квадратные землянки и полуземлянки, встречаемые археологами довольно широко на белорусской территории, – это признанный древнеславянский тип жилья. Но правда и то, что в Верхнем Поднепровье распространены были также совсем другие жилища – наземные столбовые постройки, и эти последние устойчиво характеризуют древнее балтийское население [12, с. 69].

3. Уметь найти действительное взаимодействие между своими исконными и заимствованными компонентами чрезвычайно важно для понимания этногенеза. И хотя изучать образование народа невозможно без учета также государственных форм его существования, ясно, что развитие государственности и развитие языка и народа, к каким бы кажущимся совпадениям они ни приходили, идут своими путями. Измерять одно масштабами другого, очевидно, нельзя, несмотря на ту кажущуюся удобопонятность, которой почти все соблазняются. Именно политическая история подсказывает здесь обычно якобы простые решения, именно лингвисты совершают при этом довольно крупные ошибки. Так родилась дата "XIV век" – эта хрестоматийная веха в образовании трех ныне здравствующих восточнославянских языков. Серьезность исследования как раз требует, чтобы неустанно акцентировалась условность этой даты, что равносильно тому, чтобы открыто сказать, что такой даты, строго говоря, не было, да и в принципе она вряд ли возможна в жизни самих языков, если чрезмерно не преувеличивать чисто внешние моменты. Названные выше три языка на народной основе зрели и складывались давно (с другой стороны, справедливо мнение исследователя, что по языковым признакам "грамоты и договоры с белорусской территории вплоть до первой половины XV в. ...правомерно относить к древнерусскому литературному языку" [13, с. 31]). В XIV в. совершилось возвышение Великого княжества Литовского, и вся Юго-Западная Русь оказалась в его пределах. Но ведь тогда следовало бы ожидать образования единого юго-западно-русского языка. Что-то подобное действительно имело место на уровне литовской княжеской канцелярии, но этот продукт все-таки слишком отдаленно связан с народным белорусским и народным украинским языком. При ближайшем рассмотрении и тут делается ясно, что решающую роль играла не политика, а собственное развитие самих языков, вещь гораздо труднее уловимая, а в ней-то вся суть. Очень кстати звучит мнение исследователя, что если бы формирование трех восточнославянских языков к XIV в. "определялось политическими границами того времени, то белорусский язык не должен был бы существовать, а должен был бы образовать единство с украинским к востоку от

польской границы" [8, с. 375]. Единства в смысле бесследного слияния не произошло, как мы знаем, а есть два, хотя и близких, но четко различных языка с собственной самобытной физиономией: белорусский и украинский. Тут мы подходим к вопросу о внутренних принципах, в которые, надо сказать, не очень верили даже крупнейшие лингвисты. Вот почему при разделении и формировании языков охотнее всего искали внешний импульс; отсюда популярность теории субстрата в таких случаях. Но это опять будет соблазн простых решений, а не само адекватное решение. Уподобившись польско-английскому археологу Сулимирскому, мы объясним тогда белорусский как смесь с балтийским субстратом, а украинский – смесью с фракийским субстратом! [5, с. 17]. Как все просто! Давайте уж тогда и великорусский из мерянско-мордовского субстрата объяснять, если кто настолько не верит в потенции собственного языкового развития. Так кажущаяся простота решения приводит к абсурду.

4. Решение вопросов формирования языка определяется знанием условий формирования ближайше родственных языков и диалектов. Это совсем не так просто, хотя мысль и кажется самоочевидной и даже банальной. Дело в том, что знание механизма, как это нередко бывает, подменяется механическим перечислением фактов. Простое перечисление их неспособно дать объяснение сути интересующих нас явлений. Отсюда – тот замечательный разброд и главное – та безысходность, когда остается объективно неясным, почему плох самый невероятный вариант объяснения и чем, собственно, хорош наиболее привлекательный из них? Знаменитый русский филолог А.А. Шахматов представлял себе образование белорусского языка как объединение части южнорусских говоров с частью восточнорусских говоров. Воззрения Шахматова одними традиционно критикуются (ср. [14, с. 111]), другими охотно поддерживаются, и то и другое, правда, делается часто малоубедительно. Далеко ли мы ушли от ученых первой половины XIX в., которые задавались вопросами: не является ли белорусский великорусским диалектом? А может быть, сам великорусский возник позже белорусского? [1, с. 12, 14]. С высоты сегодняшней науки эти вопросы, поставленные на заре науки, могут оказаться не такими уж наивными и отбрасывать их на эмоциональных основаниях во всяком случае не стоит. Только после разрешения в первую очередь этих органических вопросов станет видно, в какой степени иллюзорны ходячие представления о польском вкладе в белорусский язык, начиная с мнения о том, что ляшские черты заложены еще в основу белорусского языка, как представлял это себе Шахматов, и кончая "ополячиванием", к которому белорусы будто бы пришли к XIX в. [1, с. 12].

5. Замечательной и чрезвычайно гармоничной особенностью белорусского языка является то, что это акающий язык, пользующийся акающим письмом. Русский литературный язык тоже имеет в принципе акающее произношение и в нем тоже гласный [о] не сохраняется без изменения, если на него не падает ударение. Почему же тогда столь близкий русский не пользуется принципом аканья на письме? Все ли дело при этом в традиции и насколько иррациональна эта последняя? Кажется, совсем нетрудно и даже демократично – взять и начать записывать по-русски все, "как говорим". Ну, например, тот же перевод из Янки Купалы, выполненный М. Горьким:

А кто там идет *па балотам и лесам*
*А*громн*а*й такою т*а*лпой?
Бел*а*русы.

Всем понятно, что предложенный эксперимент сознательно бесперспективен, но чем это неприятие мотивируется и достаточно ли для этого мощной культурной традиции и привычки, – тут споры возможны. Правда, уже на уровне описания ясно, что в белорусском произношении закономерно не только аканье, но и родственное ему "яканье" (и практическое отсутствие редукции безударных гласных, см. [15, с. 63]), значит, белорусский – сугубо акающий язык, а в русском литературном произношении яканье отсутствует, к тому же, если писать по-русски, "как говорим", сразу встает вопрос, как передавать безударное *е*, ибо четко произносит его вне ударения только человек, не вполне владеющий культурным произношением, литературной же нормой будет как бы ослабленная, нечеткая артикуляция. Вот здесь и заключена кардинальная разница между, так сказать, образцовым русским и образцовым белорусским. Белорусский – сильно артикулирующий язык, русский – язык с ослабленной артикуляцией (и там и тут речь идет только о безударной артикуляции). Реформы письма, ориентированные на сближение письма с произношением, имеют перспективу только для языков с сильной артикуляцией; языки с ослабленной артикуляцией оправданно придерживаются традиционного (старого) принципа письма как наиболее инвариантного. Таков принцип русского письма и – типологически – таков же, например, принцип английского письма.

6. А теперь несколько слов об исторической характеристике явления, столь явно выделяющего белорусский язык, – о его аканье. Интересно, что при всей его типичности для белорусского литературного языка и большинства его народных говоров, стоит вопрос о вторичности белорусского аканья в общем контексте распространения аканья на запад с востока, где локализуется

предположительная первичная область возникновения аканья, по мысли Шахматова – на (Верхнем) Дону [14, с. 122, 132]. Как и почему возникло аканье? Неплохо бы знать причины этого любопытного явления. Разумеется, ссылка на "бóльшую простоту" "принципа аканья" сравнительно с "принципом оканья" не может быть признана даже отдаленным объяснением. Аканье распространялось и побеждало (в случаях встречи с оканьем), потому что оно было **инновационным процессом**, а инновационные процессы всегда говорят о наличии **центра**, из которого они идут. Некоторая недоговоренность, все еще преобладающая, признаем это, в части, касающейся аканья, связана в немалой степени с тем, что проблема аканья и его разновидностей, безусловно, сложнейшая в диалектологии и истории восточнославянских языков. Если центр, из которого вообще исходит аканье, был достаточно устойчив и влиятелен (а так оно, видимо, и было, если судить по тому, что именно аканье возобладало в двух из трех восточнославянских языков), то он должен был продолжать посылать новые импульсы в форме новых явлений. То, что это в действительности было так, видно по судьбе диссимилятивного аканья (яканья). На диалектологических картах диссимилятивного яканья [16, с. 301, рис. 2; 17, с. 44, карта] видно, что явление это занимает выразительно центральный ареал между Могилевом на западе и Калугой на востоке, включая на севере Смоленщину и Витебск, а на юге – Брянщину. Внимательный взгляд на эти данные, очевидное наличие ареала и его центра убеждает в том, что мы имеем дело с органическим по природе развитием славянского языкового явления и что нет оснований соглашаться с тем, что будто причина аканья коренится в балтийском субстрате [7, с. 93–95, с литературой; 15, с. 46, 86] или – в древнемордовском субстрате [9, с. 89–90]. Сторонники субстратной теории оставили, кажется, без внимания то обстоятельство, что восточнославянское аканье органически связано с восточнославянской же утратой количественного различия гласных, когда на смену древнейшей оппозиции долгих и кратких пришла более новая оппозиция ударных и безударных гласных. Балтийский как источник русского и белорусского аканья бесспорно отпадает, потому что для балтийского как раз характерно наличие количества гласных и политонии, несовместимых с аканьем.

7. В этой связи представляет интерес мнение, что даже такие черты белорусского произношения, как дзеканье и цеканье, нередко охотно зачисляемые в старые "ляшские" (польские) особенности белорусского языка, в действительности нарастают лишь вторично и тоже, вероятно, идут с востока, из районов с сильным смягчением зубных согласных, на которое могли лишь

вторично наложиться собственно польские влияния [14, с. 121, 134]. Тут естественно задаться вопросом: а какой способ произношения согласных древнее? – дабы видно было, куда, собственно, идет все наше развитие в этом плане. Здесь тоже велись споры между теми, кто постулировал в древности максимальную палатализацию (смягчение) согласных, и теми, которые, наоборот, предполагали в праславянском языке, общем предке всех наших языков, первоначальное отсутствие мягкости согласных. Я думаю, что типологически все-таки безусловно вероятно последнее и что едва ли праславянское состояние характеризовалось максимальной аккомодацией, тем своеобразным слиянием гласного и согласного начал, которые существуют, например, в великопольских говорах с их дзеканьем и цеканьем [18, с. 37 и сл., и passim]. Дзеканье и цеканье – не начало, а итог длительного развития. Что же касается древнейшего праславянского состояния, то я думаю, что первоначально согласные перед передними гласными не смягчались, произносились твердо, как это имеет и, по-видимому, издревле имело место в украинском [8, с. 375]. Украинский с этой древней своей чертой представляет интереснейшую архаичную периферию не только в отношении всего восточнославянского, но и всего вообще славянского языкового ареала, наряду с аналогичной особенностью южнославянских языков и диалектов. Белорусский же, как мы видели, наоборот, залила волна сильного смягчения согласных, вышедшая из некоего эпицентра на востоке от собственно белорусской территории и на север от украинской языковой территории. Кажется, эти факты приближают нас к пониманию центра всего восточнославянского ареала, а через это – и динамики его частей.

Здесь самое время обратиться к понятию средневеликорусских говоров.

8. Признание специалиста, что "средневеликорусские говоры до сих пор мало изучены" [14, с. 146], не может нас не беспокоить: их действительное место указано их связью с белорусским языком, поэтому, наверное, нельзя считать образование средневеликорусских говоров "специфически великорусским явлением" [14, с. 110]; речь, скорее, должна идти о центральном общевосточнославянском явлении. Знакомство с состоянием изучения средневеликорусских говоров способно, кажется, вызвать сомнения относительно путей и способов этого изучения, как и самих взглядов, которые эти пути и способы породили. Мы видим, что уже Шахматову средневеликорусские говоры представлялись объединением севернорусских и восточнорусских [14, с. 111]. В дальнейшем и А.А. Шахматов и Н.Н. Дурново согласно видят в средневеликорусских говорах северновеликорусскую основу с

южновеликорусским наслоением [14, с. 145]. Можно, конечно, принять во внимание, что труды того поколения ученых не затронуты положениями современной лингвистической географии о нормально функционирующем ареале языка с его центром, вырабатывающим новообразования, и периферии как естественным прибежищем архаизмов.

Наша диалектология давно уже отождествила свои задачи с лингвистической географией, однако практически по сей день действует старая шахматовская схема первоначального распадения прарусского языка на северновеликорусское и южновеликорусское наречия с последующим "общением" их обоих и результатом этого общения, или взаимодействия в виде "смешанных", "разнодиалектных" или "переходных" средневеликорусских говоров [19, с. 21]. Не знаю – как кому, а мне давно бросается в глаза отсутствие адекватности этой схемы как общепринятым понятиям лингвистической географии, так и – прежде всего – природе языковых явлений. Боюсь, что благодаря таким представлениям мы сами надолго отодвинули поиски центра общерусского и общевосточнославянского ареала, и наши лингвисты не задумываются над актуальностью определения этого центра [8, с. 361]. Мне кажется, я не ошибусь, если выскажу предположение, что украинская и белорусская диалектология испытали в этом смысле определенное влияние старой школы русской диалектологии. Концепция двух главных наречий и полосы "переходных говоров" также для украинского и белорусского [20, с. 56, 64; 21, passim; 22], похоже, дублирует названные недостатки в смысле ухода от проблемы центра ареала, резко снижая эффективность познания механизма языковых процессов и подменяя их механической концепцией сложения целого. Правда, до явно гетерокомпонентных взглядов на украинское и на белорусское языковое развитие еще как будто не дошли, но русистика уже дошла до этого, и по зрелом размышлении меня это не удивляет, поскольку гетерокомпонентность, в сущности, заложена уже в шахматовской теории русской диалектологии. Концепция **гетерогенного происхождения** общевосточнославянского единства – прямое детище этой теории. По этой концепции, в VIII–IX в. по Днепру вверх и вниз, с севера (из Псковщины), шли "встречные потоки" [4, с. 87], а то, что мы имеем в качестве древнерусского единства, явилось якобы лишь плодом вторичной "нивелировки" и "интеграции" [6, с. 273].

Не возражая в принципе против явлений нивелировки и интеграции, которые в определенных размерах всегда входят в понятие этногенеза, отметим все же кардинальную утрированность того, что нам предлагают в качестве древнерусского этногенеза

сторонники гетерогенной концепции, по которой великорусы древнего Великого Новгорода прибыли морем или каким-то другим путем от западных славян. Подробно сейчас останавливаться на этом больше не будем, но ясно одно – что только недооценка действительных положений лингвистической географии и, прежде всего, полное отсутствие у таких специалистов озабоченности проблемой центра всего восточнославянского ареала – как если бы такового не существовало вообще! – делает возможными подобные концепции "встречных потоков" на Днепре и вообще всего этого "смешения".

В славистике других стран, особенно при изучении этногенетической проблематики, соотношению периферийных архаизмов и центральных инноваций уделяется серьезное внимание [23]. Недостаток серьезного отношения оборачивается непростительными ошибками как в лингвистической географии, так и по части этногенеза. Так, Хабургаев, интересующийся проблемами этногенеза и широко привлекающий данные говоров, ошибочно трактует генезис аканья, несмотря на то, что из карты, им разбираемой [4, с. 142, карта 15], однозначно явствует, что недиссимилятивное, "сильное" аканье занимает две не связанные друг с другом периферийные зоны, а диссимилятивное аканье-яканье – центр между ними; следовательно, именно последнее инновационно, а не наоборот, на что автору и было указано иностранной критикой [8, с. 365]; ср. еще раньше о первичности именно сильного аканья [15, с. 31–32].

9. В терминах большей чуткости к проблеме центра древнерусского языкового и этнического ареала могли бы, думается, быть пересмотрены не без результата и другие давно привычные положения нашего языкознания. Так, согласно одному из известнейших таких положений, "...падение глухих (кратких, редуцированных. – *О.Т.*) в украинской языковой области имело место ранее, чем у других восточных славян..." [14, с. 121]. Как видим, этот известнейший эпизод древнерусского, да и всего славянского языкового развития – *ъ, ь* → *ϑ* – принято изображать однолинейно: раньше на юге, позднее – на севере. На новгородском Севере, действительно, редуцированные широко и долго сохранялись, но это неудивительно: Север, как мы знаем, несомненная периферия языка. В этой связи утверждение о раннем падении "в украинской языковой области", напротив, вызывает удивление и недоверие, ведь по своей позиции географической и по ряду языковых особенностей украинский – это тоже периферия. Так обстоит дело и в случае с редуцированными, и традиционное утверждение, по меньшей мере, не совсем точно: хорошо известная архаичная особенность украинского произношения (и даже –

украинского акцента русской речи!) – отсутствие оглушения конечных звонких согласных – говорит, наоборот, о задержке падения *ъ, ь*. Следовательно, и в данном случае центр явления – где-то к северу от позднейшей украинской территории, и остается только продолжать исследования с целью посильного выяснения близости его к Верхнему Подонью (см. выше).

Как уже говорилось, Шахматов в свое время выступил с трехчленной концепцией русского языка, а именно с идеей распадения в IX–X в. общерусского праязыка на южнорусское, восточнорусское (или среднерусское) и севернорусское наречия. Его взгляды привлекли широкое внимание и стали объектом критики, которая, к сожалению, больше задерживалась на деталях, а не на более принципиальных вопросах [14, с. 113, 115: признает теорию Шахматова "искусственной"; 24, с. 32, 33; 25, с. 34 и сл.]. Критиков, судя по тому, что они в основном довольствовались двучленной концепцией русского языка, не устраивало главным образом у Шахматова выделение особого восточного русского (оно же потом – среднерусское) наречия. А между тем мысль Шахматова о локализации восточнорусского наречия на Дону и Донце и там же – такой главной его особенности, как аканье, вновь и вновь привлекает, нас своим, похоже, неслучайным совпадением с наиболее срединными явлениями ареала аканья (см. выше о диссимилятивном аканье), вновь и вновь неся с собой мысль, что где-то здесь еще может быть нащупан **древний центр общерусского и общевосточнославянского языкового ареала.**

Так что Шахматов, как бы продолжая мыслить понятиями науки своего времени, был, как кажется, стихийно близок к тому, что, пожалуй, осторожно формулируется только сейчас, поскольку его восточно-русская группа (наречие) была не чем иным как неосознанным гениальным предвосхищением идеи центра древнерусского ареала.

Хорошо известно, что государственное восхождение России началось с подъема Ростово-Суздальской Руси. Но прямолинейно отождествлять эти истоки русской государственности с истоками русского языка [14, с. 109] – значит полностью повторять ту ошибку прямолинейных отождествлений, о которой уже упоминалось ранее. Центр определяющих новообразований был едва ли в северо-восточной Руси. Ее возвышению предшествовало функционирование более южного центра, затем последовала деформирующая передвижка русских племен Востока и Юга на север и на запад под нажимом восточных народов (см. [26, с. 89]). Неизменное направление русской колонизации XVI–XVII вв. с севера на юг, "сползание", как его еще называют, включающее и сползание к югу ряда изоглосс, явилось в сущности возвратом в

более благодатные земли на Дону и в Приазовье и далее – на Тамани, которые уже были раз освоены Русью в древности (ср. Тмуторокань X–XI вв.).

К тому, что сказано выше о Верхнем Доне как эпицентре аканья, и, возможно, других значительных процессов (о которых – выше), добавлю несколько слов характеристики местного языкового ландшафта совсем с другой стороны. Надо сказать, что водораздельный регион Верхнего Дона – Верхней Оки обращает на себя внимание своей как бы среднерусской центральностью: сюда относится скопление именно здесь некоторого количества достаточно древних русских водных названий самобытного славянского вида, нередко – без соответствий в нарицательной лексике языка, например *Калитва, Непрядва, Идолга, Снова* и другие. Русская (славянская) водная номенклатура Дона еще недостаточно изучена, но уже сейчас к водораздельному региону верховий названных выше рек применима характеристика гидронимического центра с неяркой, смазанной картиной, без четких тенденций, тогда как, спускаясь ниже по Дону, мы вступаем в царство избыточных однородных, как правило – двучленных, названий балок и ериков типа Офицерская балка и даже балка Трубачева... В гидронимии так ведут себя зоны экспансии.

10. Может быть, эти (а с ними и другие) данные облегчат нам ответ на непростой вопрос, – **как и откуда заселялась Белоруссия.** Карский, например, считал, что большинство белорусских славян пришло с юга, с Припяти, и запада – с Западного Буга и Нарева – через Понеманье – вплоть до Западной Двины [27, с. 199]. В.В. Седов – в соответствии со своими взглядами – ведет предков новгородских словен и предков кривичей от западных славян, и он допускает при этом (не находя для того, впрочем, никаких археологических доказательств), что означенные племена славян прошли с запада на восток, "может быть, где-то в бассейне Немана" [6, с. 66]. Думая таким образом, слависты разных специальностей не хотят видеть капитального препятствия, стоящего на пути их умозрительных рассуждений: **этнографического рубежа** на Северо-Востоке Польши. Судя по тому, что у нас и этнографы обходятся без его упоминания (мне оно ни разу не встретилось в новой академической "Этнографии восточных славян", во всяком случае – в разделах о народной культуре белорусов), этот феномен в нашей литературе, мягко говоря, не пользуется известностью.

Понятие этого важнейшего этнографического рубежа было выдвинуто еще в довоенные годы в польской науке, и состоит оно в том, "что на северо-восток от среднего течения Вислы фигурирует один из наиболее четко очерченных в Европе этногра-

фических рубежей, имеющий, вдобавок, соответствия в ареалах доисторических культур. А именно – в I тысячелетии до н.э. достигла этого рубежа с запада лужицкая культура..." [28, с. 385]. В этом рубеже не было никакой мистики: естественную преграду на восток от него образовывали сплошные дремучие леса, пуща. "В разные эпохи волны культур, двигающиеся с запада на восток, вынуждены были останавливаться на краю великого первобытного леса, как на берегу моря" [28, с. 390]. Не станем здесь перечислять явления народной культуры, распространенные по одну и по другую сторону от этого древнего этнографического рубежа, их можно найти в литературе (только один пример: пересекая белорусско-польскую границу поездом в западном направлении, из окна вагона элементарно наблюдательный человек вплоть до недавнего времени мог видеть, как дуга с двумя оглоблями в конской упряжи вдруг сменяется однодышловой запряжкой по всей остальной Польше к западу...).

Для нас сейчас важно другое: перед этой пущей спасовали и остановились в своем движении к востоку древние носители лужицкой культуры, потом, уже в начале нашей эры, – готы; последние двинулись на юго-восток, в обход этого рубежа, а с ним – и непроходимого леса. Это и будет одновременно ответ тем из наших специалистов, которые до последнего времени склонны прочерчивать путь миграции наших словен и кривичей с запада на восток "через Понеманье". Древние лучше нас знали, что путь этот с запада для целых народов был непроходим. Примерно о том же гласит вывод давней уже книги "Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья": западная часть Верхнего Поднепровья оставалась в стороне от магистральных (в данном случае – восточнославянских) передвижений [29, с. 20].

11. Выходит довольно однозначно, что ни с запада, ни с юга нет достаточных оснований предполагать заселение территории Белоруссии славянами, предками будущих белорусов. Выходит, далее, что шахматовское положение о том, что дреговичи – ляшское племя, совершенно справедливо критиковалось [14, с. 120]. Эту критику можно дополнительно усилить, кроме довода о невероятности крупного этнического переселения в древности с "ляшской" (польской) территории на белорусскую, как мы это выяснили благодаря знакомству с крупным местным этнографическим рубежом и с условиями физической (климатической) географии края, – эту критику можно дополнить более точной паспортизацией имен участников этногенеза белорусов. В сущности мы лишь выполняем завет первоучителя славян Константина-Философа, который сказал: первое ся наоучите раздѣляти имена... (сперва научитесь различать названия. – *О.Т.*; Житие Кон-

стантина, гл. X) – и поставил тем самым основное условие корректности любого спора. В самом деле, пока мы не проведем четкую этимологическую (лексикологическую) и лингвогеографическую критику имени тех же дреговичей, спор об их древних судьбах останется беспредметным и бесполезным.

При этом оказываются возможными следующие важные ограничения. Древнерусское *дреговичи*, название племени к северу от Припяти, правильно образовано с патронимическим (по типу отчеств) суффиксом *-ичи* от названия болота, трясины, известного только восточнославянским языкам. Ясно, что после этого попытки "ляшской" атрибуции дреговичей просто отпадают. Дальнейшее ограничение – в рамках восточнославянского – выражается в том, что на великорусской территории соответствующее народное слово *дрягва́, дрегва́, дрогва́* распространено главным образом на западе и юго-западе (смол., калуж., брян., тул., курск.) и почти не известно на севере; основной ареал данного названия болотной трясины – белорусский (*дрыгва́, драгба́*), к которому примыкают, кроме названных русских, также украинские диалектные формы *драгва́, дрягва́*. Следующий вывод: **название носит преимущественно белорусский характер** и имеет вместе с тем четкую славянскую этимологию. Слово *drъgъva* "трясина" произведено от слав. *drъgati* "дрожать" (см. из литературы: [30, с. 139; 31, с. 178; 32, с. 137; 33, т. 3, с. 155–156; 34, с. 119]).

Признав исключительно белорусское происхождение имени дреговичей, мы отнюдь не обеднили его древнейшую славянскую историю и не положили ей, так сказать, никакого terminus post quem. Напротив, некоторые косвенные данные дают пищу для конкретных весьма интересных суждений о добелорусском – праславянском диалектном – существовании элементов будущего белорусского языка. Интересно же то, что эти данные прекрасно знала и старая наука – знала и предпочитала не замечать! Впрочем, еще Е.Ф. Карский, а до него – М.С. Дринов указали на то, что прабелорусское племя дреговичей должно быть родственно другим дреговичам, жившим у Солуни, родины Константина и Мефодия [27, с. 56]. Имя последних скрывается под византийско-греческой записью *Drougoubītai* (Theophanes Continuatus, X век), также *Dragoubītai*, *Drogoubītai* в "Деяниях св. Димитрия", см. [35, с. 177]. Дело в том, что в знаменитом сочинении византийского императора Константина Багрянородного (середина X в.) тем же самым точно именем *–Drougoubītai* – названы и наши полесские дреговичи [36, с. 50–51]. Речь идет об одном и том же племенном названии, образованном – как бы ни уклонялось тут от ответа традиционное языкознание – от одного и того же древнего славянского диалектного названия болотного зыбуна, трясины –

drъgъva. Соль всего этого эпизода состоит в том, что и имя солунских *Drougoubītai*, обосновавшихся в раннесредневековой Македонии, тоже имеет белорусскую этимологию. Можно теперь только строить догадки о навсегда канувшем в неизвестность эпизоде древней славянской племенной истории, когда часть протобелорусских дреговичей откололась и зашла особенно далеко на юг, в греческие пределы (мы оставляем здесь открытыми вопросы о том, когда и на какой территории этот раскол произошел). И догадка эта не будет безудержной фантазией, поскольку известно, что этимон племенного названия дреговичей не засвидетельствован ни у западных, ни у южных славян, и можно лишний раз отметить, какую неоценимую выгоду паспортизации дают нам его восточнославянские, преимущественно белорусские, метрические данные, имеющие корни, кроме белорусской нарицательной лексики, в белорусской топонимии (так, к имени дреговичей относят также название города *Дрогíчин – Драгíчын* в Брестской области [37, с. 109]). Систематические поиски исключительных соответствий белорусской лексике и ономастике в пределах южного славянства должны продолжаться, и они еще могут дать немало конкретного и интересного в виде таких, например, пар, как название белорусского города *Мóзырь* (*Мазыр*) и словенский топоним *Mozirje*, или всякого рода специфические образования вроде южнославянского *денгуб* "бездельник" и его параллель в восточнобелорусских диалектах [38, с. 30], точнее, болг. *денгуба* "теряние времени напрасно", диал. *денгýба* "человек, тратящий время попусту", макед. *денгуба* "напрасная трата времени", сербохорв. *дáнгуба, данґуб* "напрасная трата времени" и белорусское диал. *дзяньгýб* "лентяй, лодырь" (могилевск.), *Деньгубы*, местное название в бывшем Лепельском уезде Витебской губернии [30, с. 214].

12. Думать о балтийском источнике имени дреговичей, как это делают некоторые авторы [4, с. 97], не рационально, для этого надо слишком многим пренебречь – и далеким от балтийского свидетельством о *Drougoubītai* (X в.!) в Македонии и весьма очевидной славянской словообразовательно-этимологической характеристикой имени *дреговичи* (о которой выше). Столь же очевидна натяжка, с которой тот же автор пытался зачислить в балтизмы название другого племени, причастного к этногенезу белорусов, – *радимичи* [4, с. 97]. Начальная наша летопись, повествующая о генеалогии радимичей от некоего Радима, заслуживает больше доверия, чем придуманное нынешним лингвистом ad hoc балтийское **rādimīs* (?). В этом личном имени былого предводителя, или эпонима, нельзя не видеть краткой формы первоначального полного двучленного славянского имени *Радимир/Ра-*

домир с вероятным княжеским статусом. Специфика случая радимичей в том, что, в отличие от дреговичей, это было действительно ляшское племя, в чем можно верить "Повести временных лет". Стоит прислушаться к словам старинного нашего историка Татищева, который о радимичах пишет буквально следующее: "Радимичи. Их град Радом доднесь в Малой Польши воеводстве Сендомирском знаем. Но сих родимич часть переведена к Днепру..." [39, с. 336]. Относительно упомянутого польского города *Radom* можно утверждать, что его название продолжает на польской почве посессивное производное **Radom-jь*, указывающее на принадлежность некоему лицу по имени **Radomъ*, также сокращенная форма от того же славянского антропонима "*Radomirъ*/*Radimirъ*, что и *Радим*, полумифический предок наших радимичей (ср. в польском *Radom* [40, с. 200]).

Сомневаться в славянстве радимичей значило бы проявлять явную близорукость; это конечно, было никакое не "славянизированное автохтонное балтийское население Надсожья", как можно прочесть в [7, с. 72], а как бы совсем наоборот. И все же есть существенная разница между тем, как в орбите белорусского этнообразования оказались, скажем, (полесские) дреговичи и – радимичи Надсожья. Последние действительно пришли "от лях", но пришли не с запада, – так сказать, кратчайшим путем, как его можно нарисовать себе на бумаге, на карте. То, что этот "кратчайший" путь отпадает, мы постарались показать выше. Единственный магистральный путь и для радимичей, и для вятичей (о которых – ниже) был только в обход, по южной дуге с запада на восток вокруг лесов и не менее труднодоступных болот Припятского Полесья. Таким образом, и те, кто действительно пришли с запада, как радимичи, все равно как бы вошли в Белоруссию с востока.

13. Этническая предыстория белорусов не хуже языковой показывает, насколько тесно их судьбы переплетены с великороссами и как порой при этом причудливо распоряжается исторический случай, когда, например, радимичи и вятичи, будучи – и те и другие – "от лях", оказываются первые – в орбите белорусского этногенеза, а вторые – вне ее; или – как в случае с кривичами, часть которых вошла в белорусский этнос, а другая часть – в русский. Но сначала – о вятичах. Как полагают, они пришли в начале VIII в. на верхнюю Оку, на земли, где уже жили балты [6, с. 148]. Несмотря на это, они успешно сохранили свою славянскую самобытность. Выразилось это, среди прочего, и в том, что именно (в основном) в Поочье "ляшское" племя вятичей воспроизвело фрагменты топонимического ландшафта своей далекой "ляшской" родины. Еще исследователи прошлого обнаружили на ради-

мичско-вятичской территории соответствия польским местным названиям, главным образом – Мазовша и Хелминской земли. Названия эти имеют вид достаточно древних славянских образований, и их вклад в русскую топонимию, надо сказать, весьма ощутим, ибо среди них – и название столицы России (а прежде того – реки) *Москва*, ср. архаичное *Moskiew*, в Мазовше, далее – *Тула*, ср. польское *Tuł*, *Вщиж*, один из древних удельных русских городов, ср. польское *Uściąż* (см. подробнее [41, с. 8, 11 и сл.]). Особое скопление западнославянских по происхождению местных названий (феномен, который не привлек должного внимания в нашей литературе, судя по тому, что, как и прежде, имеют хождение этимологии *Москва* из балтийского, из финского...) приходится на Верхнее и Среднее Поочье, а не на сопредельную с польским Мазовшем Белоруссию! Подобные групповые следы древних миграций с польского, славянского Запада нам неизвестны в собственно белорусской топонимии. Отдельные польско-белорусские соответствия из области местных названий имеют более новый характер и, кстати, обратное направление. Таковы *Mińsk Mazowiecki* – повторение Минска белорусского, *Drohiczyn* в Белостоцком воеводстве Польши [40, с. 65]. Отсутствие прямого древнего пути севернее Припяти от западных славян к белорусским и вообще – восточным славянам может считаться доказанным.

14. Известно, что в литовском имеется традиционное (старинное) название белоруса – *gùdas* (нынешнее *baltarùsis*, мн. *baltarùsiai* "белорусы" в литовском, конечно, новое название, калька со славянского – "белорус"). Литовское *gùdas* "белорус" интересно тем, что этимологически это "гот" [42, с. 174; 43, с. 26]. Наиболее вероятное объяснение этого странного, на первый взгляд, называния белоруса "готом" заключается в том, что германцы-готы в первых веках нашей эры стали продвигаться от освоенного ими устья Вислы к юго-востоку, как бы "дублируя" уже знакомый нам этнографический рубеж. Для древних балтийских племен это были соседи с юга. Потом соседи сменились (подвижные готы ушли в Северное Причерноморье), а название осталось. Для тех, кто измеряет самостоятельное существование белорусского языка во временных масштабах от XIV в. и позже, крайне поучительно задуматься над фактом, что название готов, фигурировавшее в этом околобалтийском регионе никак не позже II–III веков нашей эры (!), оказалось перенесенным именно на белорусов, образование языка и этноса которых датируется обычно очень поздно, как мы видели. В целом этот факт вторичного переноса литовцами названия готов на других соседей с юга – славян – как будто еще недостаточно оценен наукой именно как показатель ареальной вторичности балто-славянских кон-

тактов (хотя известен он давно и, похоже, всегда вызывал удивление, как например у Татищева: "Что же мы зделаем литвинам, которые россиян гудами зовут?... Что ж то готтами называют?" [39, с. 299]). Не менее интересно и то, что литовское *gùdas* "белорус" самими белорусами о себе никогда не употреблялось и вообще, похоже, не было им известно. На славянской языковой почве это древнее название готов имело бы форму **gъdъ*, и эта форма, как и производные от нее, насколько удалось выяснить, на собственно белорусской территории отсутствует. Вместе с тем на соседних с Белоруссией славянских территориях эта форма (в производных) известна, и эти свидетельства обходят Полесье, Белоруссию приблизительно тем же известным нам полукругом, ср. польское *Gdzew*, название леса в Мазовше, начало XV в. [44, с. 50], далее – *Gdow*, местное название во Львовской области, и, наконец, русское *Гдов*, древнерусское *Гдовъ* (грамота 1531 г.), название города на восточном берегу Чудского озера [45, т. I, с. 400]. Это название своей траекторией показывает, что самый верный путь из Южной Прибалтики и от западных славян в псковские и новгородские земли был путь окольный, огибавший с юга Припятское Полесье и лишь затем сворачивавший вверх по Днепру. Литовское *gùdas* "белорус" возникло, таким образом, на стабильном этническом пограничье, где менялись народы, а граница оставалась. Факт – замечательный и сам по себе и своей этимологической прозрачностью, хотя это не мешало лингвистам иногда толковать его произвольно, возьмем, например, мнение немецкого литуаниста Э. Френкеля, который видел в литовском *gùdas* "белорус" отражение будто бы тех времен, когда белорусы "вместе с балтийскими прусами находились под готским господством на нижнем течении Вислы" (?!) [42, с. 174]. Разумеется, белорусов в столь глубокой древности в низовьях Вислы не было. Что касается собственно белорусской географической номенклатуры, то в ней встречаются, в основном – в белорусско-литовской пограничной полосе, – уже чисто литовские, поздние по происхождению формы вроде *Гуды, Гудéли, Гудéлишки, Гудúшки, Гудогай* [37, с. 88–89], знаменующие белорусскую этническую границу как бы с литовской стороны.

15. Не имея здесь возможности проследить более или менее подробно участие или неучастие белорусов в тех или других контактах по их отражению в словаре языка, мы вынужденно ограничиваемся немногими, хотя, на наш взгляд, показательными для истории этноса и его культуры примерами. Ясно, например, что культура белорусов, народа в основном лесного, была издревле связана с корчеванием, с жизнью леса и поля в условиях корчевания леса в интересах земледелия. Если в этих условиях белорус-

ская терминология корчевания обнаруживает существенные различия с соответствующей терминологией других достаточно близких славянских языков, это довольно убедительно и красноречиво показывает своеобразие путей белорусского этноса и культуры. Любопытно, что в Белоруссии и в старой Западной Руси вообще отсутствует термин корчевания **къrь*, сам по себе – термин старый и известный ряду славянских языков; его продолжения засвидетельствованы в чешском, словацком, сербо-лужицких, польском языках, а у нас – в древнерусском, причем особенно – в рязанских и московских памятниках (XVI в.). Особо выделим, что этот термин известен в старой польской письменности, в польских диалектах и ономастике (*kierz, Kierz*), в том числе – в пограничном с Белоруссией Мазовше (XVI в.) в значениях "кустарник, заросли" [44, с. 71]. Не менее ярко представлен этот термин в старой русской письменности с XV в. (*корь* "поле, расчищенное под пашню", "расчищенное и вновь заросшее", "небольшой лесок среди поля"), в современных русских говорах (*корёк, корьки* "небольшой лесок или кустарник среди поля", "низменное место, болотце, заросшее кустарником", с исходным значением "расчищенное под пашню место; расчищенное и вновь заросшее место"). Любопытно, что и тут ареал охватывает в основном Среднее Поочье [46; 47], т.е. опять вотчину вятичей. Западная Русь, включая Белоруссию, знает другой альтернативный славянский термин *корчевье, корчовье*. Белорусский язык и на этот раз как бы изолирован – что особенно поучительно – от польского влияния с запада, обычно регулярно ему приписываемого. Белорусский выпадает из ареала "севернославянского **къrь*" [48], который и в данном конкретном случае опоясывает (не затрагивая ее) белорусскую языковую и этническую территорию, огибая ее по "трассе вятичей", если можно так выразиться (думается, что именно на этом – "вятичском" – пути отдельные случаи слова *корь* в значении "корчевье" попали с Оки и дальше, на новгородский Север, а не наоборот, как см. в [46, с. 149], что было бы необъяснимо). **Важнейшие импульсы формирования белорусского языка и этноса шли с Востока,** как уже отмечалось, но уже из вятичского Поочья доходило далеко не все.

16. Другое дело – кривичи! Это большое древнерусское племя Белая Русь и Великая Русь как бы поделили между собой, обоим хватило. Географ свидетельствует, что *Кривичи́* (*Крывічы́*), название многочисленных сел, встречается по всей Белоруссии [37, с. 183]. Так получилось, что именно это племя на севере белорусских земель в какой-то период своей истории вступило в особо тесные отношения с племенами балтов. Балтийские языки (или часть их) это четко запомнили, во всяком случае для латы-

шей до сих пор все русские – "кривичи", поскольку по-латышски *krievs* значит "русский", *Krievija* – "Россия". Из возникшей близости общения, однако, вовсе не следует, что кривичи – это какие-то балто-восточнославянские метисы (ср. прямо о "метисации" кривичей [6, с. 47]). Подобное утверждение было бы очевидным преувеличением, которых, к сожалению, немало в нашей специальной литературе. Более логичный ход рассуждений подсказывает, что, судя по изложенным данным, ни одно из остальных древнерусских племен, так или иначе сопричастных белорусскому этнообразованию или, по крайней мере, сопредельных ему, не было известно балтам по имени. Но даже кривичи, оказавшиеся исключением, носят имя чисто славянское: буквально – это "отчество" от имени или, скорее, прозвища их родоначальника **Кривъ* [45, т. II, с. 375–376]. Следовательно, *кривичи* расшифровывается как "потомки Кривого" подобно тому, как *вятичи* означали "потомки человеке по имени Вятко", а *радимичи* – "потомки Радима". Все эти племенные названия образованы по одной, так сказать модели на *-ичи* – патронимической. Сюда относится, как уже сказано, и название *дреговичи* – с тем отличием, что в последнем случае племя получило прозвание не по личному имени собственному, а по нарицательному слову *дрегва* "болото", но, возможно, в этом и был юмор ("болотовичи"...), наличие которого у древней Руси мы не вправе отрицать. Просто такие вещи труднее поддаются нашей реконструкции...

Еще о кривичах можно сказать, что они – по логике уже сказанного выше – рано проделали путь с юга на север по древнерусской магистрали, Днепру, и рано ступили переволочным путем на балтийскую магистраль – Двину (Западную). Удобство этих водных сообщений, со всей стороны, объясняет, видимо, раннюю продвинутость к балтийскому Западу именно кривичей. Можно думать, что у братских племен радимичей и даже дреговичей этот самый процесс проходил медленнее, труднее и не в полную силу. Радимичи при этом так и остались на востоке Белоруссии, на Сожи, и это не только потому, что они "от лях", т.е. пришельцы относительно вторичные. В общем и дреговичи, видимо, не выходили далеко за пределы Припятского Полесья. Для их миграций оставалась определяющая магистраль восточнославянской колонизации вдоль Припяти и Днепра. Небезынтересно отметить, что большие реки, по которым шла эта магистраль, имеют в основном небалтийские названия. Таковы *Припять*, *Днепр*, название которого, в основе своей иранское, славяне узнали на юге в фракийской обработке и распространили его на север, до истоков Днепра (как называли эту реку древние балты, мы так и не знаем), и даже – *Двина*, название которой в этой форме явно не балтийское, как бы ни

судить о нем [45, т. I, с. 488; 49]. Оно может быть только индоевропейским, а реальными индоевропейцами в районе были, помимо балтов, только славяне. У балтов есть свое, четко отличное название Двины, – латышское *Daugava*, литовское *Dauguvà*. Ссылки на то, что область была балтийская, явно недостаточно, чтобы обосновать балтийское происхождение также для названия реки *Двина* [49]. Смысл в том, что славяне принесли его с собой, об этом говорит и то обстоятельство, что *Двина* в общем была известна славянам и в гидронимии Поднепровья.

Иная ситуация со славянским освоением внутренних районов Белоруссии, особенно – более западных. Даже если опустим названия многих малых речек и мест, балтийские по происхождению, особенно показательно, что крупная река Западной и Центральной Белоруссии – *Неман* – носит балтийское название, одно и то же от белорусских истоков Немана до его впадения в Балтийское море [50]; славянские названия для Немана нам неизвестны, а формы древнерусское *Немонъ*, украинское *Немон*, белорусское *Неман* (род. п. *Нёмна*), а также польское *Niemen/Niemna* – все в конечном счете заимствованы из балтийского, ср. литовское *Nẽmunas*.

17. Как же все-таки осваивалась славянами Белоруссия и как они сами рассматривали это освоение, например, в смысле географической ориентации? Есть ли сейчас у нас возможность ответить на такой кардинальный вопрос? Да, несмотря на все сопутствующие затемнения и искажения, которые, как и положено действительно старому вопросу, тоже, как говорится, "в деле имеются" и которые вызваны не только забвением за давностью самого дела, но и кривотолкованиями, продиктованными подчас самыми искренними стремлениями разъяснить вопрос. Значит, снова встает надобность "раздѣляти имена", т.е. различать их, объясняя, как завещал святой Константин-Кирилл, и это в полной мере приложимо к названию *Белая Русь, Белоруссия*, которую давно носит эта земля.

Историки говорят нам, что название *Белая Русь* стало известно с XIV в. в памятниках письменности, "но можно полагать, что оно было известно и значительно раньше" [26, с. 119; 51, с. 48–49]. Интересно, что объем понятия "Белая Русь, Белоруссия" был неодинаков в разные эпохи и утвердился в границах, близких нынешним, как думают, в XVII в. [52, с. 38; 11, с. 9]. Впрочем, и это лишь относительно, и яркий пример тому – изменение взглядов на статус Смоленщины, на ее принадлежность, можно сказать, на протяжении жизни последних трех поколений. Такой знаток белорусоведения, как Е. Ф. Карский, говорил еще в начале нынешнего века о белорусской принадлежности значительной части

смоленских крестьян по языку [27, с. 23–24], хотя, впрочем, он же и констатировал, что около Смоленска "белорусы теряют особенности своей народности и постепенно приближаются к великорусам". На известной специалистам "Диалектологической карте русского языка в Европе", изданной Московской диалектологической комиссией в начале Первой мировой войны, Смоленск и его округа еще отнесены к территории белорусских говоров, современные же диалектологические карты русского языка уже включают Смоленск в территорию южного наречия русского языка [19, passim].

18. Теперь нам придется коснуться весьма специфической проблемы трактовки Белой Руси у знаменитого нашего историка первой половины XVIII в. В.Н. Татищева, в результате которой общая картина, кажется, заметно усложняется. Дело в том, что Татищев обобщил и принял в своем труде забытое давно уже воззрение о тождестве "Москвы" и Белой Руси, описывая границы "Белой Руси" в своем понимании ("на север с Великою Русью по Волгу... на юг до Оки с Резанским княжением...") в целом как границы Владимиро-Суздальской Руси, позднее – великого княжества Московского [39, с. 355–356]. В.Н. Татищев, похоже, считал неточным или вторичным словоупотреблением отнесение к Белой Руси смоленских земель и тех земель, которые были долгое время под литовской властью. Однако ключ к своей загадке именования Северо-Восточной Руси "Белой Русью" дает все же сам В.Н. Татищев, и этого трудно не видеть и нельзя не отметить здесь особо, дабы не впасть добровольно в лишнее заблуждение, будто такое называние Северо-Восточной Руси следует читать как "вольная, великая или светлая держава" (!) [52, с. 33]. Такое понимание неверно с начала до конца. Нетрудно заметить, что подобное название возвышающейся Руси Ростово-Суздальской и Московской **не было самоназванием,** причем историки это знают, так как правильно видят здесь "термин восточного происхождения" [52, там же]. Видел это (хотя должным образом не оценил) и Татищев, который говорит об этом самобытным своим языком буквально следующее: "Татара, персиане и другие восточные народы, не от себя вымысля, государей руских *ак-падышага* (вар.: *ак падышаха* и *сархан*), т.е. белый император, и государство *Ак-Урусь* (вар.: *Ак Урус*), т.е. Белая Русь, имянуют..." [39, с. 355]. Но дело-то именно в том, что татары так поступали "от себя вымысля", они употребляли ордынскую политическую и дипломатическую терминологию, сложившуюся на восточной почве (см. еще специально [53, с. 72], где приводятся из летописей примеры *Ак-орда* "Белая орда", *Кок-орда* "Голубая орда" и др.). Именно с точки зрения последней, расположенное к **западу** госу-

дарство Ростово-Суздальской Руси было Ак-Урус "Белая Русь". Вся относительность этого случая постигается в зависимости от точки отсчета: для всей остальной Руси это было Северо-Восточная Русь, но для татар географически это была как бы "Западная Русь". На совпадение, или, как еще сейчас сказали бы, нейтрализацию здесь понятий "Западная" и "Белая" Русь (татарское *ак* значит буквально "белый") желательно обратить самое пристальное внимание, ибо это пригодится в дальнейшем для главной нашей цели. И хотя понятие "белого" связывается неслучайно с Русью вообще (как я думаю и даже говорю об этом в другом месте, это этимологическое понятие, возможно, заложено в самом имени *Русь*), все же здесь в данном случае важнее констатировать, что "Белая Русь" применительно к Ростову Великому, Суздалю и Москве было названием со стороны, никогда не было самоназванием, почему и оказалось так легко и прочно позабытым. Когда же впоследствии оно вновь приобрело некоторую книжную известность благодаря татищевской же "Истории российской", оно имело своим следствием лишь дополнительное затемнение вопроса о Белой Руси в собственном понимании.

19. А вопрос этот до последнего времени для многих остается неясным, если иметь в виду мотивы происхождения нынешнего названия *Белоруссия*, несмотря на то, что все данные для положительного решения вопроса имеются – не в последнюю очередь благодаря самому Татищеву, помогающему нам напасть на "восточный след" всего явления, хотя вместить правильный смысл названия *Белая Русь* до сих пор, оказывается, дано не всем. Большая часть авторов фиксирует на этот счет разброд и кривотолки, повторяя в течение очень длительного времени одни и те же несколько версий и не видя существенной разницы между близкими к правде и абсолютно неверными. Вот они вкратце.

Хотя это надлежит расценить как курьез, однако до сих пор дожила попытка объяснить происхождение названия *Белая Русь, Белоруссия* преимущественно белым цветом одежды и голубыми или светло-серыми глазами, причем склонялись к этому объяснению даже такие серьезные представители мировой науки, как Е.Ф. Карский [27, с. 208] и Фасмер [45, с. 149]. Эти рассуждения ничем не более предпочтительны, чем мнение уже упоминавшегося неоднократно нами В.Н. Татищева, который, отвергнув еще более старинное толкование Герберштейна "и других" – "от множества снегов", сам склонялся вместе с митрополитом Макарием к тому, "что сие имя от преизрядства земли и довольства в предпочтение протчим дано" [39, с. 355]. И это тоже не может быть верно, как и то, что "белая" здесь якобы имело первоначальное социальное значение "свободная, вольная" (см., например [37,

с. 23)]. Так получилось, что на первый взгляд – простое и прозрачное – название *Белая Русь, Белоруссия* не без основания сохраняет репутацию неясного по своему происхождению [26, с. 119; 52, с. 511].

И все же одним из тех, кто подошел к проблеме природы названия *Белая Русь* с правильной стороны, был В.А. Никонов, который верно применил здесь свой принцип **рядности** названий, четко указав при этом, что *Белая Русь*, занимая, как известно, свое место в ряду *Великая, Малая и Белая Россия*, возникла, собственно, в совсем другом ряду: *Белая Русь – Черная Русь – Червонная Русь* [51, с. 48–49]. Отвергая наивно-этнографическое истолкование названия белорусов как народа блондинов со светлыми глазами и в белых свитках и наивно-социальное объяснение от "вольной", "свободной" земли, Никонов одним из первых у нас обратил внимание на большую вероятность связи имени Белая Русь с системой обозначения стран света как цветообозначений. Эта система коренится у нас гораздо глубже, чем можно было бы думать, вместе с тем она остаточна, что также свидетельствует в пользу ее старины, и многослойна в том смысле, что сюда входят и относительно поздние влияния с Востока и очень давние проявления (само название *Русь* – цветовое, по всей вероятности, и тем самым, скорее всего, – ориентационное!). Этому вопросу у нас вообще уделяли мало внимания. Впрочем, едва ли больше внимания уделялось вопросу выражения пространственной ориентации вообще – я имею в виду эти относительные обозначения народов, стран, населенных мест, к которым принадлежит и наша *Белая Русь* и тот другой важный ряд, куда она также входит: *Великая, Малая, Белая Русь*. Этот ряд нам тоже придется затронуть, потому что он не менее замечателен именно своим релятивизмом, но совсем не в том духе, который ему нередко приписывают, а приписав – обижаются.

20. Итак, по порядку – *Великая Русь, Великороссия*. По В.И. Ламанскому, первое употребление термина Megálē Rōsía "Великая Россия" – именно применительно к землям, отличным от Юга и Запада Руси, то есть от Белоруссии и Украины, – встречается в хрисовуле (хрисовуля – дарованная грамота. – *Ред.*) византийского императора Иоанна Кантакузина в 1347 г. [26, с. 102]. Хотя очевидно, что первая письменная фиксация, как правило, отстает от самого появления слова в речи и нашему термину, бесспорно, предшествовали какие-то более ранние и более расплывчатые словоупотребления, все же в научной литературе сильна тенденция видеть корни словоупотребления *Великая Русь/Россия* в документах византийской патриаршеской и императорской канцелярии [52, с. 38; 9, с. 289]. Мотив такого оконча-

тельного терминообразования и различения Великой и Малой России – якобы разделение единой русской митрополии. И все же здесь дело не в церковной истории, во-первых, и не в византийской канцелярии – во-вторых. Название родилось на собственной русской почве и из собственных потребностей, из них главная – обживание новых пространств. Аргументы для такого взгляда есть и были уже у тех, кто с этим взглядом лично не согласен. Так, А. Соловьев утверждает, что "понятие "Великая Русь" появилось уже в XII в. и относилось ко всей Русской земле как единому целому" [52, с. 38], в то же время сам Соловьев обращает внимание на явную связь и аналогию более северной (в целом) Великой Руси с аналогично называемыми – тоже "Великими" и тоже северно-русскими – городами, рядом городов, в том числе Новгородом, который с 1206 г. называется "Великим", причем Соловьев указывает, зачем это наречение потребовалось, – "очевидно, в отличие от меньшего – Новгорода Северского, а позднее и от "Малого Новгорода", Новгородка Литовского" [52, с. 27]. Очень существенна при этом не величина, как можно здесь буквально понять историка, а как бы точка ориентации, и сам Соловьев нам ее объективно подсказывает: "Отметим, что он (Новгород. – *О.Т.*) называется Великим именно в Ипатьевской летописи, в галицко-волынской ее части. **С точки зрения южноруса, великий город и его область находятся на севере**" ([52, там же]; выделено мною. – *О.Т.*). С той же объективностью историк приводит дальнейшие аналогичные пары, взятые, подчеркнем это, из живой древнерусской действительности, а не из практики константинопольской канцелярии: это *Ростов Великий* (под 1151 г.) на севере, "в отличие от малого Ростовца в киевской волости", Magna Lodomeria "Владимиро-Суздальская область" в рассказе венгерских проповедников XIII в., *Великий Владимир* на Клязьме в отличие от Владимира Волынского на юге – просто Lodomeria. При этом всякий раз *Великий* – на севере, *Малый* (или оппозит без определения) – на юге. Еще Татищев смотрел совершенно четко на название *Великая Русь*: "Мню, от Великаго града, или Гордорики ...проимянована" [39, с. 351]. Неслучайным в этой связи представляется мнение нашего слависта Ламанского, что первоначально Великой Русью была Новгородская земля [26, с. 103]. Это мнение неслучайно и для нас в наших "поисках единства" и в нашей концепции прихода новгородских словен на север с юга. С таким пониманием генезиса названия *Великая Русь* ассоциируется предшествующее, видимо, по времени, достаточно расплывчатое обозначение более северной (более дальней для жителей южных стран?) новгородской Руси термином "внешняя Русь" hе éxō Rōsía – у Константина Багрянородного [26, с. 63; 36, с. 309].

21. Из всего этого вывод, думается, может быть один: название *Великая Русь, Великая Россия, Великороссия* обязано своим образованием не возвышению страны, как это выглядит на первый взгляд и как это себе представляли некоторые серьезные историки. В этом названии заложено своеобразно выраженное противопоставление вторично освоенной земли той земле, из которой это освоение исходило.

Если, таким образом, *Великая Русь, Великороссия* – это не "возвысившаяся Россия", как можно было бы понять буквально, а "вновь освоенная, колонизованная Русь", "Русь дальняя", то понятно, что метрополией при этом колонизационном движении всегда оставалась собственно Русь, ассоциировавшаяся по большей части с Киевской землей, а не с Новгородом [54, с. 171]. Именно Киевская земля и другие южнорусские земли были тем, что беллетристы наших дней называют "Русь изначальная". Однако язык шел своими путями. Наши пращуры сами себя, как известно, никогда не называли "Древняя Русь". Первое, что в таких случаях в естественном языке имеет место, – это отсутствие термина, которое может длиться довольно долго. Лишь позднее, под давлением возникающей как бы оппозиции между *Великой Русью* и *Русью* вообще, оставшейся на юге, создалась ситуация для возможного образования термина-оппозита (который, впрочем, может так и остаться невыраженным, как в известных парах *Великая Греция – Греция, Великая Моравия – Моравия*, которые все-таки, несмотря на разногласие исследователей, обозначают в обоих случаях миграцию и колонизацию, а не "хвастливость греков" и не возвышение Моравии...). А может обрести и законченное выражение, как в общеизвестной паре – *Бретань* и *Великобритания*, где называние предельно точно документирует, что расселение (причем – неоднократное) шло в направлении с континента на острова. Результатом оппозиции названию *Великая Русь* в конечном счете стала *Малая Русь*, и только в этом ориентационном противопоставлении Руси дальней и ближней, исконной, Руси заключается весь смысл вновь возникшего обозначения *Малая Русь*. Ее также нельзя никоим образом толковать и понимать буквально ("маленькая Русь"), что было бы грубым искажением исторической правды. Если в старой науке это случалось по извинительному незнанию и отсутствию типологической перспективы (например, Татищев совершенно искренен: "а Малая [Русь. – *О.Т.*] от чего названа, неизвестно, может, от умаления тамо силы и власти великих князей" [39, с. 354]), но тем, кто в наши дни утверждает, будто "украинцы в царской России уничижительно стали именоваться малороссами, а их язык – малорусским наречием" [55, с. 71], следует указать на недостойность

подобной постфактумной политизации и идеологизации. Это столь же недобросовестно, как и утверждение, будто великороссы – "шовинистическое название, возникшее в XIX веке" (см. [55, с. 77]). Между пространственной ориентацией, складывающейся веками, и шовинизмом нового времени все-таки есть разница... Название *Малая Русь*, как полагают, впервые отмечено в 30-е годы XIV в. в грамоте галицко-волынских князей, несколько позднее оно стало применяться более широко, ко всем южнорусским, украинским землям [26, с. 108; 52, с. 29; 56, с. 119].

22. Восточнославянская этническая и языковая стихия, заливая огромное пространство земли к северу от Десны и к востоку от Днепра, не сразу получила название *Великая Русь*, которое надлежит понимать единственно как "Русь дальняя, вновь освоенная". Не сразу, то есть тоже вторично, появилось и название *Белая Русь*, позднейшее – *Беларусь*, *Белоруссия*. Но если точкой отсчета для Великой Руси явилась сама как бы Русь изначальная, фигурально названная позднее *Малой Русью*, то в случае с *Белой Русью* точку отсчета надо искать в расположенной к востоку от нее части *Великой Руси*. По отношению к этой "Руси Восточной", как можно было бы ее обозначить чисто условно (точнее, в согласии с изложенными выше размышлениями о центре древнерусского пространства, эта была "Русь Средняя, или Срединная"), *Белая Русь* была "Западной" Русью. О том, что "белый" может еще иметь значение "западный", также уже говорилось бегло выше. Выдвинутый здесь специально тезис, что *Белая Русь*, *Беларусь*, *Белоруссия* в смысле названия земли белорусского народа означало "**западная** страна, **Западная** Русь", необходимо обосновать дополнительно. Выше, в частности, мы уже констатировали, что та эпизодическая Белая Русь применительно к Ростово-Суздальской и Московской Руси (татищевская Белая Русь) корней в русском языковом и этническом сознании не имела. Точнее говоря, это было исключительно татарское *Ак-Урус(ь)*, отражавшее, как и *акпадишах* "белый царь" (о русском государе), специфически татарскую точку зрения и ориентацию: "Западная (по отношению к Орде) Русь". Это заносное, заимствованное словоупотребление, никогда не выходившее за рамки книжного, дипломатического языка. В качестве аналогии может послужить болгарское название Эгейского моря – *Бяло море* "Белое (то есть Западное) море", заимствование (впрочем, уже прижившееся, хотя и лишенное полного внутреннего смысла, поскольку в действительности Эгейское море находится к югу от Болгарии), собственно, калька с турецкого *Akdengiz* "Эгейское море", буквально – "белое море", и с "турецкой" точки зрения это название дано точно, поскольку Эгейское море для анатолий-

ских турок расположено как раз к западу. Иное дело – наше Белое море, одно из самых северных наших морей, однако, если учесть, что, с точки зрения рано освоенного Русью устья Северной Двины, Белое море – это, несомненно, море, **расположенное к западу,** сразу станет ясна внутренняя мотивация названия *Белое море* = "Западное море" еще в Древней Руси. И этот географический смысл называния "белый" = "западный" был, по всей вероятности, знаком также другим славянам и в более ранние времена, достаточно сослаться на тот известный в науке факт, что славянское племя хорватов, дальше всего продвинувшееся на запад, носило название *белые хорваты*, о чем знал Константин Багрянородный уже в середине X века.

23. Такая система обозначения стран света и пространственной ориентации, при которой исходный центр ориентации мыслится как бы на востоке, а главный ориентир – на западе, причем запад, западный обозначается как "белый", известна в общем в разных культурах и странах. Поскольку она как бы независимо проявляется в разные эпохи (в том числе древние) и в разных регионах, можно было бы допустить ее независимое аналогическое возникновение, хотя преобладает, кажется, мнение, что в конечном счете эта система идет с Востока и что по своему первоначальному происхождению она тюрко-монгольско-китайская [57; 58; 59]. Интересно отметить, что в этой системе белый цвет символизирует запад, красный – юг, черный – север, а голубой/зеленый (вар.: лазурный) – восток. Отмечают также, что для восточных систем главным ориентиром является именно запад, а не север (северный полюс), как это характерно для современной европейской ориентировки, предположительно – поздней. Возвращаясь к восточнославянским данным, мы можем констатировать, что именно *Белая Русь* входила вполне определенно в местную систему географической ориентации, аналогичную описанной выше. Помимо названия *Белая Русь*, судя по всему, первоначально более конкретно привязанного к понятию "Запад, Западная", сюда входили *Черная Русь* (с городами Новгородком, Гродно, Слонимом и Волковыском [26, с. 119; 56, с. 119]) для обозначения относительно более северных районов и *Червон[н]ая*, то есть *Красная, Русь*, отождествляемая с Галицко-Волынским княжеством и, действительно, более южная относительно Черной и Белой Руси [26, с. 104; 56, с. 119]. В свете всего рассмотренного нами ясно, что нет никаких оснований для утверждений о синонимичности понятий "белый" и "великий" (так см. [52, с. 26]).

24. Все сходится к тому, что *Белая Русь* постепенно сдвигалась на запад, чтобы стать действительно **самой западной Русью**. Отправной пункт этого движения, прослеживаемого по данным

лексики, ономастики, исторической фонетики и других, суммарно рассмотренных выше показаний, остался на востоке. Сейчас это уже трудно нащупать, хотя, в нашем представлении, он близок к искомому центру восточнославянского языкового пространства, который мы локализуем примерно на водоразделе Окского и Донского бассейнов. Отныне Запад, а не Восток занял место главного ориентира формирующегося языка и этноса белорусов. Восток отодвигался вдаль и как бы растворился в великорусских просторах – столь бесследно, что и в довольно неплохо, комплектно сохранившейся системе цветовых сторон света, отложившихся в *Белой, Черной* и *Красной Руси* (выше), одно звено все же отсутствует, именно оно оказалось забытым, если и существовало. Письменная история на сей счет хранит молчание, наша реконструкция бессильна, и, быть может, лишь русскому народному поэтическому гению Есенина дано было мгновенным прозрением, как вспышкой, выхватить этот момент истины: "Я покинул родимый дом, / *Голубую* оставил *Русь*... Я не скоро, не скоро вернусь! / Долго петь и звенеть пурге. / Стережет *голубую Русь* / Старый клен на одной ноге", – говорит о себе поэт, прощаясь с родными местами. Именно так или примерно так (в духе соответствий "лазурный/голубой" = "восточный") могла в отдаленные для нас времена зваться Русь приокская, Русь Восточная.

25. Самобытность народной культуры Белоруссии в ее славянских и европейских связях изучена все еще недостаточно, и на этот счет не нужно обольщаться. К тем примерам из области самобытности языка и этноса, которые мы приводим выше, можно добавить еще некоторые, по-своему тоже важные. Так, Белоруссию, при всех ее "юго-западных" общностях с Украиной, обычно охотно перечисляемых из книги в книгу, все же ставит в стороне от карпатского культурного круга такая черта белорусской народной культуры, как отсутствие, неизвестность в Белоруссии молока овцы (не знает его и русская народная культура).

Для углубленных исследований по типологии языка и культуры именно Белоруссия, ее язык и этнос продолжают оставаться недостаточно раскрытым, манящим материалом. По-своему удивительная судьба языка, вводившая в заблуждение даже лучших лингвистов своего времени, принимавших доминирующую, но все же вторичную, как мы знаем, польскую ориентацию за изначальную сущность белорусского языка, и не менее удивительная судьба этноса, соблазнявшая кажущейся простотой литовско-белорусских отождествлений... Не удивительно, что за этими напластованиями и за спорами о них не сразу открывается собственная белорусская – славянская физиономия культуры, выраженной через язык, возьмем хотя бы минимальное – на фоне дру-

гих славянских – количество иноязычных заимствований в белорусской терминологии ткачества. Последнее, чем хочется закончить этот очерк, это то, что не полонизмы и не балтизмы (сами по себе – сколь угодно интересные и заслуживающие изучения!), а имманентно белорусские параметры – именно они и их раскрытие – вот что документирует неповторимый путь к самобытности от восточнославянского единства, из великорусских просторов в район Минска и другие земли исторической Белоруссии.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бандарчык В.К., Чакін І.У.* Праблемы этнагенезу беларусаў у працах славянскіх вучоных // IX Міжнародны з'езд славістаў. Мінск, 1982.

2. *Булахов М.Г.* Е.Ф. Карский. Жизнь, научная и общественная деятельность / Под ред. В.И. Борковского. Минск, 1981.

3. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры / Отв. ред. К.В. Чистов. М., 1987.

4. *Хабургаев Г.А.* Становление русского языка (пособие по исторической грамматике). М., 1980.

5. *Sulimirski T.* Ancient southern neighbours of the Baltic tribes // Acta Baltico-Slavica V. Bialystok, 1967.

6. *Седов В.В.* Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.

7. *Півторак Г.П.* Формування і діалектна диференціація давньоруської мови (Історико-фонетичний нарис). Київ, 1988.

8. *Shevelov G.Y.* Между праславянским и русским // Russian linguistics 6, 1982.

9. *Гринблат М.Я.* К вопросу об участии литовцев в этногенезе белорусов // Вопросы этнической истории народов Прибалтики по данным археологии, этнографии и антропологии (= Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции 1). М., 1959. С. 523 и сл.

10. *Ткаченко О.Б.* Очерки теории языкового субстрата. Киев, 1989.

11. *Побаль Л.В.* Праблемы славянскага этнагенезу (па данных археалагічных крыніц) // IX Міжнародны з'езд славістаў. Мінск, 1982.

12. *Третьяков П.Н.* По следам древних славянских племен / Под ред. Б.А. Рыбакова, Э.А. Сымоновича. Л., 1982.

13. *Жураўскі А.І.* Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Т. 1. Мінск, 1967.

14. *Аванесов Р.И.* Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник Московского университета. 1947. № 9.

15. *Šerech Y.* Problems in the formation of Belorussian (=Supplement of Word, Journal of the Linguistic Circle of New York, vol. 9, Monograph No 2). December 1953.

16. *Аванесов Р.И.* Очерки русской диалектологии. Ч. 1. М., 1949.

17. Русская диалектология. 2-е изд. / Под ред. Л.Л. Касаткина, М., 1989.

18. *Мартынов В.В.* Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968.

19. *Захарова К.Ф., Орлова В.Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.

20. *Ганцов В.* Діялектологічна класифікація українських говорів, Київ, 1923 (=Nachdruck besorgt von R. Olesch. Köln, 1974).

21. *Рудницький Я.* Українська мова та її говори (=Readings in Slavic literature. N 15). Вінніпег, 1977.

22. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.

23. *Popowska-Taborska H.* Problematyka centrum i peryferii obszaru etnicznego w świetle archaizmów i innowacji dialektalnych (na podstawie analizy obszaru polskiego) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica 12, 1986.

24. *Селищев А.М.* Избранные труды. М., 1968.

25. *Филин Ф.П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.

26. *Державин Н.С.* Происхождение русского народа – великорусского, украинского, белорусского. М., 1944.

27. *Булахов М.Г.* Е.Ф. Карский. Жизнь, научная и общественная деятельность / Под ред. В.И. Борковского, Минск, 1981.

28. *Czekanowski J.* Wstęp do historii Słowian. Wyd. II. Poznań, 1957.

29. *Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

30. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 5. М., 1978.

31. *Трубачев О.Н.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. М., 1963.

32. *Куркина Л.В.* Названия болот в славянских языках // Этимология. 1967. М., 1969.

33. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 3. Мінск, 1985.

34. Етимологічний словник української мови / Гол. ред. О.С. Мельничук. Т. 2. Київ, 1985.

35. *Vasmer M.* Die Slaven in Griechenland. Leipzig, 1970.

36. Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.

37. *Жучкевич В.А.* Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974.

38. *Цыхун Г.Л.* Паўднёваславянска-усходнеславянскія моўныя сувязі // Да праблемы славянскага ўкладу ў балканскі моўны саюз. IX МСС. Мінск, 1983.

39. *Татищев В.Н.* История российская. Т. 1. М., Л., 1962.

40. *Rymut K.* Nazwy miast Polski. Wrocław etc. Zaklad inn. Ossolińskich, 1987.

41. *Трубачов О.М.* Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство, 1971, № 6.

42. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, Göttingen, 1962.

43. *Frenkelis E.* Baltų kalbos. Vertė S. Karaliūnas. Vilnius, 1969.

44. *Wolff A., Rzetelska-Feleszko E.* Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku. W-wa, 1982.

45. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Изд. 2.

46. *Смолицкая Г.П.* Географический термин *коръ / корёк* // Местные географические термины. М., 1970.

47. *Мурзаев Э.М.* Словарь народных географических терминов. М., 1984. С. 292; корь.

48. *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. T. II. Kraków, 1961.

49. *Schmid W.P.* Düna // Reallexikon der germanischen Altertumskunde. 2. Aufl. Herausg. von H. Beck (et al.) Bd. 6. Lief. 3/4. Berlin; New York, 1985. S. 241 и сл.

50. *Vanagas A.* Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981. С. 227.

51. *Никонов В.А.* Краткий топонимический словарь. М., 1986.

52. *Соловьев А.* Великая, Малая и Белая Русь // Вопросы истории. 1947. № 7.

53. *Богатова Г.А.* Золотая Орда // Русская речь. 1970. № 1.

54. *Borščak É.* Русь, Мала Росія, Україна // Revue des études slaves, t. XXIV, f. 1–4, 1948.

55. *Kronsteiner O.* Die Kontinuität der Mission von Virgil bis Wladimir // 1000 Jahre Christentum bei den Ostslawen. Internationales Symposion 13–15. Mai 1988 in Salzburg (=Die Slawischen Sprachen, Bd. 16, 1988).

56. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відповід. ред. О.С. Стрижак. Київ, 1985.

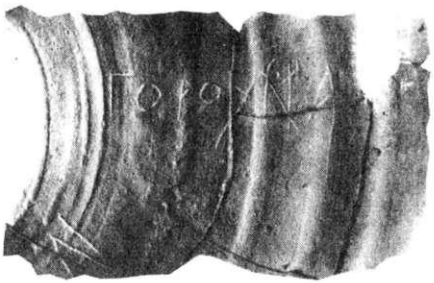
57. *Von Gabain A.* Vom Sinn symbolischer Farbenbezeichnung // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, t. XV, fasc. 1–3, 1962, S. 111 и сл.

58. *Schubert G.* Etymologische Besonderheiten der slawischen Farbenbezeichnungen. – 3. Salzburger Slawistengespräch. Probleme der Etymologie. November, 1984.

59. *Никонов В.А.* Наименования стран света // Этимология. 1984. М., 1986. С. 162 и сл.

IV

Смоленские мотивы



Владельческая надпись на амфоре-корчаге из Гнёздовского ргана. IX – нач. X в. (Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. М.: Наука, 2000. С. 22).

Кратко оглядываясь на предыдущие свои "поиски единства" (язык древнего Новгорода на общерусском и общеславянском фоне, древность культурного наддиалекта, преемственность языка и культуры при эпохальной смене религий на Руси, общеславянский статус названия Киева, кровная привязка белорусского языка и этноса к общерусскому центру..., ну, и, разумеется, многое другое, что всплывало наряду с этими проблемами), я должен отметить главное – то, что тут нет какой-то предвзятости идеи единства, мне как исследователю подобная идея чужда и неинтересна. Существует положение, когда единство, явствующее исследователю из объективного знания и изучения, предстает перед ним в слабой позиции, ослабленной обстоятельствами или неуместным усердием людей, в том числе, к сожалению, – людей науки. Хочу напомнить о своем постоянном стремлении не упрощать, как бы это ни казалось заманчиво, обсуждаемые категории, в том числе категорию единства, а, наоборот, видеть ее во всей вскрывающейся сложности.

От людей непредвзятых я не ожидаю вопроса: а нужно ли из года в год – о единстве? Уверен, что нужно – нам сейчас, нужно – сегодня, в День памяти объединяющих нас Кирилла и Мефодия.

О процедуре исследования достаточно сказать, что, когда мы видим локальный славянский факт, нам важно максимально учитывать его возможный общий славянский фон, а для суждения об общеславянском явлении не менее важен его местный аспект.

Сложность племенного состава славян в разные эпохи носила, по-видимому, неодинаковый характер. Наши знания об этом предмете (я имею в виду не только состав, но и внутренний смысл племенных названий славян) всегда относительны, поэтому прояснение этих вопросов неизменно актуально, оно открывает путь к древнему самосознанию и самопониманию славян, которое с достаточно раннего времени было **единым,** о чем свидетельствует факт наличия общего самоназвания – *славяне*, неоднократно привлекавшего наше внимание и своей этимологией, и живостью, народностью своего бытования в разных краях славянства. Интересно, что эта общность наименования (а с ней и определенное единство) вполне уживалась с также сознаваемой и актуальной принад-

лежностью практически всех славян к тем или иным племенам, порой узколокального распределения. Тут мы воочию и осязаемо наблюдаем, как вышеназванное единство оборачивается сложностью, степень которой мы не во всех случаях способны себе правильно представить. Исследователь истории древнеболгарской культуры А. Ангелов говорит о **двойном этническом самосознании** славян эпохи Кирилла и Мефодия, причем, например, болгарин IX–X вв. ощущал себя в одно и то же время и славянином, и болгарином [1]. Но есть основания говорить о значительно большей сложности, если принять во внимание, что отдельные славянские народы и племена, в свою очередь, оказывались **союзами племен**, и все это надолго отложилось в языке, а тем самым и в сознании. Один такой пример давно привлекает мое внимание, потому что он знаменует эту, не всегда доступную глубину и многостепенную сложность древнего этнического самосознания, а также потому, что он, будучи довольно изолированным и остаточным, в частности, у южных славян, болгар, вместе с тем роднит их с восточными, русскими, славянами, где он также представлен реликтом (о других, еще более скудных следах скажем далее).

Приблизительно на юго-западе нынешней Болгарии письменные источники кирилло-мефодиевской эпохи упоминают племя *смоляне* или *смолене*. Относительно локализации этого племени велись споры (в низовьях реки Месты, впадающей в Эгейское море, или выше по этой реке, в районе города Разлог, или восточнее, в Родопах, где до настоящего времени существует город Смолян [2; 3;4]), что в наших глазах не обладает такой уж решающей актуальностью. Будучи одним из болгаро-македонских племен, смоляне не сразу вошли в болгарское царство, о походе болгарского кавхана Исбула в землю смолен/смолян (τους Σμολεανους) говорит надпись второй четверти IX в., полтора столетия спустя после образования болгарского государства [3, с. 46–47]; даже в самом конце XII в. Никита Хониат упоминает особую область смолен – τὸ ὑέμα των Σμολένων [2, с. 307]. Важно, что племя смолен, несомненно, сознавало свою особность (каким именно образом это проявлялось, мы попытаемся показать на разборе имени дальше), во всяком случае, в течение какого-то времени даже после вхождения смолен в болгарское царство имеются основания говорить о тройственном этническом самосознании: смолене – болгары – славяне.

Важно также, что славянская природа племенного имени *смолене* (болг. *смолени*) никогда ни у кого не вызывала сомнений, и, стремясь его объяснить, обычно с полным правом апеллировали к его единству с именем русских *смолян, смольнян*. То, как это делалось, представляет для нас интерес. Можно сказать

одно: несомненная славянскость имени придавала вопросу кажущуюся простоту, простота эта, естественно, подкупала людей, и результатом явились те толкования, с которыми мы имеем дело в литературе. На первый взгляд, трудно возразить что-либо против этих этимологических опытов, разве что отметив про себя их прямолинейность. Я имею в виду этимологии названия болгарских смолен (а заодно с ними и русских смолян) "от смолистых лесов", то есть в конечном счете – от названия смолы или – от того же слова *смола*, но с последующим переходом в название по преимущественному занятию, промыслу, не просто "жители смолистых лесов", а уже "смолокуры, смолосиды" (по-болгарски теперь еще – *катранджи́я*, мн.ч. *катранджи́и*) [3, с. 45; 5, с. 36]. Или – не менее просто и вроде правильно в целом – от местного названия *Смола* [6, с. 170].

Конечно, исследователи задавались и раньше вопросом – принесли ли славяне с собой в эти новые для них места обитания уже готовое название **smolěne*, **smol'ane* или оно оформилось непосредственно тут. Материал оказался скорее разноречивым на этот счет. Стоит обратить внимание на такую довольно яркую черту болгарских смолен и их рассматриваемого этнонима, как **порубежность.** Именно она породила стойкие иноязычные дублеты этого имени, от которых вряд ли можно отмахнуться как от таковых и которые помогают, как увидим далее, лучше разобраться в судьбе далеких от Болгарии русских форм. Речь идет о тюркских (турецких) по своей природе дублетах имени болгарских смолен, давно констатируемых в названиях населенных мест: *Исмилан* с вариантом *Смилян*, при известном нынешнем названии этого города (в прошлом – селения) *Смолян*, на что обратил внимание еще Иречек (см., впрочем, с критикой [3, с. 51, 53], ср. и [7]).

Другая черта имени болгарских смолен, роднящая их с близкими славянскими названиями племен, – это **повторяемость,** которая, по наблюдениям ученых, вообще свойственна этнонимии славян. Если иметь в виду только интересующий нас этноним, то сюда же относятся западнославянские *Smeldingon* на правобережье нижней Эльбы, фиксируемые там неким анонимным баварским географом в кратком документе второй половины IX в. "Описание городов по северному берегу Дуная" [8, с. 2–3], чье наверняка сильно искаженное имя (*Smeldingon*) в научной литературе передают (не без натяжки) как *Smolinci*, прямо связывая с упоминавшимися болгаро-македонскими смоленами [9, приложение: карты; 10, с. 114; с. 251]. Эта повторяемость племенного названия, скорее всего, неслучайна, она может отражать тождество соответствующих этносов и их перемещение, но может быть также отражением сходных внешних условий, в которые попадает этнос.

У восточных славян, на Руси, к которой мы теперь переходим, имеют место лишь отголоски славянского племенного имени смолян, которым я в свое время уже занимался и даже задумывался тогда над вопросом, нельзя ли видеть в южнославянских смоленах русских славян, вовлеченных, так сказать, в балканскую миграцию славян [12, с. 62, 63, 64], на чем я сейчас не стал бы настаивать. Реальна прежде всего связь имени древнего русского города *Смоленск* и имени *смоляне/смолене* на балканской реке Месте (см. и [13, с. 237], где с опечаткой: "Мсте"). Надо сказать, что в топонимии славянских территорий, в разных названиях мест, есть и другие, даже более непосредственные продолжения рассматриваемого нами племенного названия. Это и местное название Σμολιανά в Греции, которое Фасмер истолковал как отпечаток древнего славянского **Smoljane*, «название жителей, ведущее свое начало от славянского *smola* "древесная смола, деготь"» ([14, с. 75] ср. там же, на с. 215, название греческой деревни Δευριανά, XIII в., возможно, от имени жителей **Dьbrijane*). На соседних нам, белорусских, землях можно указать названия сел *Смоляны, Смольяны* [15, с. 353]. Собственно говоря, слово *смолянин* (мн. *смоляне*) вполне живо в русской речи и сейчас, но обозначает оно исключительно **жителей города Смоленска.** При этом нельзя утверждать, что значение племенной принадлежности было забыто только в поздние века. И в древнерусской письменности значение этого слова было "смолянин, житель Смоленска", ср. новгородскую берестяную грамоту № 343, начала XIV в.: Петре *Сомолѧнине*, то есть 'Петр смолянин' [16, с. 30–32]; *смольнѧнинъ, смолнѧне*, смоленская грамота 1229 г. [17, с. 127].

Похоже, что русская летописная традиция уже не застала смолян как особое племя; это следует из красноречивого сочетания летописного сообщения о племени кривичей, "город которых – Смоленск" (ихъ же градъ есть Смоленьскъ). И хотя высказывалось мнение, что часть кривичей впоследствии была переименована в смольнян по вновь возникшему Смоленскому княжеству [3, с. 46], гораздо более вероятно обратное, – что смоляне постепенно растворились и целиком вошли в состав могущественных кривичей. Подобное явление – почти бесследное исчезновение отдельных племен в более крупных племенных союзах Древней Руси – вещь вполне реальная. Исследователь восточнославянских племен ранних веков В.В. Седов специально ссылается, например, на попытку Ф.П. Филина установить в районе Владимира и Суздаля не словенское и не кривичское племя, а "самостоятельное восточнославянское племя, название которого не дошло до нас" [18, с. 185].

Наша историческая наука целиком переняла концепцию нашей начальной летописи – концепцию, судя по всему, вторичную, что **Смоленск был центром кривичей** [19, с. 12]. Иногда, впрочем, говорят, как бы компромиссно, о "смоленских кривичах" (ср., например, вскользь в фундаментальной книге В.В. Седова [8, с. 158], где племя смолян не упоминается совсем). Вот почему нам особенно хочется отметить те актуально звучащие и сейчас положения, которые еще в конце прошлого века развивал смоленский историк С.П. Писарев [20, с. 3, 6], о том, что особое славянское племя смолян поселилось на холмистом берегу Днепра, дав имя городу; проявление самостоятельности этих древних смолян историк видел в том, что они "не участвовали в призвании варягов, как например, кривичи, в состав которых они потом вошли". Время великолепно проверило и подтвердило справедливость этого взгляда, который мы принимаем целиком. Отрадно отметить, что правильное объяснение мы находим также в книге современного смоленского топонимиста Б.А. Махотина: Смоленск – "город смолян" [21, с. 10]. Верно видел суть проблемы и В.А. Никонов, который однозначно указал на первичность тут "наименования жителей" (т.е. племени): *смоляне* + суффикс *-ск* [22, с. 387]. К сожалению, в крупнейшем этимологическом словаре Фасмера представлено без комментариев (и это уже, наверное, моя лично вина) совсем другое "ходячее" толкование, под словом *смола́*: "Отсюда произведен др.-русск. гидроним *Смольня*, откуда название города *Смоле́нск*, др.-русск. *Смольньскъ*... Согласно Погодину..., назван так потому, что там смолили суда" [23].

Совершенно очевидно, что имя города, **впервые упомянутого** под 863 г., принадлежит намного более глубокой древности. Здесь вступает в силу правило обязательности общеславянского фона и контекста, намеченное выше, когда мы говорили о близких болгарских фактах. Собственно, сходство судьбы болгарских данных простирается и дальше, и его стоит держать как бы перед глазами, рассматривая различные отражения уже чисто русских форм. Из этих письменных отражений наибольший интерес представляет то, которое находим в почтенном источнике середины X в. – сочинении византийского императора Константина Багрянородного "О том, как надо управлять империей". Известно, что там Смоленск упоминается в весьма необычной форме Μιλινίσκα, которая давно привлекает внимание как историков Руси, так и историков русского языка. Но кажется, что ни те, ни другие не справились с ее объяснением, и причина тому – недостаточный учет языкового контекста эпохи.

Придется несколько подробнее остановиться на том, как эту форму названия города Смоленска (Const. Porph. De adm. imp.

13'P:... εἰσὶ δὲ καὶ ἀπὸ τὸ κάστρον τὴν Μιλινίσκαν..." из крепости Милиниски" [24, с. 44, 45] интерпретируют наши новейшие издатели: "В транслитерации названия у Константина первая йота, очевидно, возникла под влиянием последующих двух йот. Опущение начальной сигмы объясняется двояко. Н.Н. Дурново предполагал, что первоначально слово стояло в род. п.: ἀπὸ τῆς Σμιλινίσκας, где две смежные сигмы слились в одну (Дурново Н.Н. Введение. С. 224, примеч. 4). Р. Якобсон предложил возводить словосочетание ἀπὸ τὴν Μολινίσκαν к древнерусскому *и-Смольньска*, которое могло быть реинтерпретировано составителем как "из Мольньска", откуда им.п. – Μολινίσκα" [24, с. 312]. Сразу видно, что все эти интерпретации, опирающиеся, к тому же, на неподтвержденные формы, исходят из мысленных условий труда переписчиков и связанных с ним описок пера, совершенно обходя молчанием условия, так сказать, "полевые". Если же реально представить себе эти полевые условия сбора информации, то совершенно естественно при этом вспомнить и основного субъекта тогдашнего Поля (странно, что об этом в данной связи не задумались раньше!) – печенегов, этих пацинакитов Багрянородного, так часто им упоминаемых и, как известно, важных информаторов и агентов Византии в русских делах. Тогда в форме Μιλινίσκα логично видеть первоначально печенежскую (тюркскую) передачу **ismiliniska*, отражающую древнерусское *Смольньскъ*, род.п. *Смольньска* с совершенно закономерными проведением тюркской гармонии гласных и ликвидацией начальной группы согласных, нетерпимой на тюркской языковой почве (вспомним, как славянское **smoľně* подверглось совершенно аналогичной тюркизации в *Исмилан* на другом, болгарском, краю славянского ареала). Тюркизированное в печенежских устах **ismiliniska* было столь же закономерно воспринято византийцами на слух как привычное для них сочетание с предлогом "в" εἰς Μιλινίσκαν с последующим ложным отделением начального *is-*, осмысленного как предлог (частотность сочетаний с предлогом εἰς "в" была всегда высока в греческой речи, вспомним, как именно оборот εἰς τὴν Πόλιν "в Город", о Константинополе, послужил прообразом его турецкого названия *Istanbul*). Женский род у Μιλινίσκα "Смоленск" навеян тем, что греческое πόλις "город" – слово женского рода.

После этого необходимого "тюркского" экскурса вернемся к славяно-русской проблематике, где нас ждет целый ряд вопросов. Хотя в славистической литературе принято оперировать "правильным" древнерусским написанием *Смольньскъ*, в текстах встречается ряд случаев *Смоленьскъ*, *Смолѣньскъ*, *Смолиньскъ* с гласным полного образования, вместо первого *ь*, достаточно об

этом справиться в смоленских грамотах. Второе, что привлекает внимание в этой связи, это постоянство известного ударения *Смоле́нск*. Допустимо предполагать, что в случае образования от названия речки *Смольня* (см. выше Фасмер) мы имели бы другое ударение, скорее **Смо́ленск*. Потому и с этой точки зрения естественнее видеть в *Смоленск* производное от *смолене/смоляне*, ср. аналогию *Смоле́н-ск* и **Дьбря́н-ьскъ* (современное *Брянск*), распространяющуюся как на постоянство места ударения, так и на происхождение от племенных названий (ведь и **Дьбря́н-ъскъ* образовано не прямо от *дебрь*, как это обычно представляют, а от несохранившегося также имени неких *дебрян*, которые, кстати, тоже имеют соответствия на славянском Юге, в том числе у болгар, – в славянском местном названии в Греции Δευριανά < **Dьbrjane*, уже упоминавшемся выше, и в болгарском топониме *Дебрене*, того же происхождения [6, с. 124]).

Но есть и другие факты, которые, на первый взгляд, представляют некий курьез, на самом же деле подтверждают все ту же главную производность от этнонима. Так, наряду со *Смоленьскъ*, *Смольньскъ* с раннего времени встречается вариант *Смольскъ*, *въ Смольсцѣ*, *въ Смольскѣ* в смоленских грамотах XIII в. и некоторых древних летописных свидетельствах. Впервые обратил серьезное внимание на это обстоятельство шведский славист Г. Якобсон [25, с. 148 и сл.]. Оба варианта названия древнерусского города как бы соперничают друг с другом, о них знает тогдашняя Западная Европа: в скандинавской саге о Тидреке 1200 г. (иначе – Дитрихе Бернском, или Теодорихе Веронском) им соответствуют тоже вариантные *Smalenskia* и *Smálizku* [25, с. 152; 26, с. 509]. Вывод шведского ученого: форма *Смольскъ* – старшая из двух. Опустим здесь детали его аргументации, в которых мы прямо расходимся с ним (Г. Якобсон считает, что *Смольскъ* образовано непосредственно от корня *смол-*) и бросим как бы взгляд окрест. Оказывается, что адъективная форма *smolьsk-* достаточно широко и с раннего времени представлена в славянской топонимии. Сюда относятся Σιμολίσχια на крайнем юго-западе греческого Пелопоннеса, а равно тождественные ему *Смолско* в Болгарии, *Smolsko*, *Smolsk*, *Smólsko* в Польше [27], *Smoltsik* в Северной Германии XIV века [28, с. 98].

Остается существенный и в какой-то мере теоретический вопрос: каково отношение форм **smolěne* / **smol'ane* и **smolьskъ* между собой? Вопрос этот прояснится, скорее всего, лишь в дальнейшем, после того как мы составим себе более полное представление о генезисе племенного названия смолян. Но уже сейчас можно обратить внимание на некоторую регулярность отношений, а вместе с ней – на направление словообразовательной дери-

вации: **smolьskъ* ← **smol'ane*, ср. **polьsъ* ← *pol'ane*, далее – **lǫčьskъ* ← **lǫčane*. Это отнюдь не банальные констатации, если вспомнить, что в литературе (и, наверное, в сегодняшнем бытовом сознании) представлено как раз противоположное мнение, что, например, древнерусское *лучане* – это производное от названия города *Лучьскъ* "Луцк" (укр. *Луцьк*) [29, с. 53]. Однако сравнения с положением в древней Чехии (где существовало племя *Lučané* при полном отсутствии соответствующего урбонима **Luck*!) достаточно для правильного понимания того, что в древней паре **smol'ane* – **smolьskъ* мы имеем дело с усечением (truncation) производящей основы **smol'ane*, а не с образованием от названия древесной смолы.

Вообще корневая группа *smol-* скрывает в себе не одну загадку. Правильное раскрытие этих загадок представляет самостоятельный интерес, порой – с выходом в историю культуры, не говоря уже о том, что сокращает также наш путь к решению смоленской темы. Одна из этих загадок – имя Климента Смолятича. Историки литературы, признавая, что "наши сведения о Клименте весьма ограничены", вместе с тем, довольно уверенно заявляют, что "он был родом из Смоленска" [30], иногда делая при этом оговорку, что основанием для таких суждений служит его прозвище *Смолятич* [31]. Между тем эти выводы лишены научных оснований. Для любого ономаста и вообще лингвиста очевидно, что *Смолятич* – не "прозвище", а регулярно образованный патроним, отчество с суф. *-ичь* от личного имени **Смолята*, которое, правда, в древнерусском антропонимиконе пока не обнаружено, что, однако, дела не меняет. Достоверно известно, что этот Климент Смолятич был монастырским схимником в Зарубе, что к югу от Киева, на Днепре, затем был призван в Киев митрополитом и состоял одно время в переписке со смоленским князем Ростиславом. Последнего обстоятельства, ясно, тоже совершенно недостаточно, чтобы утверждать, что и сам Климент Смолятич "был родом из Смоленской земли". Перед нами лишний пример того, как фрагментарны еще наши знания древней антропонимии славян, имен людей. Восполнить лакуну в наших сведениях по древнерусским личным собственным именам, при всем богатстве русской письменности, удается лишь косвенным путем, через привлечение территориально отдаленных славянских данных. Реальность древнерусского имени **Смолята*, восстановленного нами на первых порах условно, а также его праславянской формы **smolęta* неожиданно полностью подтверждается славянскими свидетельствами с давно онемеченного Севера Германии, где с начала XIV в. фигурирует местное название *Smollentyn, Smolentin* (современное *Schmellenthin*), кстати, давно хорошо объ-

ясненное "из древнего *Smolętin от имени *Smolęta, ср. древнерусское отчество *Смолятич*" [32].

Думаю, и для историков русской литературы представит определенный интерес состоявшееся выше попутное упразднение маленького мифа о смоленском происхождении Климента Смолятича. Несколько слов о личном имени **Смолята* и других именах на *-ята*.

Личных имен, производных с этим суффиксом, довольно много в древнерусской письменности с самого раннего времени, насколько можно судить по соответствующим материалам, собранным специалистами [33; 34; 35; 36; 37]: *Жидята, Вышата, Путята, Славята, Жирята, Воята, Гордята, Нѣжата, Твердята, Острята, Милята, Радята, Тѣшата, Шумята, Кобята, Поцата, Седята, Гостята, Мѣстята, Скордята, Братята, Станята, Бързѧта, Былѧта, Мизѧта.* Дополнительные сведения о наличии таких имен дают производные от них отчества типа *Голятин* и местные названия: *Видятино, Добрятино* [33, с. 63]. Оказывается возможным также реконструировать часть таких вышедших уже из употребления личных имен на основе известных регулярных производных вроде *Пирѧтинъ*, Переяславская земля, XII в. [36, с. 628], ср. еще укр. *Ділятин*, топоним, образованный от иначе не засвидетельствованного личного имени **Ділята* [37]. В науке твердо установлено, что эти имена на *-ята* (праславянское *-ęta*) представляют собой фамильярные, уменьшительные суффиксальные производные, одноосновные сокращения (свертывания) более высоких по своему статусу двуосновных личных собственных имен типа *Вышеслав, Жидислав, Жирослав, Твердислав, Путимир, Путеслав* и др. Как и эти полные имена, их сокращенные формы на *-ята* принадлежат целиком еще дохристианской архаике, хотя популярность и продуктивность имен на *-ята* сохранялась длительное время, уже на глазах первых веков древнерусской письменной истории, в условиях христианской культуры, чем можно объяснить появление также некоторого количества как бы "гибридных" имен на *-ята*, образованных от крестных имен, например *Юрята* (*Гюрята*), *Климята* в документах Великого Новгорода [38].

Как было сказано выше, имени **Смолята* в древнерусской письменности обнаружить не удалось. Это не мешает, однако, видеть нам достаточно четко потенциальный механизм его регулярного, по всем признакам, словопроизводства: **Смолята* явилось свертыванием предшествующего двуосновного личного имени подобно тому, как это нам известно во всех других случаях. Трудность в том, что как раз сложные личные имена, включающие корень *смол-*, в славянском антропонимиконе нам до сих

пор неизвестны (ср. об этом, со ссылкой также на собрание Миклошича, [39]). Засвидетельствованы только краткие личные имена *Смола, Смолка, Смоля* [40, с. 293]. Тем не менее, здесь возможно только одно направление деривации: **Смолята* – от сложного личного имени типа **Смолидуб* или **Смолибор*, которые до нас в письменных источниках не дошли, но могут быть как бы "вычислены" условно и объяснены, в свою очередь, как сложения с основой глагола *смолити*.

Изначальное значение слова *смола* – "продукт (медленного) пережигания древесины" (остальные известные значения – "древесный сок" и т.п. – этимологически вторичны и нас здесь не интересуют). Соответствующего глагола наш язык, в сущности, не сохранил, ибо наше *смолить* обладает явно вторичной семантикой, производной от слова и значения *смола:* "мазать, покрывать смолой". Древнее глагольное значение "обжигать (снаружи), палить" лучше сохранилось, например, в украинском, у глагола с несколько преобразованной формой *смали́ти*, удержавшего зато именно древнее значение [41; 42]. Главный ареал глагола *smaliti* – западнославянские языки (польский, серболужицкие) [43, с. 503]. Верно замечено, что **smaliti* не может быть производным от упомянутого общеславянского названия смолы [44, с. 563]. Гораздо уместнее объяснить глагол *smaliti* как производное от слова, сохранившегося в нижнелужицком языке: *smala* "**выжженное место в лесу**" (см. о нем [45]). Если правильно охарактеризовать в последнем слове корневое *-a-* как вторичное продление в производной форме с корневым *-o-*, мы логично придем к исходному глагольному корню *smol-*, который с индоевропейской древности (**smel-*, **suel-*) был носителем значения "слабо гореть, тлеть; медленно, постепенно жечь"*. Идея подпаливания, медленного, постепенного выжигания, а не **одноразового сжигания целиком**, оставалась изначальной и определяющей и для семантики славянского глагольного корня *smol-*. То, что описанная семантика оказалась стойко применена именно **к постепенному выжиганию леса** (н.-луж. *smala* 'выжженное место в лесу'), указывает на бóльшую актуальность связи этого древнего лексического гнезда не с добыванием смолы, а с культурной стадией, называемой в науке **подсечно-огневым земледелием.**

Теперь путь к пониманию древнего славянского группового обозначения людей **smol'ane, *smolěne* как будто расчищен. В своей большой массе славянские производные с формантом *-'ané, -ěne* образуются, как известно, от названий мест. Продуктивность подобных образований жива и поныне, достаточно указать на такой авторский, окказиональный неологизм, как *областяне* "жители области, областей, областные жители" (А.И. Сол-

женицын. Как нам обустроить Россию, 1990, в различных изданиях). Но этот оттопонимический способ образования имен на *-'ane, -ěne* отнюдь не единственный, о чем я уже писал неоднократно. Другой достаточно древний вид этих имен – производные от названий характерных глагольных действий. Их немного, но от этого они не менее реальны. Очевидна также социальная весомость некоторых из них. Ср. прежде всего самоназвание **slověne, славяне*, собственно "слывущие, словущие, то есть известные, свои" – от глагола *слути, слову*, далее – древнерусское *кличане* "загоняющие зверя кликом на охоте" – от *кликати, кличу*. Думаю, в этот же словообразовательный ряд выстраивается славянское **smoleně, *smol'ane*, и значило это слово первоначально "выжигающие лес" – от древней формы и значения глагольного корня **smol-, *smoliti*.

Таким образом, *смоляне, *smoleně* оказывается как бы косвенно-лесным этнонимом, в нем содержится намек на свое отношение к лесу. Как это ни странно, у славян мало настоящих "лесных" племенных названий (*древане* – на полабском Западе, *древляне* – на Руси, вот и все...), и это – при общеизвестной, нарочитой связи славян и леса. С другой стороны, тут нет ничего удивительного: наличие лесов как почти повсеместной естественной среды обитания делало именно атрибут "лесной" **немаркированным**, банальным. При внимательном взгляде на карту размещения славянских племен времен экспансии славянства мы видим любопытную особенность – уже отмеченную нами выше порубежность, окраинность славян по имени **smoleně, *smol'ane* – у самой Эгеиды на Юге, почти в низовьях Эльбы на Северо-Западе и в самых верховьях Днепра у нас. В каком-то смысле это были тогда, во второй половине I тысячелетия Рождества Христова, пограничные вехи славянства. Правда, понятия "граница, пограничный" – очень поздние категории межэтнических отношений. На раннеплеменной стадии настоящих границ не знали, соблюдали самобытность и самодостаточность племени, обходясь без границ в нашем понимании. Так было у разных народов. Например, у немцев сначала имелось, пожалуй, только обозначение и понятие окраинной, пограничной области – *Mark*, специальное же название границы *Grenze* они заимствовали на Востоке у славян. Но и славянское слово **granica* развило свое ныне преобладающее значение не сразу, первоначально слово значило "ветка", "куча веток, пучок веток".

Но в имени смолян выражено не только отношение к лесу. В нем запечатлена, как я все же думаю, также обязательная связь с земледелием, ибо **smoleně* – это, иными словами, славяне, отвоевывающие пашню у леса. Как правильно, видимо, считается,

именно подсечно-огневое земледелие, сопряженное с вынужденной сменой посевных площадей (экстенсивное земледелие), именно это добывание хлеба насущного, а не какая-то выдуманная агрессивность, было наиболее могущественным фактором, гнавшим славян в далекие миграции, побуждавшим их к территориальной экспансии. Все остальное (военная реализация этих тенденций) как бы прилагалось. Для нас представят поэтому интерес исторические сведения о связи с земледелием тех славян, которым, так сказать, в тот момент было как будто не до него. Я имею в виду славянские племена, в их числе – смолене, трудно осаждавшие и так и не взявшие греческий город Солунь (Фессалоники). Земледелие этих македонских славян VII в. специально отмечается письменным памятником эпохи – "Чудеса св. Димитрия" [46, с. 85]. Опираясь в немалой степени на данные своего языкознания (ср. то, что сказано о генезисе термина *смоляне*), мы находим подтверждение выводам тех историков, которые и в округе нашего Смоленска констатируют наличие района древнего земледелия, непременно сопутствующего городским скоплениям [19, с. 12] и, наоборот, с меньшим доверием относимся к исследователям, утверждающим, что в районе Гнёздова-Смоленска нет признаков земледелия в древности [47, с. 210].

Порубежные, как сказано было выше, смоляне предстают перед нами неким авангардом славянского расселения. Как у других славян, эпицентр этого расселения остается где-то в глубоком тылу. Более "центральных" смолян не сохранилось, впрочем, как мы теперь понимаем, этого и не следовало ожидать. Говоря об исходном центре славянских миграций, я все последние годы подразумеваю Среднее Подунавье, полагая, что именно в этом случае интересующие нас пути славян получают не только новое, но и непротиворечивое объяснение. Как известно, племенная номенклатура славянства из этих земель до нас почти не дошла (исключение – *славяне дунайские*, упоминаемые в Повести временных лет). Тем более интересен будет для нас редкий случай, в котором славянское племенное название представлено и на периферии славянского ареала, как в нашем примере со смолянами, и равным образом – на Среднем Дунае. Это *северяне*. Говоря о северянах, обычно имеют в виду два различных племени – Σεβέρεις·, *северяне* или *севери* в Добрудже, между Дунаем и Балканами, то есть в землях южных славян [2, с. 26], и *северяне*, *сѣверяне*, *сѣверъ*, называемые в X в. у Константина Багрянородного Σεβερίοι (перечисляет после древлян, дреговичей и кривичей, см. [24, с. 55: род. п. мн. Σεβερίων, 18ᵛT]), восточнославянское племя. И теперь редко кто вспоминает особых, третьих северян, которых, строго говоря, нельзя отнести ни к южным, ни к восточным

славянам, хотя попытки последнего рода изредка предпринимаются по стопам Нидерле. Имеется в виду название, несколько деформированное в немецких устах оставшегося безымянным баварского географа IX в., который в своем описании придунайских городов пишет: Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Sclavorum exortae sint "серивани (северяне) – это такое королевство, из которого будто бы вышли все племена славян" [8, с. 2–3]. Комментаторы, современные нам, упоминают это Zeriuani IX в., как правило, единственно для того, чтобы отождествить его (и еще одну близкую, но спорную форму оттуда же – Zuireani) с известными древнерусскими северянами на левобережье Днепра (8, с. 39–40]. Немецкий археолог И. Херрман локализует при этом, правда, Zuireani/Zeriuani к югу от Припяти, на днепровском правобережье, идентифицируя их, тем не менее, как северян [48, с. 162, 166], но карта и комментарии этого ученого создают стойкое впечатление, что он полностью отрывает всю ономастику баварского географа от Дуная, забывая о том, что анонимный автор оставил нам "Descriptio civitatum ad **septentrionalem plagam Danubii**" – Описание городов по **северному берегу Дуная**.

Кроме того, нельзя не видеть, что это анонимное "Descriptio" IX в. передает стойкую средневековую традицию о выходе славян, перекликающуюся, по всей видимости, с равнозначными традициями старочешской и старопольской литературы и летописания, а также нашего Нестора, и что при этом взоры старых авторов и летописцев устремлены в одну сторону – на Дунай. Ничего подобного с припятско-днепровскими землями старая традиция не связывает, что также существенно, на наш взгляд. Тогда как дальнейшие наши поиски именно на Дунае отнюдь не бесплодны. Ученые предшествующих поколений указывали в связи с этим свидетельством упоминавшегося "Descriptio" на территорию на Дунае, на границе Венгрии, Сербии и Болгарии, под названием terra Zeurini, ассоциируя именно ее, в духе "Descriptio" (см. выше), с исходным центром славян [8, с. 38]. Сюда же относятся продолжения этой ономастики в виде современных венгерских *Szörény, Szörénység*, название восточной, гористой части Баната, и румынское *Turnu-Severin*, название города у Железных ворот, отделяющих Средний Дунай от Нижнего Дуная (ср. [49]). Контекст всех этих, казалось бы, разрозненных, свидетельств чрезвычайно важен для нас. Он говорит, в частности, о том, что были еще какие-то северяне, как бы в центре между южнославянскими и восточнославянскими (древнерусскими) северянами. Название этих дунайских северян уже имело полную славянскую форму **sěver'ane*, которая, таким образом, не может быть охара-

ктеризована как "явно поздний вариант более распространенного... бессуффиксного... этнонима *север* (*сѣверъ*)", как см. о русских северянах в [50]. Этот контекст, далее, становится особенно красноречив, если мы вспомним об очевидной этимологической связи славянских **sěver'ane* и **sěverъ* "север, страна света". Судя по средневековому описанию, *sěver'ane* на Дунае были **левобережными** дунайскими жителями, **левый** же берег Дуная в тогдашних представлениях был **северным** берегом, что верно и географически, вспомним "septentrionalem plagam Danubii". Полезно также иметь в виду распространенность восприятия **севера как левой** стороны (и соответственно – юга как правой), причем северный/левый могут как бы сливаться, нейтрализоваться. Такое восприятие могло особенно актуализироваться при длительных миграциях с запада на восток (индоарийские примеры "правого" как "южного", полагаю, известны). Движение на восток из упомянутого нами **дунайского центра** также, конечно, имело место, в частности, в случае с северянами. В целом же проблема "правого" – "левого" этим не исчерпывается, обретая дополнительную сложность хотя бы в гидронимии (так, оказывается, между прочим, что "левые" и "правые" притоки рек могут быть как бы зеркально противоположными в научной и в народной гидрографии, примеры обозначения левых притоков как "правых" известны в славянской, в частности – южнославянской гидронимии, в последней вообще, как и в языке, категория "левого" представлена чаще, см. подробнее [51]; может, в конечном счете, решать также позиция говорящего – лицом к истоку, лицом к устью, но на всех специфических и трудных вопросах – взять хотя бы природу названия реки Десны: "правая" о левом притоке Днепра? – мы здесь просто не в состоянии останавливаться).

Предыдущий экскурс в проблематику среднедунайского центра славян потребовался нам главным образом потому, что иначе трудно понять передвижения южных славян и не только южных. Исследователи балканской топонимии и гидронимии немало поработали над реконструкцией путей славянского освоения (и среди них особенно – покойный болгарский профессор Йордан Заимов). Итог этих разысканий оказался довольно любопытен, а именно: областью с наибольшей густотой первоначального славянского заселения оказалась современная Македония; во Фракию и Родопы славяне прибывали не с восточных Балкан, а с македонского юго-запада. Эта констатация уже прямо затрагивает интересующую нас здесь тему, ибо **этим путем пришли южнославянские смолене**. Констатируется при этом, что в Македонию славяне пришли с севера, это был их главный и, похоже, единственный путь, который Заимов называет "пролом на заселването". Видимо, с этим, в

свою очередь, связана первоначальная слабая заселенность именно Восточной Болгарии. Славяне и туда пришли, по-видимому, с Запада. Предполагаемый "второй прорыв", или поток славян через нижний Дунай в Болгарию с севера не очень реален, во всяком случае, по мнению Заимова, топонимические данные об этом отсутствуют [6, с. 100 и сл.; 52, с. 63, 186; 53; 54; 5, с. 33 и сл., 36]. Верно, что булгарский (тюркский) хан Аспарух в 679 г. перешел Нижний Дунай с севера на юг и подчинил себе славянские племена, встреченные им в Северо-Восточной Болгарии, в их числе северян. Но северяне эти пришли сюда, скорее всего, тоже из Македонии, куда они спустились в славянском потоке с севера, со Среднего Дуная. Так устанавливается связь северян болгарских и северян Среднего Подунавья, а сами эти болгарские северяне (и с ними – "семь племен", оставшихся безымянными) прошли лишь несколько дальше по пути, по которому шли также болгарские смолене. Ясно, что древнерусские смоляне, как и древнерусские северяне, и все восточные славяне, проделали намного больший путь и зашли особенно далеко от своих исходных центров, но – связи остались, и нам надлежит восстанавливать пути, которыми они шли и расходились, все же оставаясь самими собой. Тем более, что и в этом вопросе нашей этнической истории, как похоже, во многом другом, немало зависит от новизны взгляда.

Они все же остались самими собой – **болгарские смолене** на Юге, на которых, как и на всех болгар, стал давить тюркский этнический пресс, **русские смоляне** на далеком Северо-Востоке, проникшие в среду балтов, населявших Верхнее Поднепровье, примерно в то же время, когда южные славяне заливали Балканы, – в VI веке [18, с. 39]. К прибытию славян балтийские племена являлись основным населением верхнеднепровского региона [55, с. 232]. Однако естественная малая плотность населения этих лесных мест и четкое, видимо, сохранение обоюдной этнической самобытности не привели, как мы знаем, ни к какой балтизации даже тех протобелорусских племен, которые дальше всех продвинулись на запад, в вотчину балтов. То же можно сказать и о смолянах, соседях и ближайшей родне Белой Руси, надежно обсевших верх Днепра. Наступила новая, русская эпоха в жизни этой страны.

* * *

Новая эпоха ознаменовалась не только возобладанием пришлого этноса, среди которого и перемежаясь с которым долго еще мирно существовали этнические островки и полосы иноплеменного балтийского населения, из чьих уст были услышаны и переняты десятки и даже сотни водных и местных названий, так

и оставшихся в русском ономастиконе памятником иных времен и другого языка. Довольно скоро новое население, разлившееся по равнине, которую назовут потом Русской равниной, оценило уникальные природные особенности, не вызывавшие столь пристального интереса раньше, у прежнего населения. Дело в том, что, поднявшись вверх по Днепру, славянские племена вступили в область, которую по достоинству можно бы было обозначить как Великий водораздел. С невысокой возвышенности за Смоленском берут начало и стекают на Запад, Юг и Восток сразу три больших реки. Отсутствие горных преград делало местность легкодоступной во всех направлениях. На севере недалекая Ловать открывала путь к полноводному Ильменю и далее, к северным морям. К чести наших предков следует отметить, что они очень скоро сориентировались и воспользовались природными преимуществами, которые до них как бы лежали втуне. Уникальность и ключевой характер окрестностей Смоленска, можно сказать, определили дальнейшую историю страны. Обычно констатируют (кто – с горечью, кто – с чувством превосходства), что в России дороги всегда были плохие. Но сказанное справедливо лишь о сухопутных наших дорогах, и в какой-то степени это компенсируется (а, возможно, и объясняется?) тем иногда недооцениваемым обстоятельством, что наши водные пути оказались лучшими из мыслимых и именно на этих путях Русь стала Русью, Россией. В этом, кроме природной удачи, было проявлено большое умение оценить и правильно использовать ее. Достаточно раскрыть нашу начальную летопись, чтобы убедиться, какое значение придавалось гидрографии: Днѣпръ бо потече из Оковьского лѣса, и потечеть на полъдне, а Двина ис того же лѣса потечет, а идеть на полунощье и внидеть в море Варяжьское. Ис того же лѣса потече Волга на въстокъ, – так гласит Повесть временных лет, впервые сообщившая нам название этого замечательного природного объекта – *Оковский лес* [56, С. 26]. Сейчас от древнего лесного массива мало что осталось, а был он велик и богат источниками вод, и эта его важнейшая особенность отпечаталась, как мы думаем, в его названии. Внешне вполне русское, это название *Оковьскыи лѣсъ* принадлежит, по-видимому, более глубокой старине. Мне неизвестно, предпринимались ли раньше попытки этимологизации названия этого леса; похоже, что до сих пор довольствовались его русским обликом, полагая тем самым, что "и так все ясно". Однако у нас есть основания думать, что это не так. *Оковьскыи лѣсъ* – это, скорее всего, адаптация (заимствование) местного субстратного балтийского выражения **Akū(n) medjas*, что значит **"родниковый лес"**, где представлено определение в форме род.п. мн.ч. **akū(n)* от слова, родственного литовскому

akìs – не только "глаз", но и "чистое место воды в заросшем болоте", латышскому *aka* "родник, колодец" (см. о нем [57, с. 4]). Определяемое "лес" было просто подвергнуто переводу на русский с субстратного балтийского, на котором оно, как мы думаем, звучало **medjas*, то есть полностью совпадало с праформой балтийского слова "лес" – латышского *mežs*, древнепрусского *median* [57, с. 173]. Сюда, возможно, принадлежит как балтийский рудимент название речки *Межа* (в таком случае – 'лесная'), приток бассейна Западной Двины, протекающей в пределах древнего Оковского леса.

Предложенная этимология др.-русск. *Оковьскыи лѣсъ*, как передачи балт. **Akū(n) medjas* "родниковый лес", наилучшим образом гармонируя с природными особенностями этого водораздельного леса, питающего истоки трех крупнейших рек Восточной Европы, безукоризненно вписывается в балтийский гидронимический контекст, начиная от известного русского гидронима *Ока*, в котором также, скорее всего, дремлет балтийское субстратное **aka*, первоначальное название прежде всего истоков, верховьев Оки (прочие этимологии имени *Ока* менее удовлетворительны), и – кончая живыми современными балтийскими водными названиями вроде литовского *Akiẽ ežerẽlis*, буквально "родниковое, бочажное озерко" (пример из [58]).

Как уже говорилось, название *Оковьскыи лѣсъ* принадлежит начальному древнерусскому прошлому, к настоящему времени оно давно забыто, только наметанный глаз специалиста способен выхватить из местной топонимии село *Око́вец*, или *Око́вцы*, название которого все еще хранит память леса, который примыкал к селу в старину [59*, с. 8]. О преобразованиях названия Оковского леса в более поздние века мы еще скажем в специальной связи дальше. Вместе с тем приходится констатировать, что, например, так называемый "Большой Чертеж", фиксирующий обычно детали, не знает древнего названия леса, из которого вытекал Днепр, хотя сообщает любопытные и для нас реальные подробности: "А Днепр река течет изо мху из болота" [60]. Ср. практически современное нам, 1913 г., описание Маштакова: "Днепр берет начало в болоте у дер. Клецевы (Рождественской) Вельского у. Смоленской губ." [61]. Напомню тут, что и наша этимология Оковского леса восстанавливает реально-семантический контекст родниковых бочажин среди лесных болот.

Предпочтительность водных путей на Руси, "гидрографический" во многом рисунок нашей истории нашли как нельзя более

---

* За эту библиографическую ссылку выражаю признательность аспирантке И. Юрьевой.

яркое выражение в трагической судьбе первых русских святых: два брата, князья Борис и Глеб были злодейски убиты в начале осени 1015 года, Борис – на берегу Альты (Льты), что впадает в Днепр на юге, а Глеб – прямо "въ кораблици" на Смядыни, также впадавшей (речка под этим названием давно высохла) в Днепр в пределах нынешнего Смоленска [56, с. 284, 290; 20, с. 8; .19, с. 28]. Это, казалось бы, внешнее обстоятельство делает в наших глазах первых русских святых Бориса и Глеба очень русскими святыми.

Новую важную страницу истории не только этих мест, но всей вообще русской истории открыло волоковое судоходство. Относительно времени его начала возможны споры. Всего охотнее при этом в качестве terminus post quem называют IX век. Если вдуматься, в основу этой датировки положен факт знаменитого пути "из Варяг в Греки", то есть "из Швеции в Грецию" (...бѣ путь изъ Варягъ въ Греки и изъ Грекъ по Днѣпру, и верхъ Днѣпра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити в Ылмерь озеро великое... Повесть временных лет [56, с. 26]). Поскольку на IX век приходится, согласно летописи, призвание этих варягов на Русь, существует большая готовность связывать воедино эти феномены и волоковое судоходство – с ними [26, с. 511]. Однако все было не так однозначно, и дело даже не столько в том, что летопись, раз назвав путь "из Варяг в Греки", на самом деле описывает путь "из Грек" [13, с. 125], все дело в том, что вырисовывается сложная самостоятельная система волоков, которая вовсе не обязательно была связана с варяжским путем. Самую важную информацию на этот счет представляет **русский характер номенклатуры волоков,** полное отсутствие скандинавского языкового вклада в эту номенклатуру, конкретно – ничего похожего, скажем, на двуязычный перечень названий нижнеднепровских порогов у Константина Багрянородного – "по-шведски" и "по-славянски" (по-русски). Ничего похожего, повторяю, среди названий верхнеднепровских волоков нет, хотя от них до Швеции намного ближе, чем от порогов в низовьях Днепра. Это обстоятельство позволяет не сковывать историю зарождения волоков скандинавской схемой и, возможно, отодвинуть начало этой истории в предыдущие столетия, во всяком случае – более близкие к водворению здесь славян. Отражения волокового судоходства в здешней топонимии и гидронимии дожили до наших дней: *Волок* (дважды), название деревень между бассейном Западной Двины и Ловати, Полы, там же неподалеку – деревня *Переволочье*, еще одна деревня *Волок* – между верховьями Западной Двины и Волги, *Перевоз*, деревня вверху двинского притока Межи, откуда близок один из верхневолжских притоков – Молодой Туд, *Волочек*,

деревня в самых верховьях Днепра, близкая одновременно к верхневолжскому притоку Вазузе [59, с. 9]. Совершенно очевидна связь этих названий с волоковой практикой и одновременно – славянорусская природа самих названий, обрамляющих, по данным исследователя Л.В. Алексеева, значительную часть Оковского леса на северо-западе, севере, северо-востоке и востоке [59]. Южнее картина довершается четкими следами еще одного волока между Западной Двиной и ее притоком Касплей и речкой Катынь, притоком Днепра [20, с. 16], ср. там промежуточное селение с характерным славянским "судоходным" названием – *Лодеиницы* (современное – уже затемненное – *Лодыжичи, Лодыжницы* [62, с. 333]. И достопамятная *Катынь* – это прежде всего волоковой термин и чисто славянорусское отглагольное суффиксальное производное (*Кат-ынь: катати*), понятное при учете орудий и технологии волока – перекатывания судов на катках, осуществляемого скотской и людской тягой, с применением воротов и прочего [59, с. 9]. Слова *волокъ* и *Оковьскыи лѣсъ* почти соседят друг с другом в Повести временных лет. Взгляд на географическую карту подтверждает это наблюдение: подавляющее большинство древнерусских судоходных волоков было сосредоточено здесь. Исследователь ставит в особую зависимость наблюдаемую раннюю плотность населения в Оковском лесу от скопления здесь своеобразных "узких специалистов", промышлявших перевозкой на волоках – так называемых *волочан*. Понятны поэтому выводы Л.В. Алексеева о том, что основателями не менее чем шести волоков в Оковском лесу были славяне-кривичи [59, с. 9, II]. Русские колонисты-новгородцы, начиная с ранних веков особенно активные в своем продвижении в северных и восточных направлениях, несли с собой дальше эту практику, терминологию и эту пространственную ориентацию. В результате появилось название *Заволочье*, охватывавшее целую территорию в бассейнах рек Северной Двины и Онеги, помещаемую как бы "за волоком", которые связывали Онежское озеро с Белым озером и рекой Шексной [63]. За этим, естественно, стоит своя, русская, культура волокового судоходства и своя, новгородская, ориентация колонизационного движения на Восток. Какие-то скандинавские моменты здесь отсутствуют.

Таким образом, глядя на описываемый предмет в плане разграничения унаследованных архаизмов и инноваций, мы еще раз должны уточнить свою позицию по балто-славянским отношениям. От балтов, просуществовавших местами достаточно обособленно в этих краях чуть ли не до XII в. (племя голядь на территории Смоленской и Калужской губерний) остались определенные следы в ранге водной (речной, болотной) номенклатуры вроде

диалектного *твань* "болото" из литовского *tvanas* "наводнение, половодье" и собственных речных названий (ср. [64]). Зная из собственной исследовательской практики, что число этих балтийских выявляемых следов можно даже умножить (ср. то, что высказано выше о происхождении названий *Ока*, *Оковский лес*), мы в принципе констатируем, что после балтов остался слой собственно водной номенклатуры, **безотносительный к деятельности человека**. Г. Краэ называл подобный слой термином "Wasserwörter", усматривая в нем низшую ступень гидронимии. Именно в этом состоит архаика балтийского вклада в гидронимию, вообще – ономастику Восточной Европы. Но в **этой балтийской номенклатуре нет даже намека на судоходство, в том числе волоковое. Этот новый культурный и экономический смысл в восточноевропейскую водную систему принесли славяне,** создав новую номенклатуру на месте, применительно к местным, как мы видели, уникальным условиям.

Когда говорят о культурном уровне древних балтов и древних славян в сравнении друг с другом, обычно приходят к заключению о несколько более высоком уровне культуры славян сравнительно с балтами. Сознавая, что общие утверждения такого рода могут показаться не для всех очевидными и убедительными (особенно сейчас, в пору обострения национального самосознания также балтийских народов), я все же рекомендовал бы в подобных спорах не упускать из виду рассматриваемый здесь случай и выявляемый при этом ощутимый вклад именно восточных, русских славян в культуру Восточной Европы, для чего требовалось все же некоторое предрасположение этноса – меньшая родоплеменная замкнутость, значительно бóльшая открытость внешнему миру, определенная готовность к новациям, включая языковое творчество, если угодно – хозяйственная предприимчивость, что и было в требуемом объеме проявлено славянской Русью. Говорю это специально еще и потому, что, как оказалось, эта реальность до недавнего времени не встречала правильного понимания в научной литературе. Одна небольшая заметка такого классика нашей науки, как М. Фасмер, кажется характерной в этом смысле. Разбирая в свое время происхождение названия пограничного латвийско-эстонского городка – латышское *Valka* (эстонское *Valga*), немецкий ученый рассудил, что оно ведет свое начало от незасвидетельствованного латышского слова **valka* "место, где лодки переволакиваются из одной реки в другую", сравнив это с **реальным** русским словом *вóлок* < праслав. **volkъ* [65]. Но весь лингвистический казус – в том, что балтийская реконструкция при этом оказалась совершенно искусственной. Ничего похожего на описанное значение "волок" балтийские языки

не знают и, видимо, никогда не знали. Соответствующий глагольно-именной корень – балт. **velk-/*valk-* в этих языках имеется, причем он достаточно употребителен и продуктивен, но на фоне этих достоверных положительных сведений **факт полного отсутствия значения "судоходный волок" в балтийском** тем более разителен. Ср. известные значения лит. *vẽlkti*, *velkù* "тащить; одевать, натягивать", *vilkėti* "носить (одежду)", лтш. *vìlkt* "тащить, тянуть", *vilkât* "таскать", лит. *ãpvalkas* "верхняя одежда, оболочка", лтш. *valks* "одежда, платье", лит. *válkata* "бродяга", *válkiotis* "таскаться, шататься", лтш. *valkât* "таскать" [66].

Дело, однако, не ограничивается выявленным противопоставлением славян и балтов в вопросе причастности к волоковому судоходству. Попутно выясняется нечто не менее интересное уже в рамках славянского. Положение при этом несколько завуалировано тем обстоятельством, что, например, продолжения праславянской формы **volkъ* есть во всех славянских языках, но обозначают они самые разные предметы, перемещаемые тягой, **волоченьем**, – рыболовную сеть, невод, поезд, словом, все, что угодно, но только не **волок, пространство, преодолеваемое судами, перетаскиваемыми посуху. Оказывается, это последнее значение из всех славян представлено только у восточных** [67]. В полном соответствии с показаниями языка находятся данные по реальной истории, истории культуры. Похоже, что сколько-нибудь широкое использование волоков у других славян вообще проблематично и гипотетично и рассмотренные нами выше древнерусские волоки представляют яркий эпизод также в общеславянском масштабе, поскольку другого такого достоверного и крупного примера просто не существует [68]. Сомнительно также древнее наличие терминологических эквивалентов в германских языках, во всяком случае немецкое *Schleppstelle* 'волок' явно смахивает на кальку (причем – приблизительную) с русского *волок*, другие обозначения носят вообще описательный характер.

Так называемый "путь из Варяг в Греки", относительно которого существует мнение, что развился он поздно и существовал сравнительно недолгое время – с IX по XI в. (в оценку этого распространенного мнения мы здесь больше входить не намерены), расцвел целиком благодаря своим волокам. Все говорит за то, что и сами эти волоки и весь этот путь, немыслимый без волоков, – детище древнерусского гения, хронологически чисто внешне пристегнутое в трудах историков к появлению и деятельности скандинавского, варяжского элемента, будучи на самом деле собственной культурной новацией основного населения страны, как мы это попытались выше показать средствами исторического языкознания.

То тесное соседство, в котором наша начальная летопись употребила слова *волокъ* и *Оковъскыи лѣсь*, на что мы уже обращали внимание выше, не прошло бесследно. Сказалось и обилие волоков в самом этом лесу, что потянуло за собой переосмысление непонятного и, как мы выяснили, чужого названия в свое, "понятное". Так возникли более поздние названия этого леса – *Волоковский* и даже *Волконский*, как именуют его Герберштейн и уже Воскресенская летопись [59, с. 11]. Сработала, как мы понимаем, обычная в таких случаях народная этимология. Перед нами прошел как бы эпизод из истории русского языка, его словаря, выдержка из истории культуры русского народа. При этом, как бывает, центральная часть эпизода почти забылась, ушла в небытие, ее можно лишь, с некоторыми усилиями, восстанавливать, и на более широком, славянском фоне она вновь способна ожить в своей внушительности. Но эпизод оказался действительно значимый, его отражения, порой – совсем косвенные и неожиданные, живут с нами и сейчас и незаметно входят в быт и современные представления, сознание русского человека. Как известнейшая русская фамилия *Волконский*, княжеская и объясняемая в научной литературе от названия родового имения, а оно – в свою очередь – от реки *Волко́нь* [69], медленно начинает вдвигаться в очерченный нами этимологический круг. Как само это – поначалу совсем неясное – *Волконь*, название реки, находимое в Калужской и Тульской губерниях [70], вдруг оказывается в целом сонме деревень под названиями *Волконск, Волконская,* она же, заметим, – *Волоконовка*, и еще *Волконское, Волоконск, Волоконская, Волоконский* (все – в Орловской, Курской, Калужской, Воронежской губерниях) [71], и пелена, застилавшая до поры наше этимологическое зрение, слетает, и нам становятся понятны постигшие наше слово изменения – синкопа предударного гласного *Волко́нский* из *Волоко́нский*.

Возникшее при этом соседство с плавным *л* повлекло спирантизацию взрывного *к* (благо, и давний смысл целиком затемнен), и вот, уже в пределах старого центра города Москвы мы останавливаемся на названии левого притока Москвы-реки, навсегда погребенного, как многое другое, под асфальтовыми мостовыми улиц, – не только в фоме *Волкона*, но и – *Волхона*, а также наша повседневная *Волхонка* [72]. Последнюю форму было труднее всего понять – именно потому, что она последняя, конец долгого пути, и, только добравшись вспять, до ее осмысленного *волоконского* и *волоковского – волокового* начала, испытываешь тихое удовлетворение, что не зря, оказывается, прослужил тридцать лет в доме на Волхонке.

А столетия проносились над крепнущей Русью и над смолянами, успевшими вкупе со всей Русью потеснить и проредить прежде бескрайние леса, дотошно связать единым "волоковским" узлом все водные дороги, создать единую страну. Узел этот во многом не имел себе равных, и к нему все тянулось отовсюду. И поныне впечатляет сохранившийся памятник этого стечения – Гнёздово чуть ниже Смоленска по Днепру, вернее – громадная группа курганов в этом месте, самое крупное скопление курганов Древней Руси [19, с. 11; 18, с. 248]. Что представляло собой это Гнёздово? "Кладбище языческого Смоленска"? "Не здесь ли было первичное Гнездо смольнян...?" – спрашивает смолянин С.П. Писарев [20, с. 182], и вопрос этот прозвучит непраздно, если вспомнить такие центры древней городской и государственной жизни других славян, как польское *Gniezno*, чье название образовано от того же самого славянского корня, что и Гнёздово. Дело еще отчасти в том, что начало гнездовских курганов датируют тем же IX в., в котором летопись в первый раз упоминает город Смоленск. Вопросы эти – решать историкам. Они же исследуют и другой смежный вопрос: **кем** основано это Гнёздово? Относимое также (весьма предположительно) к IX в., начало пути из Варяг в Греки, как мы уже знаем, охотно связывалось с активностью самих скандинавов-варягов, а в гнездовских курганах отмечались находки скандинавских вещей и западного оружия. Отсюда совсем недалеко от признания Гнёздова варяжским поселением, и такое положение популярно особенно в западно-европейских исследованиях. Присутствие варягов не вызывает сомнений. Какая-то часть этих варягов навеки упокоилась в гнездовских курганных погребениях. Неслучайно, например, одна из берестяных грамот, открытых в Смоленске, как оказалось, была написана скандинавским руническим письмом [73]. Но это, как говорится, лишь с одной стороны. А с другой стороны, нельзя забывать о том, на что также обращают наше внимание археологи, – о том, что "основная масса Гнёздовских курганов не содержит оружия" [18, с. 248]. Поэтому наиболее взвешенным суждением нужно признать то, согласно которому Гнёздово – поселение и некрополь – принадлежало основному населению этих мест, славянам, Руси.

Шло время, и свет христианской веры, восходя вверх по Днепру, постепенно достиг и этих мест. К 988 г. относят крещение Киевской Руси при Владимире. В общем доказано, что христианство несло с собой культуру письма. Однако именно в Гнёздове, отстоящем довольно далеко на север от Киева, в одном из гнездовских погребальных курганов была обнаружена

надпись кирилловским письмом – древнейшая на Руси, несколько более древняя, чем само крещение Руси Владимиром [74, с. 356], и это сообщает проблеме Гнёздова особую прелесть загадки.

То, что называют кириллицей, генетически связано с греческим письмом, и его возникновение естественно искать в зоне непосредственного греческого влияния. Известную из летописи запись договоров Руси с греками первой половины X в. также естественно ассоциировать с кириллицей. Но договоры писались в Византии, а гнездовская надпись, практически – того же времени, найдена далеко на севере, в земле Верхнего Поднепровья. Конечно, тут уместно вспомнить о том, что "массовому" крещению Руси Владимиром предшествовал ряд менее "массовых", порой даже индивидуальных, актов крещения русских людей и иноплеменников, состоящих на русской службе, и что крещения эти имели место в Константинополе и других греческих владениях, как например крещение при патриархе Фотии в 867 г. [75, с. 95], после чего естественно предполагать, что крещеная русь вновь возвращалась восвояси и могла распространяться по всей днепровской трассе. Но так однозначно вся культурная проблематика знаменитой гнездовской надписи все же не решается, поэтому стоит задержаться на ней несколько более подробно.

Летом 1949 г. археологическая экспедиция МГУ на раскопках курганов у деревни Гнёздово под Смоленском обнаружила в кургане № 13 разбитый сосуд с надписью. Собственно, содержанием кургана оказалось весьма богатое погребение воина с одной или двумя рабынями, каролингским мечом IX в. и арабскими диргемами, самый поздний из которых датирован началом X в. Интереснее же всего прочего оказалась именно надпись – из одного довольно ясно читаемого слова кириллицей древнего образца, которую публикаторы-историки попытались прочесть как ГОРОУХЩА, допуская, что речь идет о горчице (надпись на горшке с пряностями?) [76]. С того момента и началась дискуссия, которая длится уже сорок лет и успела коснуться за это время различных вопросов. Как и следовало ожидать, лингвист подверг это чтение историка суровой и в целом справедливой критике, указав, в частности, на невозможность формы *горухща* (и прежде всего – последовательности звуков *-хщ-!*) в древнерусском языке и предложив свое, формально вполне корректное чтение *горушна*, что подразумевало бы *(зьрна) горушьна* мн. "горчичные (зерна)" [77]. На смену интерпретатору-лингвисту пришел затем опять археолог, который усмотрел в разбитом горшке амфору антич-

ного вида для перевозки не сыпучих, а жидкостей – вина и масла (хотя, насколько мне известно, греки в амфорах перевозили все, что угодно, вплоть до зерна пшеницы и соленой рыбы!); археолог заключил(а), что это амфора из восточной Тавриды и что в ней хранилась нефть, привезенная с юга, о чем якобы гласила надпись, которую при желании можно прочесть *горуща*, то есть "горючая" [78]. Как видим, фантазия интерпретаторов в основном не шла дальше констатации здесь своего рода наклейки на консервной банке с наименованием товара. Почему при этом никто из них не приводит хоть каких-то примеров подобного обыкновения сравнимой древности, а значит, никто не задумывается над типологией аргументации? Те примеры своего рода надписей-"этикеток", какие некоторые из них все же приводят, являются владетельными надписями и уже тем самым не подтверждают авторских прочтений. Следующий по времени солидный опыт интерпретации гнездовской надписи опять принадлежит лингвисту, критически разобравшему заодно все предшествующие попытки и всю относящуюся сюда литературу. А.С. Львов (а речь идет именно о нем) солидарен с археологом Корзухиной, что надо читать *гороуща*, по которому якобы было исправлено потом на *гороунща*, дабы передать церковно-славянское горѫща [79] – мнение, крайне малоубедительное с точки зрения древнерусского письма и его чтения (перезапись *горѫща* как *гороунща* невероятна, так как в живом древнерусском произношении и чтении носового знака *ѫ* всегда звучал чистый гласный *-у-*, ср. также [80, с. 367]). Попутно Львов отвергает элегантную, но сомнительную попытку Ф.В. Мареша (чтение *Горух пьса* "Горух написал") и, как кажется, слишком легко отводит чтение Р.О. Якобсона – *Горуня*, считая, что оно "не основано на данных надписи".

В итоге таких разнообразных чтений и в немалой степени – под влиянием оценок Львова мы получили довольно своеобразную картину, особенно если судить по ее отражению в новом древнерусском словаре XI–XIV вв.: в этом словаре, с некоторыми оговорками в виде вопросительных знаков и прочего, даны в качестве самостоятельных словарных позиций **четыре** разных чтения: *гороунща* (?), *гороухща* (?), *гороушна* (?), *гороуща* (?) [81]. Напомню, что в действительности (в надписи) наличествует **одно** слово, тогда как словарь, говоря о том же предмете, дает нам по сути **четыре слова**, то есть не считается с правилом entia non sunt multiplicanda "не следует умножать сущностей". Следовало найти какие-то более адекватные формы подачи информации в словаре. Больше того: трактуя раз-

ночтения одного слова как самостоятельные слова, составители указанного словаря, как выяснилось, учитывают не все чтения слова. Они совершенно не учитывают наиболее вероятного чтения, связанного с именем Якобсона, который трижды обращался к гнездовской надписи и пришел к выводу, что читать ее надо как **ГОРОУНА**, притяжательное прилагательное от личного собственного имени *Горун*, – "горунова, Горуну принадлежащая", причем подразумевалась отсутствующая в надписи *кърчага*, *корчага*, древнерусское название сосуда с горлом, чем, собственно, и был ископаемый керамический предмет, на котором надпись начертана (см. [82], там же дальнейшие ссылки).

Приговор Львова, что чтение это не учитывает данных надписи (см. у нас выше), излишне строг, и мы попробуем его опровергнуть в дальнейшем, что же касается притяжательности (*Горуня*), то вся типология в этом небольшом, но емком фрагменте истории культуры красноречиво свидетельствует в пользу нее, а не против. На изделия ремесла (веретенные грузила, корчаги и вообще посуду и многое другое) наносились надписи, прежде всего указывающие на **принадлежность лицу** (хозяину, хозяйке), ср. известные всем русистам *Потворин прясльнь*, *Лолин пряслен*, *Молодило*, *Мартынъ*, *Иулиана*, *княжо есть*, *невесточ(ь)* [83, с. 118]. Сюда примыкают надписи мастера-изготовителя, например, *Стефанъ пслъ*, *Братило дѣлалъ*, *Каста дѣлалъ* (там же).

О том, что только этот способ прочтения гнездовской надписи перспективен, по-своему свидетельствует недавнее критическое выступление американского лингвиста Шенкера, который не согласен с чтением Якобсона *gorunja* – "Gorun's (amphora)" единственно по причине слабой засвидетельствованности у славян личного имени *Gorun*: у Якобсона фигурирует пример Миклошича из боснийско-герцеговинских народных песен, в других славянских языках, в том числе восточнославянских, примеров этого имени нет [47, с. 207 и сл., 212]. На этом основании Шенкер сомневается, что надпись содержит славянское имя и допускает здесь наличие арабского личного имени *Hārūn*, "Гарун, Харун" (!). Нам трудно поверить в это построение, где, в свою очередь, сомнительно столь многое (слишком книжная и, как правило, поздняя передача иноязычного *h* славянским, русским *г*, передача долгого *ā* как *о*, для чего автору требуется принимать тюркское посредство, упраздняющее количественные различия гласных). Но, может быть, самое важное – то, что и при сомнительном чтении Шенкера – "Harun's amphora" – вопрос о **славянском** характере надписи

отнюдь не снимается; наоборот, лишний раз подтверждается, что перед нами словообразовательная посессивная модель с суф. *-j-* (само собой разумеется, маловероятно и недостаточно сводить все при этом к одному знанию арабом славянских кириллических или даже греческих букв, речь идет об активном употреблении довольно специфической языковой конструкции).

Что же касается имени, здесь есть место и для других соображений. Во-первых, возвращаясь к единичному свидетельству Миклошича [84, с. 50], нельзя не видеть чисто славянский статус этого боснийско-герцеговинского (у Миклошича также с пометой "сербское") личного имени *Gorun*, поэтому принципиально допустимо его использование при объяснении непосредственной производной формы *gorunja* на другом конце славянского ареала. Во-вторых, вопрос о наличии специально восточнославянского соответствия личного имени *Gorun* нельзя решать без учета практически тождественного этимологически древнерусского имени *Горюн* (1524 г., см. [40, с. 86]). Совершенно ясна апеллативная база этого последнего, ср. русское просторечное *горюн*, так сказать, "имя деятеля" от глагола *горева́ть*. В нашем случае поучительно, что уже, например, на белорусской языковой почве форма *горюн* просто не могла сохраниться ввиду регулярного отвердения *р'*-палатального, там представлено соответственно – нарицательное *гару́н* и личное имя *Гару́н*, *Гаруно́ў*, ср. русский эквивалент последней фамилии – *Горюнов* [85, с. 105]. Кстати сказать, отвердение *р*, аналогичное белорусскому и отчасти украинскому, довольно последовательно осуществилось и в сербохорватском языке, так что и там можно предположить *Gorun* из **gorjun*. В нашем славянском этимологическом словаре, кроме омонимичного **gorunъ* (от **gora*), название породы дуба в болгарском и сербохорватском, представлен следующий небольшой материал, имеющий отношение к описываемому здесь случаю: русское диалектное (новг.) *гару́н* 'трут', укр. *гору́нка* 'растение Sinapis arvensis; Brassica napus', блр. *гару́н* 'древесный нарост для изготовления трута', допускающие прямую связь со славянским **gorěti*, *гореть* [86]. Засвидетельствованная гнездовская форма **ГОРОУН-** с твердым *-р-* могла бы быть объяснена ранним отвердением *р* в смоленском ареале, который, как известно, разделяет эту особенность (как и ряд других особенностей) соседнего собственно белорусского языкового ареала, хотя, наряду с этим, нельзя совершенно исключать и возможность диссимиляции двух мягких согласных в производном слове гнездовской надписи: **gor'un'a* → *gorun'a*.

Итак, все говорит за то, что древнейшая русская надпись представляла собой притяжательное прилагательное, образованное от описанного выше личного имени собственного с помощью древнего суффикса принадлежности *-j-*. Характернейшей особенностью сочетаний гласных с последующим йотом в славянском было слияние согласного с йотом и как результат – мягкий согласный. В этом смысле вся дальнейшая проблема сводится к способам нотации этой мягкости в нашей надписи – на фоне сравнимых случаев в других памятниках письменности (соответственно этому попытки обнаружить в этом месте гнездовской надписи – в соседстве с **N** или вместо него – знаки **Ш** или Ц, или, наконец, **Х** нами отклоняются).

В качестве более древнего и преобладающего способа нотации *ja* после согласного, специально – после согласного *н*, указывают кириллический знак **ѧ**, ср. напр., в новгородской берестяной грамоте № 397 первой половины XIII в.: *къснѧтинѧ грамата* [16, с. 98], употребление, близкое к нашему случаю и своим статусом этикетки и тождественным выражением притяжательности. Вообще оказывается, что в берестяной письменности ранних веков буква **ꙗ** (то есть йотированное *а*) не встречается, аналогичную функцию выполняет **ѧ** [87; 88].

В остальной древнерусской письменности передача мягкости согласного, а равно и йотации гласных довольно разнообразна – преобладает собственно йотация (1) с самых ранних веков (Остромирово евангелие XI в., Успенский сборник XII–XIII вв. [89]), но в ряде случаев вместо знака йота встречается точка, лежачая запятая над гласным, горизонтальный элемент буквы **Г**, прилепленный к букве согласного справа [75, с. 109, 114], дужка концами вниз – над согласным, дужка концами вверх, горизонтальная черта или точка – над гласным, вместо предшествующего йота [90], подобие широкой низкой буквы **П** над мягким согласным (в Синайском патерике, см. [91]).

Йотация, употреблявшаяся, таким образом, с древнейшего времени в древнерусской письменности, была все же инновацией, которую не знал древнейший алфавит [74, с. 359]. Вообще же йотация считается изначально присутствовавшей в кириллице, в чем, между прочим, также состоит фундаментальное отличие последней от первоначальной глаголицы [92, с. 30], и это роднит кириллицу с византийским греческим письмом, особенно – случаи неприсоединенного йота [93].

Резюмируя, можно сказать, что гнездовская надпись, принадлежа к архаической кириллице, не обнаруживает кирилли-

ческой йотации, и это как бы в принципе сближает нашу надпись с глаголицей, не знавшей йотации (отдельные частные моменты начертания гнездовских букв, в которых исследователи также усматривали глаголические особенности, здесь опускаем). Мы придаем такое значение вопросу мягкости согласных и ее графической передачи неслучайно. Уже замечено, что различие по этой линии принципиально характеризовало лингвогеографические ареалы, в которых возникли и сложились два вида славянского письма. При этом глаголица возникла в тех более центральных районах славянства, в которых наиболее последовательно осуществлено это полное слияние согласного с йотом, о котором мы уже говорили, иными словами – сильная мягкость, тогда как периферийно продолжало сохраняться слабое развитие мягкости – состояние, при котором мягкость имеет тенденцию выделяться в особую артикуляцию, и наличие йота (І, ѣ) на письме довольно точно передает эту ситуацию. Эта ситуация имела место в Восточной Болгарии, на родине кириллицы. Полезно привести мнение болгарской исследовательницы, которая говорит о том, что смягчение согласных перед передними гласными в древнеболгарском не доказано, в то время как "в языке славянских просветителей должны были существовать три палатальных фонемы r', l', n'" [94].

"Гачековый" способ передачи мягкости согласного, предполагаемый нами в гнездовской надписи, вслед за Якобсоном (№), побуждает нас обратиться к вопросу о генезисе классической гачековой орфографии, каковой была чешская орфография Яна Гуса. Речь, разумеется, не идет о непосредственном соотнесении древнерусской гнездовской надписи X века и новшеств чешской орфографии начала XV века, связываемых с именем Яна Гуса. Все сопоставление должно разумно остаться в типологической плоскости. Тем не менее, предпринятые не так давно серьезные попытки нащупать в принципах гусовской чешской орфографии наличие хорватско-глаголических, а иными словами – кирилло-мефодиевских, импульсов заставляют задуматься и над возможностью аналогичных импульсов в нашем случае. Так, начиная с Гуса, стали помечать мягкость чешских согласных простой точкой над ними, эквивалентной современному чешскому "гачеку" (крючку), например *ň* = ň, что объясняется из позднеглаголического письма Эммаусского монастыря в Праге, в каковом письме существовала тенденция надписывать над буквой глаголический "ер" в виде стилизованного апострофа или просто точки [95]. В отличие от кириллической нотации мягкости предшествующего согласного

йотом, возводимой к греческому письму, введение мягкостных надстрочных диакритик, похоже, явилось чисто славянским новшеством, продуктом глаголического письма. Изолированный пример из единственной русской надписи X в. является, конечно, еще слабым аргументом, но повод взглянуть на возможность такого объяснения – для него и для сходных более поздних написаний мягкости – он дает. Тем более, что факты раннего проникновения глаголицы в глубь Руси известны [92, с. 25; 96].

В заключение этого эпизода, я думаю, будет правильно, если мы обратим также внимание на другие вещи, которые тоже вправе считаться известными и среди них – на то, что древнейшие сведения о хорватской глаголице восходят к 880–890 гг., [75, с. 77], т.е. тому времени, когда еще был жив Мефодий (умер в 885 г.). И еще: древний регион глаголитизма в хорватской Далмации тесно связан со всей соответствующей письменной традицией Великой Моравии, иначе говоря – это продолжение изначального моравско-паннонского глаголитизма, и это продолжение, эти связи понятны лишь как берущие начало в том IX в., когда творили сами первоучители славян [97]. Перед нами как бы еще один аргумент паннонско-дунайской локализации Великой Моравии; иначе не объяснить давних корней хорватского глаголитизма.

Судьба малой надписи из Гнёздова отразила черты нашей культурной истории, которых мы коснулись еще в начале наших "поисков единства" (глава I): главной христианизации и просвещению с Юга предшествовали более ранние христианские культурные импульсы с Запада.

* * *

И вот мы близки к завершению своих "смоленских мотивов". Обилие предметов, достойных освещения, здесь поистине замечательно, и мы не беремся исчерпать их. Более или менее "закруглить" эту богатую картину древних и новых отношений поможет, кажется, еще один штрих из исторического прошлого, призванный показать, что, кроме главных в истории русской Смоленщины южных и западных истоков населения и культуры, давали о себе знать также восточные культурные импульсы, и смоленская Русь от них не отгораживалась, принимала их в свою культурную сокровищницу, подобно тем древним арабским диргемам, которые осели в русских кладах и могильных курганах. На этих путях прибыла сюда и заняла видное место в смоленском гербе райская птичка *гамаюн* –

прибыла, так сказать, вместе со своим названием. Смоленский герб насчитывает шесть веков [98], надо думать, что и *гамаюн* – образ и слово – не моложе. Мы, к сожалению, располагаем, по-видимому, довольно поздними свидетельствами по истории слова, по-своему интересными тем, что они не связаны ни со Смоленском, ни с его гербом, ср. [99]: *гамаюнъ*. Сказочная райская птица. Залетаютъ отътуду [из рая на острова в восточном море] птицы райские гамаюнъ и финикъ, и благоухание износятъ чудное. Книга, глаголемая Космография, список второй половины XVI в. Есть еще (в том же словаре) более отвлеченное упоминание (сравнение с гамаюном) в посольском документе 1569 г. Показательно, что в последнем случае речь идет о **посольстве в Персию** князя Андрея Дмитриевича Звенигородского.

На гербе города Смоленска изображена пушка средневекового европейского образца. Что касается птицы, именуемой *гамаюн*, которая нарисована сидящей на этом артиллерийском орудии, ее пути были отличны не только от пушки, но и от другой райской птицы, упомянутой в "Космографии" – *финик* (наше современное *феникс*), носящей греческое имя, ср. греч. φοῖνιξ. Начальные следы слова *гамаюн* теряются (или, наоборот, отыскиваются) на Востоке, причем – не на арабском, а на иранском. При этом легче устанавливаются древние истоки и, к сожалению, остаются пока неизвестными промежуточные стадии. А древняя форма, на этимологическую связь с которой мне удалось в свое время обратить внимание, это младоавестийское *hu-māiia* – "искусный, хитроумный, чудодейственный", откуда в древнеиранском мире употреблено было имя собственное **Humāya-*, которое приобрело даже международную известность, ср. эламское *Umaya*, греч. Ὑμαίης [100; 101; 102]. Небезынтересно, что благодаря этимологии мы узнаем, что смоленская птичка *гамаюн*, а точнее – ее птица-прообраз, была не только райской, но и хитроумной. Образ этот, родившийся, вероятно, еще на почве иранского фольклора, рано пересек границы стран и культур и стал международным. Мы не все еще знаем в этой истории, она нам только приоткрылась, хотелось бы более детально проследить превращения вокализма да и консонантизма, они не лишены загадочности – вполне подстать волшебному ореолу самой птицы (почему не **хумаюн*, а *гамаюн?*) (ср., кстати, Б. Унбегаун. Русские фамилии (М., 1989. С. 167), где фамилию *Гамаюнов* автор связывает с перс. *humāyūn* "птица рая". Сказалась ли здесь книжная передача или не попавшие в поле нашего зрения другие передаточные звенья?). В общем есть над

чем подумать и в дальнейшем, тем более, что вещая птица гамаюн, оставившая не один след в нашей культурной истории и в нашем искусстве, так и не попала в энциклопедию "Мифы народов мира".

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ангелов Д.* Славянският свят през IX–X в. и делото на Кирил и Методий в книжовната традиция // Palaeobulgarica / Старобългаристика IX. 1985. 2. С. 7, 8, 26.

2. Съчинения на М.С. Дринова. Т. I. Трудове по българска и славянска история. С., 1909. С. 28, 307.

3. *Денев Д.* Где са живели смолените? // Сб. в чест на В. Н. Златарски по случай на 30-годишната му научна и професорска дейност. С., 1925. С. 45 и сл.

4. *Коледаров П.С.* Климент Охридски, "първи епископ на български език" на драговитите в Солунско и на Великия в Западните Родопи // Константин-Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му. С. 141 и сл.

5. *Цанкова-Петкова Г.* Някои моменти от разселването на славянските племена от източния дял на южните славяни и установяването им на Балканский полуостров // Славянска филология. Доклади и статии за VII МКС. Т. XIV. История и фолклор. С., 1973.

6. *Заимов Й.* Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. Проучване на жителските имена в българската топонимия. С., 1967.

7. *Миков В.* Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. С., 1943. С. 98.

8. Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii. [Изд.:] B. Horák a D. Trávníček // Rozpravy ČSAV. R. 66, řada SV. Seš. 2. 1956.

9. *Niederle L.* Rukověť slovanských starožitností. Pr., 1953.

10. *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956.

11. *Popowska-Taborska H.* Etnonimy stowiańskie w procesie komunikacji i językowej // V Ogólnopolska konferencja onomastyczna. Poznań, 1988.

12. *Трубачев О.Н.* Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6.

13. *Рыбаков Б.А.* Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982.

14. *Vasmer M.* Die Slaven in Griechenland. Leipzig. 1970.

15. *Жучкевич В.А.* Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974.

16. *Арциховский А.В.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958–1961 гг.). М., 1963.

17. Смоленские грамоты / Подгот. к печ. Т.А. Сумникова и В.В. Лопатин. М., 1963.

18. *Седов В.В.* Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.

19. *Авдусин Д.А.* Возникновение Смоленска. Смоленск, 1957.

20. *Писарев С.П.* Памятная книга г. Смоленска. Историко-современный очерк: Указатель и путеводитель. Смоленск, 1898.

21. *Махотин Б.* К живым истокам. Смоленщина в географических названиях. Смоленск, 1989.

22. *Никонов В.А.* Краткий топонимический словарь. М., 1966.

23. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Изд. 2-е. Т. III. М., 1987. С. 690.

24. Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий / Под ред. Г.Г. Литаврина и А.П. Новосельцева. М., 1989.

25. *Jacobsson G.* A rate variant ot the name of Smolensk in Old Russian // Scando-Slavica. T. X. 1964.

26. Dnjepr // Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Begründet von J. Hoops. 2. Auflage. Herausgegeben von H. Beck., etc. Bd. 5, lief. 5/6. Berlin; New York (отд. отт.).

27. *Malingoudis Ph.* Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands. 1. Slavische Flurnamen aus der messenischen Mani. Wiesbaden, 1981. S. 101.

28. *Trautmann R.* Die elb- und ostseeslavischen Ortsnamen. Teil II. Berlin, 1949 (=Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).

29. *Худаш М.Л.* Про походження давньоруських етнонімів Дреговичі й Уличі // Мовознавство. 1981. № 5.

30. История русской литературы. Т. I. Древнерусская литература / Ред. Д.С. Лихачев и Г.П. Макогоненко. Л., 1980. С. 71–72.

31. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I (XI – первая половина XIV в.) / Отв. ред. Д.С. Лихачев. Л., 1987. С. 227–228.

32. *Trautmann R.* Die elb- und ostseeslavischen Ortsnamen. Teil I. Berlin. 1948 (=Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).

33. *Богатова Г.А.* Из истории древнерусских существительных со старой основой на *-ęt-* // Вестник МГУ. 1958. № 2. С. 55 и сл.

34. *Роспонд С.* Miscellanea onomastica Rossica // Восточнославянская ономастика. Исследования и материалы / Отв. ред. А.В. Суперанская. М., 1979. С. 13 и сл.

35. *Подольская Н.В.* Антропонимикон берестяных грамот // Восточнославянская ономастика. Исследования и материалы. С. 204 и сл.

36. Історія української мови. Лексика і фразеологія. Відповід. редактор В.М. Русанівський. Київ, 1983.

37. З історії української лексикології. Відповід. ред. Д.Г. Гринчишин. Київ, 1980. С. 244.

38. *Bæcklund A.* Personal names in Medieval Velikij Novgorod. I. Common names. Stockholm, 1959. C. 73.

39. *Грковић М.* Имена у дечанским хрисовуљама. Нови Сад, 1983. С. 66.

40. *Веселовский С.В.* Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.

41. *Želechovśkyj Je.* und *Nedilśkyj S.* Ukrainisch-deutsches Wörterbuch. Nachdruck von O. Horbatsch. T. 3. München, 1982. S. 887.

42. *Kuzela Z.* und *Rudnyćkyj J.B.* Ukrainisch-deutsches Wörterbuch. 3. Auflage. Wiesbaden, 1987. S. 1148.

43. *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.

44. *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českéno[2]. Pr., 1971.

45. *Schuster-Šewc H.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Heft 17. Bautzen, 1986. S. 1317.

46. *Иванова О.В.* Славяне и Фессалоника во второй половине VII в. по данным "Чудес св. Димитрия" // Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980.

47. *Schenker A.M.* The Gnezdovo inscription in its historical and linguistic setting // Russian linguistics. V. 13. N 3. 1989.

48. *Херрман И.* Ruzzi. Forsderen liudi. Fresiti. К вопросу об исторических и этнографических основах "Баварского географа" (первая половина IX в.) // Древности славян и Руси / Отв. ред. В.А. Тимощук. М., 1988.

49. *Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára. 4-dik, bővített és javított kiadás. II kötet. Budapest, 1988. С. 597, 687.

50. *Хабургаев Г.А.* Этнонимия "Повести временных лет" в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. М., 1979. С. 185.

51. *Alerić D.* Problem desnoga i lijevoga u jugoslavenskoj toponimiji // Rasprave za jezik. Knj. 4–5. Zagreb, 1979, passim.

52. *Заимов Й.* Български географски имена с *-jь*. София, 1973.

53. *Заимов Й.* Българските водни имена като извор за етногенезиса на българския народ // Hydronimia słowiańska. Materiały z IX konferencji Kom. Onom. Słow. Wrocław etc., 1989. S. 118.

54. *Kiparsky V.* [рец. на кн.:] Й. Заимов. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров // ZfslPh XXXIV/2, 1969. S. 436.

55. *Топоров В.Н.* и *Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

56. Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века / Сост. и общая ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. М., 1978.

57. *Trautmann R.* Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1970.

58. *Vanagas A.* Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981. С. 37.

59. *Алексеев Л.В.* "Оковский лес" Повести временных лет // Культура средневековой Руси. Л., 1974.

60. Книга Большому чертежу / Подготовка к печати и редакция К.Н. Сербиной. М.; Л., 1960. С. 99.

61. *Маштаков П.Л.* Список рек Днепровского бассейна. СПб., 1913. С. I.

62. *Седов В.В.* К исторической географии Смоленской земли // Материалы по изучению Смоленской области. Вып. IV. Смоленск, 1961.

63. БСЭ, 3-е изд. Т. 9. М., 1972. С. 270.

64. *Vasmer M.* Die russische Kolonisation im Spiegel der Sprache // VI. Intern. Kongreß für Namenforschung. München, 24–28. Aug. 1958 (=M. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin, 1971. S. 778, 780).

65. *Vasmer M.* Zur baltischen Ortsnamenforschung: 2. *Walk* // Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, 1922 (=M. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. I. Berlin, 1971. S. 205).

66. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 1190–1191, 1253.

67. *Udolph J.* "Handel" und "Verkehr" in slavischen Ortsnamen // Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Teil IV. Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Göttingen, 1987 (=Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philosophisch-historische Klasse. 3. Folge. N 156. S. 599) и сл.

68. Mały słownik kultury dawnych Słowian / Pod red. L. Leciejewicza. Warszawa, 1972. S. 317 (*przewłoka*), 322 (Put' iz Warjag w Greki).

69. *Унбегаун Б.О.* Русские фамилии. М., 1989. С. 20, 105.

70. Wörterbuch der russischen Gewässernamen zusammengestellt von A. Kernd'l, R. Richhardt und W. Eisold unter Leitung von M. Vasmer. Bd. I. Berlin; Wiesbaden, 1961. S. 350.

71. Russisches geographisches Namenbuch. Unter Mitwirkung von I. Coper, I. Doerfer, J. Prinz, R. Siegmann herausgeg. von M. Vasmer. Bd. II. Lieferung 1. Wiesbaden, 1965. S. 154, 160.

72. *Смолицкая Г.П.* Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976. С. 108.

73. *Авдусин Д.А., Мельникова Е.А.* Смоленские грамоты на бересте (из раскопок 1952–1968 гг.) // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1984 год. М., 1985. С. 199, 209.

74. *Мельников Е.И.* Заметки о древнерусской азбуке // Slavia (отд. отт.).

75. *Срезневский И.И.* Славяно-русская палеография XI–XIV вв. СПб., 1885.

76. *Авдусин Д.А.* и *Тихомиров М.Н.* Древнейшая русская надпись // Вестник АН СССР 1950, 4 (апрель), с. 71 и сл.

77. *Черных П.Я.* Две заметки по истории русского языка. 2. К вопросу о гнездовской надписи // ИАН ОЛЯ 1950, т. IX, вып. 5. С. 398 и сл.

78. *Корзухина Г.Ф.* О гнездовской амфоре и ее надписи // Исследования по археологии СССР / Отв. ред. В.Ф. Гайдукевич. Л., 1961.

79. *Львов А.С.* Еще раз о древнейшей надписи из Гнездова // ИАН ОЛЯ. Т. XXX. Вып. 1, 1971. С. 47 и сл.

80. *Тот И.Х.* К изучению графической системы русской редакции старославянского языка // Hungaro-Slavica 1978.

81. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / Гл. ред. Р.И. Аванесов. Т. II. М., 1989. С. 360.

82. *Якобсон.* **ГОРОУНА КЪРЧАГА** // Сб. В памет. на проф. С. Стойков. Езиковедски изследвания. София, 1974. С. 563 и сл.

83. *Черепнин Л.В.* Русская палеография. М., 1956.

84. *Miklosich F.* Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen. Drei Abhandlungen. Manulneudruck. Heidelberg, 1927.

85. *Бірыла М.В.* Беларуская антрапанімія. 2. Прозвішча, утвораныя ад апелятыўнай лексікі. Мінск, 1969. С. 105.

86. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 7. М., 1980. С. 50–51.

87. Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот. М., 1955. С. 68–69 (Л. П. Жуковская. Палеография).

88. *Янин В.Л., Зализняк А.А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.): Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986. С. 97.

89. Успенский сборник XII–XIII вв. Изд. подг. О.А. Князевская, В.Г. Демьянов, М.В. Ляпон / Под ред. С.И. Коткова. М., 1971. С. 23.

90. *Карский Е.Ф.* Славянская кирилловская палеография. М., 1979. С. 230–231.

91. Синайский патерик. Изд. подг. В.С. Голышенко, В.Ф. Дубровина. М., 1967. С. 26.

92. *Щепкин В.Н.* Русская палеография. М., 1967.

93. Образцы письма древнейшего периода русской книги / К печати приготовил и вводною статьею снабдил Н.М. Каринский. Л., 1925. С. 13.

94. *Пенкова П.* Диакритичният "знак за мекост" в Зографското евангелие // Константин-Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му. София, 1969. С. 403.

95. *Mareš F.V.* Die kyrillo-methodianischen Wurzeln der tschechischen diakritischen Orthographie // Anzeiger der phtl.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 110. Jahrgang, 1973. S. 87, 88, 90.

96. *Медынцева А.А.* Древнерусские надписи новгородского Софийского собора XI–XIV века. М., 1978. С. 26.

97. *Vajs J.* Rukověť hlaholské paleografie. V Praze, 1932. S. 17.

98. *Ражнёв Г.* Герб Смоленска // Политическая информация. Журн. отд. проп. и агитации Смол. обк. КПСС, 1986, № 12(811). С. 26 и сл.

99. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 4. М., 1977. С. 10.

100. *Mayrhofer M.* Iranisches Personennamenbuch. Bd. I. Faszikel 1: Die avestischen Namen. Wien. 1977. S. 51.

101. *Schmitt R.* The Medo-Persian names of Herodotus in the light of the new evidence from Persepolis // Acta Antique Ac. Sc. Hungaricae 24, 1976. P. 29.

102. *Трубачев О.Н.* [рец. на кн.:] M. Mayrhofer. Iranisches Personennamenbuch. Bd. I, F. 1, 2. Wien, 1977, 1979 // Этимология. 1981. М., 1983. С. 172.

V

К истокам Руси

Наблюдения лингвиста

Фрагмент надписи вязью в титульной части восточнославянской книги. Рукописный сборник Троице-Сергиевой Лавры. XV в. № 308. Л. 188.

Начиная этот непростой и, смею заверить, выстраданный рассказ о Руси Азовско-Черноморской, невольно переросший в остро ответственный, а потому вселявший в меня смущение, неоднократно откладываемый и вновь избираемый и уже на протяжении ряда лет не новый для меня сюжет – о Руси и ее названии, я хочу прежде обратить внимание на одно обстоятельство, общее для большей части предыдущих очерков серии "В поисках единства", которые построились как бы под углом зрения древних важных городов, городских центров (Великий Новгород, Киев, Смоленск), хотя ставились и посильно решались (в ряде случаев – впервые у нас) несравненно более широкие вопросы, затрагивающие проблему всего нашего этнолингвистического и этнокультурного ареала. Да будет мне позволено использовать этот угол зрения и сейчас. Я приглашаю при этом читателя обратить свой взор на юг, в данном случае – не на Крым, который еще будет упоминаться не один раз и при важных обстоятельствах, а на тот, в сущности, крайний юг собственной Руси, России, который, при всех ее могучих прирастаниях и разрастаниях, как был тысячу лет назад, так и остался фактически самым отдаленным южным форпостом Руси-России в ее исторически древнейших – европейских – пределах. Это Тамань, Таманский полуостров, древняя Тмутаракань. Более южные корректировки границ вследствие победоносных кавказских войн меня в данный момент не интересуют – не потому, что границы эти в силу известных причин оттеснены вспять, а скорее потому, что здесь речь пойдет в первую очередь о традиционно русском этническом пространстве.

У Тамани, снискавшей в литературе прошлого века репутацию самого скверного городишки на юге России, было большое прошлое – русское и дорусское. Это прошлое интересно и заслуживает нашего рассмотрения и даже пересмотра не только само по себе, оно небезразлично и для углубленного понимания вечного вопроса, "откуда есть пошла русская земля", в особенности же того, как и откуда она стала так называться. Важность правильных ответов на эти взаимосвязанные вопросы давно поняли не только у нас в стране: "Тот, кто удачно объяснит название Руси, овладеет ключом к решению начал ее истории" [1].

Но сначала – по порядку. Самым серьезным суждением предшествующей научной мысли о Тмутараканском княжестве мы должны признать мнение о загадочности его возникновения и существования [2, с. 44]. И наоборот, односторонне упрощенными представляются нам суждения тех современных исследователей, для которых начало русской Тмутаракани датируется лишь временем после походов князя Святослава во вторую половину X века [3, с. 133], а их критика "умозрительности" мнения старых исследователей о присутствии там славян в более ранние века [4, с. 192] становится, как увидим далее, все более голословной. И это притом, что старое, почтенное мнение о глубоких, местных корнях Тмутараканского княжества [5, с. 54], в свою очередь, уже не может удовлетворить нас сегодня, когда накоплены материалы для не столь однозначных, более широких решений и неожиданно конкретных ответов в духе славянско-неславянской взаимности.

Словом, попытка дать современное решение проблеме Тмутараканского княжества вновь влечет за собой весь комплекс Азовско-Черноморской Руси, несмотря на запретительные нотки в современной критике. Повторяется типичная ситуация в науке (и науковедении), когда инициаторы запретов или анафем на проблемы, будь то "ненаучная" ("донаучная") теория дунайской прародины славян или, как в данном случае, древних корней Тмутараканского княжества и Азовско-Черноморской Руси, оказываются вынужденными расписаться – как минимум – в собственной недальновидности.

Я имею в виду недавно высказанное мнение, высказанное, надо сказать, бегло и в полной уверенности, что речь идет о вчерашнем дне науки: "Ее (легенды о Черноморской Руси. – *О.Т.*) абсурдность доказана еще учеными прошлого века, тем не менее ее сторонники появлялись в 20–30-х годах, не исчезли они и ныне" [3, с. 157, примеч. 131; см. еще сведения по истории вопроса в: 6]. Вот тезис, в котором я вижу типичный завал на пути к истине и собираюсь построить немалую часть своего дальнейшего изложения в плане расчистки этого завала, для чего, думаю, накопились достаточные материалы. Надо иметь, правда, при этом в виду, что спорящие уже с давних пор подвизаются в некоем подобии заколдованного круга, избрав либо славянскую идею в интерпретации этой южной приморской Руси, либо отрицание славянской идеи, а заодно – как бы для вящего порядка – и полное отрицание этой своеобразной Руси.

В числе одного из первых "запретителей" Черноморской Руси называют Ф.Ф. Вестберга (около начала века), полемика с которым велась в основном с позиции изначального славянства

этой Руси [7, с. 51]. Позиция эта в прошлом была весьма активной, и ее защищали не последние имена в русской историографии – Гедеонов, Иловайский, Багалей и, конечно, Пархоменко [8, ч. I, с. XI; 5, с. 33, 150; 9, с. 174; 7, passim; см. еще 10, с. 83].

Потом или, вернее, уже тогда произошло то, что просто не могло не произойти, – некий исторический обман зрения. В самом деле – ничего не стоило спутать туманную Русь Азовско-Черноморскую с несравненно более известной Днепровской, Киевской Русью, и нет смысла, видимо, особенно пенять за это историкам, оценивая сейчас трудность вопроса и двусмысленность источников. Памятуя об этой двусмысленности источников да и самого русского вопроса на раннем этапе, не следует удивляться тому, что и проблема Азовско-Черноморской Руси обретала порой варяжский, норманский акцент [2, с. 47], и мы сталкиваемся с этим не один раз. Хотя и тут комплекс сведений об Азовско-Черноморской Руси явно мешал гладкости и цельности картины ранней истории Древней Руси в целом, и отчаянные попытки избавиться от этого комплекса способны были бы вызвать даже наше человеческое сочувствие, если бы дело было только в этом. Чего стоят, например, упрямые попытки уточнить в желаемом смысле перевод знаменитых трех мест из Льва Диакона. В соответствующих местах у этого византийского историка содержатся (1) требование императора Цимисхия к князю Святославу, чтобы тот "удалился в свои области и к Киммерийскому Боспору..." (VI. 8), далее, (2) напоминание Цимисхия Святославу о том, что отец его Игорь спасся к Киммерийскому Боспору с десятком лодок (VI. 10), наконец, (3) высказывается предостережение, "...чтобы скифы (то есть русь. – *О.Т.*) не могли уплыть на родину и на Киммерийский Боспор в том случае, если они будут обращены в бегство" [11]. Оказывается, комментаторов очень встревожило, что эти действительно яркие слова о Киммерийском Боспоре (то есть Керченском проливе) как месте, куда возвращаются скифы-тавроскифы-росы, "дали многим историкам пищу для предположений о существовании приазовской Руси. Но данная гипотеза зиждется лишь на неточности перевода, как латинского – Газе, так и старого русского – Попова..." [11, с. 197, комментарий]. Но "неточность" – если считать таковой упоминание о Боспоре Киммерийском – сохранена и в новейшем, видимо добротном, переводе М.М. Копыленко, и от ключевой роли Киммерийского Боспора в толковании этого вопроса не уйти никуда ни нам, ни комментаторам, как бы они ни редактировали употребление союзов в переводах Льва Диакона. Они, эти комментаторы [см. еще специально 12, passim], способны вызвать скорее раздражение, чем признательность, поскольку воюют с очевидностью (см. у нас,

выше), попутно без всяких оснований пытаясь посеять сомнения в "четких географических представлениях" Льва Диакона, а заодно и других ученых византийцев. Все это делает для нас сомнительными доводы самих этих скептиков, желающих ограничить черноморскую сферу деятельности первых русских князей днепровским устьем.

С нашими скептиками не согласен и текст договора Игоря с греками 945-го года, где содержится совершенно недвусмысленный особый параграф, убеждающий в том, что греки знали о распространении интересов Руси также **к востоку от Херсонеса** и всячески противились этому: "А о Корсуньстѣи странѣ. Елико же есть городовъ на той части, да не имать волости князь рускии, да воюеть на тѣхъ странахъ, и та страна не покаряется вамъ" [13, с. 64]. И речь идет, заметим, о делах задолго до Владимира Святого и его появления у стен Корсуня-Херсона-Херсонеса. Но суть вопроса этим далеко не исчерпывается.

Славянский элемент на северном побережье Черного моря справедливо связывают с продвижением сюда антов уже в VI в. [14, с. 48]. Ближе к Приазовской Руси вспоминают свидетельство Прокопия Кесарийского (VI в.) о бесчисленных племенах антов к северу от Меотийского озера [15, с. 275]. Оспаривать заселение Черноморского побережья антами, то есть восточными славянами или их частью, с достаточно раннего времени, таким образом, не приходится, и это признано давно [16, с. 314]. Уже в III в. (!) одна боспорская надпись упоминает некоего боспорянина по имени "Αντας Παπ[ου] – Ант, сын Папия, ср. [17, с. 206], хотя преувеличивать значение этого эпиграфического свидетельства не следует, слово анты не было самоназванием, оно было дано выдвинувшейся сюда окраинной части славян более древним населением этих мест, о чем у нас также далее. По этой причине нет надобности увязывать имя антов специально с приазовской номенклатурой, например, с Артанией восточных источников, как это пытались делать вслед за Нидерле [7, с. 39; 14, с. 46–47].

Мы не в состоянии рассматривать сейчас сколько-нибудь подробно трудную историческую проблему воздействия причерноморских и приазовских славян-антов на формирование приднепровской Руси – проблему, развернутую в свое время в ряде монографий Пархоменко [7, 14] и встретившую весьма сдержанное отношение со стороны Шахматова [18]. Хотя, если разобраться, в принципиальной идее отхода к северу этой окраинной юго-восточной, южной части местного славянства, в отступлении славян на север перед многовековым и многократным давлением Степи нет ничего противоестественного, и, по крайней мере в среде археологов уже нашего времени, подобные мысли высказывались.

И все же именно сдержанность оценок археологов повлияла на общее состояние проблемы в науке. Археологи же склонялись к тому, что до рубежа IX–X вв. славянские поселения "не выходили за пределы лесостепи" и в юго-восточную зону не углублялись [4, с. 19; 19, с. 57; 20, с. 209]. Правда, эту слишком суммарную и чрезмерно скептическую оценку в наших глазах существенно корректирует мнение опытнейшего современного археолога: "Археологически южная колонизация почти неуловима" [21, с. 237]. Ясно, что перед нами – классический argumentum ex silentio, иными словами – ситуация, когда из отсутствия (молчания) источников нельзя вывести ни наличия славянского населения, ни тем паче наоборот. Готовность к скептическому решению впрочем перевесила и у некоторых исследователей обрела форму вывода, что, например, русские застали в Тмутаракани этническую группу хазарского времени, "а не потомков античного населения" [19, с. 62].

Парадоксальность ситуации довершает то обстоятельство, что в ономастике (топонимии, этнонимии) Приазовья и Крыма испокон веков наличествуют названия с корнем *Рос-*. Мы не раз еще будем возвращаться к ним. Научная литература не обошла их своим вниманием, напротив, удачно уловила в них "демотическую топонимику, скрытую от нас отсутствием источников" [22, с. 230], хронологическую связь этой номенклатуры с однородным этносом, заселявшим во второй половине I тысячелетия н.э. не только Крым, но и Подонье, и Приазовье [там же, с. 232]. Они, эти росы, были опытными мореходами, и тут вновь встает вопрос об авторстве опустошительных морских походов на Амастриду и Константинополь около IX в. (русы-славяне, русы-варяги или – какие-то "третьи" русы-росы?). Они имели влияние и известность в Северном Причерноморье, и это относилось не только к знавшим их византийцам, но и к днепровским славянам, что могло бы уже априори уменьшить сомнения Шахматова, приведенные выше, но трактовавшие, правда, о несколько ином предмете – влиянии славянской Руси Приазовья (в духе Пархоменко) на славянскую Русь Поднепровья... Нас же здесь в первую очередь интересует предыстория, первоначало последующих отношений, даже тесная связь тавров и росов, именуемых часто рядом, порой практически слитно, к чему – ввиду значительности этих отношений для русской родословной – мы вернемся в дальнейшем.

В общем, мы согласны принять, имея в виду сами первоначала, этот несколько оголенный и противоречиво звучащий тезис исследователя: "В I тысячелетии н.э. росы жили в Крыму, но в это время славянской Руси в Крыму не было" [23, с. 92]. Надо отдать должное этому достаточно вдумчивому исследователю, ибо

он допускает все же проникновение сюда (в ареал культуры, именуемой салтовской) также иных, в том числе славянских, этнических групп, **не оставивших археологических следов**.

Думаю, на этом, говоря кратко, кончаются возможности археологических исследований нашего региона, если иметь в виду их не слишком оптимистическое заключение о том, что славянорусское население не застало в Приазовье и Причерноморье остатков античного населения. Вряд ли мы могли бы безоговорочно принять это, даже если бы только располагали сведениями Прокопия об антах к северу от Меотиды в VI в. и Иордана – об антах между Днестром и Днепром еще в IV в. В это время еще теплилась жизнь древнего населения в городах Боспора Киммерийского. Эти свидетельства не остаются изолированными, напротив, они находят сейчас групповое подтверждение, которое поставляет нам побочное для наших нынешних проблем, но достаточно систематическое изучение языковых реликтов Indoarica в Северном Причерноморье, проводимое нами в течение вот уже двадцати лет.

Сейчас имеется возможность говорить о **преемственности местного индоарийского субстрата по его отражениям в местном славянорусском**. Вряд ли что-либо подобное оказалось бы возможным, если бы "потомки античного населения" не дожили в той или иной форме до появления в Северном Причерноморье славян. Выборку соответствующих примеров парных отношений "индоарийское реликтовое название" – "славянорусское местное название" я даю по материалам этимологического словаря языковых реликтов Indoarica в Северном Причерноморье, приложенным к моей одноименной монографии. Остается добавить в разъяснение, что под этими индоарийскими реликтами я понимаю остатки особого диалекта или языка праиндийского вида, отличного от иранского скифского или сарматского языка, существовавшего на смежной, а подчас – на той же самой территории.

Двадцатилетние мои поиски помогли выявить индоарийскую принадлежность языка синдо-меотов Боспорского царства и Восточного Приазовья, тавров Крыма, населения низовьев Днепра и Южного Буга (большую детализацию опускаю).

Итак, примеры преемственного отражения: индоар. ***ake-sindu-*** 'близ Синда (=Дона)', *Acesinus*, река близ Перекопа и Сиваша (Плиний), Ἀκεσίνης, ср. др.-инд. *ākė́* 'вблизи', ****sindu-*** 'большая река' (ниже); устойчивый тип обозначения в придонском регионе, сюда же индоар. **au-sili-* 'у каменной реки' и позднее – **Ar-tana*, *Ar-tania* восточных источников, *alla Tana* итальянских источников, буквально – 'у Дона, по Дону', русск. *По-донье*.

Anta- 'крайние, окраинные', Ἄνται, *Antae*, *Antes*, народ Юга Украины, ср. др.-инд. *ánta-* 'край' – Украина.

Buga-/*Buja- 'изгиб, лука', *Buges/Buces* 'Сиваш? Сев.-зап. часть Азовского моря?' ср. др.-инд. *bhogá-* 'изгиб, дуга', – др.-русск. *Лукоморье* 'сев.-зап. часть Азовского моря'.

Dandaka- 'камышовая', Δανδάκη, местность в Крыму (Птолемей), ср. др.-инд. *Daṇḍaka-*, название леса в Индии, *daṇḍana* – 'вид тростника' – *Камышовая бухта*, в современном Севастополе.

Dand-aria- 'камышовые арии', Δανδάριοι, племя на нижней Кубани (Страбон), *Dandarium*, остров у Днепро-Бугского лимана (Равеннский Аноним), совр. *Тендра*, ср. корень предыдущего названия – *сарыка-мышкозаклер* 'казаки из желтого камыша' (на Кубани), *Сары-камыш*, местность на Нижнем Днепре.

Kanka- 'журавль, цапля', ср. др.-инд. *kaṇká-* 'цапля' – *Конка*, река бассейна Нижнего Днепра, там же местные названия *Gerania* (лат.-греч. 'журавлиная'), соврем. *Журавка*, *Чаплинка*.

Kin-sana- 'винная, виноградная', Κινσάνους, округ, долина Алушты (грамоты константинопольского патриарха, XIV в.), ср. др.-инд. *kiṃ-*, частица, *śaṇá-* 'опьяняющий напиток', – татарское *Kišan*, *Kisan*, др.-русск. (*дебрь*) *Кисаню* (Слово о полку Игореве).

Kṛka-/*kṛča- 'горло, горловина', Οὐκρούχ, река на вост. берегу Черного моря (Конст. Багр.), *K.rts* (хазарско-еврейская переписка), *Καρκ* (арабская традиция X в.), ср. др.-инд. *kṛika-* 'горло' – др. русск. *Кърчевъ* (Тмутараканский камень, XI в.), соврем. *Керчь*, под татарским влиянием [24, с. 320 и сл.], *Курка*, рукав Кубани.

Lopa-taka-/*Lopa-taki 'рвущее течение', Ἀλωπεκία, остров в дельте Танаиса (Страбон), ср. др.-инд. *lopa-* 'прорыв, рана', *tákti*, 3 л. ед.ч. 'спешить, нестись' – др.-русск. *Лютикъ* (XVII в.), соврем. *Перебойный*, остров.

Na(va)-vara- 'новый город', "Новгород", *Navarum*, город в Скифии (Плиний), Ναύαρον, город на реке Каркинит (Птолемей), ср. др.-инд. *náva-* 'новый', *vára-* 'огороженное пространство' – *Новгород Русский*, с греч. *Νεάπολις ἡ τῶν Ρῶς (в районе Симферополя), Чудо св. Стефана Сурожского [25, с. 56–57].

Pari-sara- 'обтекание', *Balisira* (Эвлия-эфенди, Бенинказа, XV в.), соврем. *Белосарайская коса* у сев. берега Азовского моря, ср. др.-инд. *pari-* 'вокруг', *sar-* 'течь', Παρίσαρα, город в Индии (Птолемей) – соврем. *Оби-точная коса*, сев.-зап. часть Азовского моря.

Pleteno- 'широкий', ср. др.-инд. *pṛthu-*, *prathana-* 'широкий', – *Плетенской/Плетенищкий* лиман, или Великий луг, заливаемое пространство между Днепром и Конкой (карты Риччи Занони и Исленьева), сюда же у *Плѣсньска*, на болони (Слово о полку Игореве).

Roka-(***Rauka***-) 'светлый, белый', *Rocas, Rogas*, народ у Черного моря (Иордан), сюда же *Roga-stadzans* (Иордан), индоарийско-готский гибрид 'белый берег', ср. **ruksa-tar-* у нас, ниже.

Roka-ba- 'свет излучающая', *Rhocobae*, оппидум скифов-пахарей близ Канкита (Плиний), Ἔρκαβον, близ реки Каркинит (Птолемей), 'Ραχόβη, эмендировано из 'Ραχόλη, место, откуда произошли журавли (Стефан Византийский), ср. др.-инд. *rocanám bhā*- 'излучать свет'. Ср. греч. Λευκὴ ἀκτή 'белый берег', о Сев.-Зап. Причерноморье, и след.

Ruksa-tar-/*Rossa-tar- 'белый берег', *Rosso Tar*, место на западном берегу Крыма (вторично Rossofar), итальянские карты XIV в., ср. др.-инд. *rukṣá*- 'блестящий' (с диал. *ss* < *ks*), сюда и Χρυσὸς Λεγόμενος, преобразованное греческое название берега от Днепра к Дунаю (Татищев I, 197) – др.-русск. *Бѣлобережье*, название того же берега.

Sindu- '(большая) река', *Sinus* = *Tanais* 'Дон' (Плиний), ср. др.-инд. *síndhu*- 'река, поток, море' – др.-русск. *Синяя вода*, о Доне [26], сюда же *синего Дону* (Слово о полку Игореве), *Синее море* 'Азовское море' [27], на *синѣмъ* море у Дону (Слово о полку Игореве).

Ut-kanda- 'отросток?', Τυκανδειτών, род. п. мн.ч. (Пантикапей, надгробие I в. н.э.), от местного названия *Τυκανδα, ср. др.-инд. *Ut-khand, Utakhanda*, местность при впадении реки Кабул в Инд, др.-инд. *ut*- 'вы-, из-', *kāṇḍa* 'стебель' – др.-русск. *Копыль*, город (соврем. Славянск-на-Кубани), собственно, слав. калька – 'побочный отросток' (ср. южнослав., болг. *копиле* 'побочный отросток'), первоначально о реке Протока, ответвление Кубани.

Собственно говоря, одной этой последней семантической пары индоарийского (синдо-меотского) ****Vt-kanda*** 'отросток' и местного же славянорусского *Копыль*, первонач. '(побочный) отросток', на наш взгляд, достаточно, чтобы сильно обесценить ходячее мнение об освоении славянской Русью Тмутаракани лишь с конца X в. Наша лингвистическая изоглосса довольно реально и значительно удревняет условия, необходимые для ее формирования – появление славянского этнического элемента, причем, заметим, в тылу у Тмутаракани, конкретно – к востоку от нее. Рассуждая, таким образом, вполне реально о контакте славянского языка и этноса с индоарийским северопонтийским эпохи упадка последнего, мы, естественно, вслед за этим и в связи с этим вправе заинтересоваться прямыми этноязыковыми следами раннего пребывания славянской руси на этой юго-восточной периферии своего совокупного ареала. Ибо в том, что перед нами периферия этого ареала, сомневаться излишне.

В свое время, а именно в очерке первом своих "поисков единства", мне пришлось вступиться за правильное понимание феномена старой этноязыковой периферии единого древнерусского ареала, каковой был новгородский Северо-Запад. Наша научная общественность к тому моменту явно поддалась соблазну отнести архаизмы Новгорода, а главное их "похожесть" на западнославянские особенности, прямо и безоговорочно к западнославянским же проникновениям... Не стану повторять того, что сказано было мной по тому важному поводу, каждый интересующийся легко может найти и прочесть сам. Будучи убежден в том, что новгородский Северо-Запад представляет собой просто наиболее благоприятный и счастливый случай сохранности прежде всего богатой местной письменности (подаренное нам судьбой открытие берестяных грамот), я все эти годы невольно задумывался о других – по несправедливости судьбы – умолкнувших перифериях древнего русского языкового ареала, а также о возможностях реконструкции раннего состояния в этих труднейших условиях практического отсутствия местной письменной традиции. Эти раздумья и привели меня на путь поисков того, что осталось от Азовско-Черноморской Руси... Здесь пригодилась и определенная умудренность от конкретной работы с лингвогеографической тематикой: я имею в виду свою убежденность в том, что даже серьезное проявление языковой самобытности периферии еще не может само по себе служить сигналом ее инородного, скажем, инославянского, происхождения (здесь опять приходит на память та преувеличенная суета вокруг якобы "западнославянской" природы древненовгородского диалекта, причем все это – с вопиющим игнорированием законов и типологии языковой географии)...

А осталось от древнего славянского Юго-Востока в целом немного. Вычтя сразу и целиком всю потенциальную собственную письменность, которая имела шансы возникнуть и получить развитие (ведь все-таки "история начиналась на юге"), мы и получим этот невеликий остаток: побочные традиции (византийские и восточные историки и географы, очень скудно – агиография, в том числе – славянская, мы обращаемся и будем к этому обращаться) и ономастика (топонимия, гидронимия и т.д.). Последняя мало исследована, поэтому может показаться, что в этом открытом, в основном степном, крае, где трудно укрыться зверю и человеку, трудно сохраниться и древнему названию. Но в этом расхожем мнении немало наивности и преувеличения. При всех бесконечных набегах и даже целых этнических передвижениях фронтальных переселений не было, немало существовало того, что можно обозначить как обтекание и сосуществование разных этносов.

Как мы видели, можно говорить о проявлениях весьма яркой преемственности даже там, где наша историко-археологическая communis opinio была решительно против. Одним из первых, может быть, самым первым, кто проявил настоящий интерес к этому "пустынному полю" как лингвист-историк и ономаст, был наш замечательный И.И. Срезневский. И он сразу много увидел и верно понял, а благодаря ему можем, кажется, понять и мы. Я имею в виду его работу "Русское население степей и южного поморья в XI–XIV вв." [16]. Эта трудолюбиво написанная, проницательная статья заслуживала бы быть названа знаменитой, но, боюсь, сейчас ее уже никто не знает и к ней не обращается, как это почтительно делали Багалей в XIX веке и Шахматов – в начале XX века. А ведь в своей публикации Срезневский еще сто тридцать с лишним лет назад показал нам, что дикое поле "не было для русских новым светом", он говорит "о поселениях, родственных Руси, далеко на юге", рекомендует "всмотреться в названия местностей юга России, неизменно оставшиеся от веков очень далеких". Эти земли, отчужденные от Руси кочевниками, "не были никогда отчуждены от нее совершенно, были знакомы, будто свои. Очень многие из этих названий – русские по происхождению, славянские по смыслу и звукам" [16, стб. 316]. Русских названий – и притом древних – в этом надолго отторгнутом от славянской Руси крае много: "Всего не перечесть" [там же, стб. 319]. Срезневский трезво схватывает эту перемежаемость русских названий с нерусскими, он понимает, что менее защищенные "должны были пропадать; но сколько бы их ни погибло, нить преданий ... не погибала". А дальше – заслуживает почти полного оглашения то, что, не боясь ложной патетики, можно назвать завещанием Срезневского, во всяком случае – в рамках нашей нынешней проблемы: "Таким образом, в нынешнем населении южной России лежат следы элементов очень разнородных, – и между прочим, довольно древних элементов славянорусских... Впрочем, такого общего заключения..., без сомнения, слишком мало. Оно должно быть проверено подробными наблюдениями и исследованиями, в которых одинаковое право на участие принадлежит географу и этнографу, филологу и археологу... С другой стороны, они тем более желательны, что до сих пор только начаты, что остается темным, неизвестным, неподозреваемым многое такое, что важно не для одной пытливости науки, но и для жизни" [16, стб. 320]. Слова, высказанные в 1860 г., остаются и сейчас для нас не устаревшей программой, ибо основательное погружение в этот материал красноречиво показывает, сколь многое в нем было даже "неподозреваемо" для нас.

Наш обзор славянского ономастического материала в регионе не может не быть суммарным и выборочным, и выбор мы останавливали преимущественно на архаичных и локально ограниченных, в том числе эндемичных, образованиях. Поскольку ономастика своими путями сообщается с апеллативной лексикой, а через последнюю – с языком, как правило, языком более древним, это гарантировало нам определенные, пусть не самые богатые, возможности для заключений, характеризующих эту юго-восточную периферию древнерусского ареала. Во всяком случае, при скудности данных, имевшихся в распоряжении науки на сей счет, это давало дополнительные результаты.

Вначале – о славянских названиях Северного Приазовья. В качестве таковых могут быть выделены (с запада на восток): ***Моло́шной Крек/Молочной Крюк*** (записи конца XVIII в., современная форма – *Молочный Утлюк* – показывает возможности позднейшей тюркизации), приток реки Молочной; основная форма тождественна русск. диал. *кряк, крёк* 'лягушачья икра', звукоподражательному по природе праславянскому слову, см. [28, т. II, с. 391; 29, вып. 12, с. 114–115], сюда же, далее, русск. диал. *клёк* 'лягушачья икра', а также *Клекоток/Клекотока*, речка в бассейне Верхнего Дона [30, далее – Панин]. От лягушачьей икры, как и от ряски, назывались метафорически тихие, заболоченные речки. *Обито́чная/Обыто́чная*, приток Азовского моря, ср. одноименная коса неподалеку (см. выше), далее – сюда *Обыточка*, приток Псла, на днепровском левобережье, и другие случаи гидронима *Обито́к*, ниже. Представляет глубокий интерес своим образованием от несохранившейся лексемы – вост.-слав. **обиток*, праслав. **obitokъ*, см. мое дополнение в [28, т. III, с. 101]. ***Бе́рда́, Бе́рды*** мн., приток Азовского моря; обращает на себя внимание, помимо морфологического разнообразия [31, с. 101, 118], также своим своеобразием семантики – близкие лексические значения 'пропасть, яма' отмечены прежде всего в **украинских карпатских говорах** у этого обычного славянского названия ткацкого снаряда или метонимически (у южных и западных славян) – горного рельефа [29, вып. 3, с. 165–166]. ***Свинорыйка***, в бассейне реки Берды; представляет продолжение древней модели славянского сложения на *-ryja*, ср. *Свинорье*, в Верхнем Поднепровье (32, с. 220), *Черторой, Черторыя*, польск. *Czartoryja, Копорье*, в основном – с западнославянскими ассоциациями [33, с. 12–13]. ***Свидова́тая/Свидувата***, в бассейне реки Берды, со связями прежде всего – в Поднепровье (*Свидівка, Свидівок*) и в украинских Карпатах (*Свидник, Свидівець*), а также на Балканах, ср. укр. *свид* 'Cornus sanguinea' [34, с. 60]. ***Витава***, населенный пункт на берегу Азовского моря, западнее реки Кальмиус

[34, с. 187, карта 5], весьма архаично по корневой принадлежности и славянскому словообразованию. ***Ка́лка/Калки/Калъкъ***/совр. ***Ка́льмиус***, приток Азовского моря, известнейшее по летописным данным место битвы 1223 г.; целый "куст" славянского гидронимического словообразования, ср. сюда *Ка́льчик*, приток Кальмиуса (он же – *Калец*, 1224 г.); налицо и вторичная тюркизация – сложение с тюрк. *tüjüz* 'рог' в *Кальмиус*. ***Кали́твина***, балка в бассейне реки Миус, связано с ярко эндемичным, исключительно донским гидронимом *Калитва*, ср. еще название горы *Калитва* на левом берегу Днепра, близ Орели (35, с. 71), не первый случай в этом регионе славянского образования древнего вида, но без связей в известной нам нарицательной лексике. И названием балки ***Коровий брод*** (запись XVIII в.), между рекой Миус и рекой Дон, со славянской прозрачностью конструкции и типологическими аналогиями вроде *Ox-ford* и Βόσ-πορος, мы заканчиваем немногочисленный, но весьма репрезентативный в отношении самобытности и древности образования ряд приазовских гидронимов и топонимов, в основном – из собрания Отина [36]. Можно разве что еще пополнить этот ряд в западном направлении, в пределах днепровского Левобережья, двумя топонимами древнего славянского вида – *Перекоп*, у Срезневского – *Перекопь* [16, стб. 319], возможная приблизительная калька реликтового индоарийского *kṛta – 'сделанный (то есть – вырытый вручную)', примерно в том же месте, у основания Крымского полуострова, и др.-русск. *Олѣшье*, один из "заселенных притонов" у моря [16, стб. 314], которое с незапамятных времен – от геродотовской Гилеи ('Υλαία – 'лесная') до нынешних Алешковских (!) песков – стойко донесло и сохранило образ этого "лесистого" пятачка среди окружающих всегда безлесных пространств.

Дальнейший материал гидронимов бассейнов Дона, Северского Донца и Левобережного Днепра мы подаем суммарно, для удобства обозрения – в алфавитном порядке, ввиду затруднительности определения четкого ареала, оговорив лишь то, что нами приводятся в основном архаичные по виду, порой – уникальные (периферийные, реликтовые) образования, застывшие, как верстовые столбы, на давно забытых путях северян, донских славян*, возможно, и славян карпатских, а также антов. О других проявлениях (и направлениях) участия некоторых из них в древнем освоении нашего региона еще будет речь дальше.

---

* Первоначальное сидение у Азовского моря также вятичей (по Шахматову) остается для нас сомнительным ввиду достоверности "ляшских" связей вятичей и вторичности их прихода с Запада в Поочье.

Боромля, впадает в Донец к югу от Белгорода [16, стб. 316), ср. *Буромля*, приток Сулы (34, с. 208), ***Буравль***, приток Битюга (Панин), ***Валуй***, в бассейне Оскола, Сев. Донец [16, стб. 316], ср. *Валуй*, на верхней Оке [37, с. 17], ***Выpь*** [16, стб. 316], *Вир*, приток Сейма, также *Виръ, Вирь* [38, с. 103], ***Жирная Поруба***, в бассейне Дона, Волгоградская обл. (Панин), ***Золотоноша***, левый приток Днепра [38, с. 216; 16. стб. 316], ***Идолга***, приток Медведицы, басс. Дона, Саратовская обл. (Панин), ***Излегоща***, приток Воронежа, басс. Дона, Липецкая обл. (Панин), ***Иловай***, приток Воронежа, Тамбовская обл. (Панин), ***Иловатка***, бассейн Хопра, Саратовская обл. (Панин), ***Иловля***, впадает в Дон на юг от Епифани [16, стб. 317; Панин: Саратовск. и Волгогр. обл.], ***Каверья***, приток Верейки, басс. Дона, Воронежская обл. (Панин), ***Калитва***, впадает в Дон на юг от Епифани [16, стб. 317; Панин также: *Черная Калитва*, Белгородск. и Воронеж, обл.], ***Клекоток***, басс. Дона, Ряз. и Тульск. обл. (Панин), ***Красивая Меча***, впадает в Дон на юг от Епифани [16, стб. 317; Панин: Тульская и Липецкая обл.], ***Куной***, басс. Дона, Воронежск. обл. (Панин), ***Кшень***, приток Быстрой Сосны, басс. Дона, Курская и Орловская обл. (Панин), ср. *Кшеня Урля*, нижнее правобережное Поочье [37, с. 256], но последнее – среди явно мордовского гидронимического ландшафта, ***Лохвица*** [16, стб. 316], ***Лугань***, впадает в Донец на юг от Белгорода [16, стб. 316; 38, с. 328–329], ***Медведица***, впадает в Дон на юг от Епифани [16, стб. 317; Панин: Саратовская и Волгоградская обл.], ср. *Медведица*, нижнее правобережное Поочье [37, с. 261], ***Мжа***, впадает в Донец на юг от Белгорода [16, стб. 316], ***Морец***, басс. Дона, Волгоград. обл. (Панин), ***Непрядва***, приток Дона, Тульск. обл. (Панин), ***Обиток***, басс. Северск. Донца; басс. Самары [38, с. 392], ***Обыточка***, приток Псла, басс. Днепра, *Обитічка* [38, с. 392], ***Оржица*** [16, стб. 316], ***Оржиця***, приток Сулы, басс. Днепра [38, с. 400], ***Осереда***, впадает в Дон на юг от Епифани [16, стб. 317], ***Отнога***, басс. Дона, Волгоградск. обл. (Панин), ***Паника***, басс. Дона, Липецк, обл. и Саратовск. обл. (Панин; 37: на Оке – многократно), продолжение слав. **ponika/*ponikъva*, о "теряющихся" под землей речках, ***Плота/Плата***, басс. Дона, Тульск., Липецк., Тамб., Орловск., Курск., Белгородск. обл. (Панин; 37: в Поочье – ряд случаев), ***Плесный***, басс. Богучара, Воронежск. обл. (Панин), ***Полоная Вершина***, басс. Битюга, Воронежск, обл. (Панин), ср. *Полонец, Полоница* в Поочье [37, с. 33, 38], ***Полта***, басс. Дона, Липецк, обл. (Панин), ***Попасный***, басс. Дона, Воронежск. обл. (Панин), ***Порой/Парой***, басс. реки Воронеж (Панин), ***Протолчь*** [16, стб. 319], ***Протълчь***, в районе днепровских порогов [39, с. 111], ***Прото́вч***, приток Орели, басс. Днепра [38, с. 450], ср. *Протолок*, в Поочье [37, с. 229], ***Псел*** [16, стб.

316], ***Пьслъ*** (XII в.), левый приток Днепра [38, с. 451–452], ***Птань***, приток Красивой Мечи, басс. Дона, Тульск. обл. (Панин), ***Ряса Становая***, приток Воронежа, в ее бассейне – *Маслова Р., Московская Р., Ягодная Р., Гущина Р., Раковая Р., Колодезная Р., Говейная Р.* (Панин), ср. *Ряса* в Поочье [37, с. 45, 185], ***Свишня***, басс. Дона, Липецкая обл. (Панин), ***Ситова Меча***, приток Красивой Мечи, Тульск. обл. (Панин), ***Снова*** (***Богатая, Кобылья***), басс. Дона, Липецкая обл. (Панин), ср. *Снов(ь)*, приток Десны [38, с. 514], ***Спъвь*** [39, с. 144], ***Сосна*** (*Быстрая, Тихая*), впадают в Дон на юг от Епифани [16, стб. 317; Панин: Орловск., Липецк., Белгородск., Воронежск. обл.], ср. *Сосна*, в Поочье [37, с. 23, 41, 140], ***Суверня***, басс. Хопра, Пенз. обл. (Панин), ***Супой*** [16, стб. 316], ***Супій***, род. *-ою*, левый приток Днепра [38, с. 540], < праслав. **sǫpojь*, иначе – и неубедительно – см. [31, с. 135, сн. 28], ***Талица***, приток Быстрой Сосны, Липецк. обл. (Панин), ср. *Талица*, в Поочье [37, с. 103, 104, 199, 250], ***Тауза***, приток Медведицы, Саратовск. обл. (Панин), ср. Уза, ниже, ***Тим***, приток Быстрой Сосны, Курск. и Орловск. обл. (Панин), ***Тименка***, приток Быстрой Сосны, Орловск. обл. (Панин), ***Толотый***, укр. *То́лотий*, яр, басс. Северского Донца, Харьковск. обл. [38, с. 568], ср. лит. *tiltas* 'мост', ***Тор, Торец***, впадают в Донец на юг от Белгорода [16, стб. 316], ***Труд(ы)***, впадает в Быструю Сосну [16, стб. 317; Панин: Орловск. обл.], ***Уза***, басс. Малой Медведицы, Саратовск. обл. (Панин), ***Усерд***, приток Тихой сосны, Белгородск. обл. (Панин), ***Утеча***, басс. Тихой Сосны, Белгородск. обл. (Панин), ***Хо́ртица*** [16, стб. 319], ***Хортицѧ***, приток Днепра [38, с. 593], ***Щигор/Щигра***, басс. Дона, Курск. обл. (Панин).

Связи с Поочьем у этой южной (юго-восточной) гидронимической группы невелики – десять самостоятельных лексических позиций из общего количества пятидесяти с лишним приведенных выше названий, но их не больше (если не меньше) и в отношении других восточнославянских регионов. Заметную долю – можно сказать, лицо юго-восточной гидронимии составляют названия-эндемики: *Идолга, Излегоща, Калитва, Меча, Непрядва, Обито́к, Плота / Полта, Толотый* и некоторые др. Их славянский вид и генезис весьма вероятны, хотя для этого иногда требуется сугубо этимологическая процедура: реконструкция редкого сложения с *и*-префиксом в *И́-долга*, древней основы на *-у(-й) *neprędy/ъve*, далее – особого древнего слова праслав. *plъta*, родственного глаголу **plyti*, практически неизвестного в славянских языках, в которых широко распространено **plъtъ* м.р. с отличной семантикой ('плот, плавсредство'), наконец, реконструкция особого праслав. *tьltъjь*, причастия от совершенно не сохранившегося в славянских языках глагола. Насколько мы можем су-

дить об исходной семантике отобранных выше эндемичных юго-восточных славянских гидронимов, речь идет почти исключительно о гидрографических терминах, характеризующих особенности воды, ее течения ('продолговатый', 'тинистый, грязный', 'непроточный', 'обтекание' и т.п.). По всем признакам, это древнейший разряд гидронимов. Картину архаичности (реликтовости) периферийной группы донецко-донских и левобережнодне-провских гидронимов довершит сравнение с большой группой славянских (праславянских) гидрографических терминов, специально собранных Удольфом [40]. Результат, как принято говорить в подобных случаях, превзошел наши ожидания: наших эндемиков в славянской гидрографии Удольфа **НЕТ**. Таким образом, если критично настроенный читатель питал какие-то сомнения по основному сюжету, развиваемому нами, продолжать настаивать на них и дальше станет, видимо, неудобно. Несмотря на все превратности своей исторической судьбы, **донецко-донской и приазовский гидронимический ареал – эта наша рабочая лингвистическая модель Азовско-Черноморской Руси – все еще хранит многие существенные черты славянской этноязыковой периферии**.

То, что засвидетельствовано в основном в гидронимии, – остатки более древнего состояния, остатки драгоценные, но неполные. Еще более недостаточна их изученность и, разумеется, наша способность судить по ним о древних этнических передвижениях. Феномен архаичной славянорусской гидронимии на Дону, в верхних двух третях его течения, как бы на подступах к Приазовью, бросается в глаза даже при первом взгляде, как впрочем, и его самобытность (отсутствие даже апеллативных баз) и оторванность от основного общерусского материка. Как складывается этот донской феномен, где лежат его истоки? Дело в том, что ни в Поочье, ни в Поднепровье мы, строго говоря, не находим ему соответствий, "что определенно противоречит известным в науке концепциям освоения Дона восточными славянами из Поочья или – наоборот – среднего Поочья вторично – с Дона", о чем я писал уже в своем отзыве о диссертации Н.И. Панина в 1982 г.

Несколько легче правдоподобно судить о том, как древнерусские племена Юго-Востока отступали (в основном – на запад?), теснимые степными племенами, а потом как следствие или своеобразная реконкиста пришло вторичное освоение Юга, "сползание", в том числе – сползание к югу ряда изоглосс. Во всем этом жила еще и народная память о том, что в древности Юг был доступен, он был наш. Это звучит и передается как завет прошлого, и, откликаясь на него, не один княжеский сокол слетел с "отня стола", "поискати града Тмутороканя"... Но неумолимое время

делало свое дело, и вернуться в прошлое оказалось невозможно. Возвратив эти самые южные русские земли в победный екатерининский XVIII век, мы застали на месте княжеской столицы скверный городишко. Впрочем, и сами мы были уже не те, что уходили отсюда в пору своего древнерусского единства. Возвращались мы в свое новое Прикубанье уже русскими переселенцами и украинскими казаками.

Все эти древние этнические передвижения (или, по крайней мере, их часть) в юго-восточном секторе орбиты древней Руси подпитывались донскими славянами, как их еще называют, говоря о них и об их выходе с днепровского Правобережья примерно с VIII в. [41]. Впрочем, славяне появились здесь скорее в еще более раннее время. Салтовская культура, распространившаяся сюда с аланизированного Предкавказья, наслоилась на местных славян, чьи типичные жилища-полуземлянки обнаруживают в долине Оскола с VI в. и даже уже с V в., считая возможным говорить о распространении здесь "культуры оскольско-пеньковского облика", причем второй, пеньковский компонент ее как бы паспортизует связь с правобережноднепровским славянством и древний приход оттуда. И хотя здесь была уже зона хазарского влияния, население всегда оставалось разноплеменным конгломератом из славян, иранцев-алан и тюрок. Есть вероятие, что именно здесь начал шириться этноним *Рус, Русь*, почему говорят о Донской Руси. Донская Русь, ее положение по отношению собственно Хазарии, с одной стороны, и Киевской Руси, – с другой, сохраняет в себе еще много нерасшифрованного. В силу этих и других причин внимание научной истории как бы соскальзывает с этого промежуточного, малоизвестного объекта, сосредоточиваясь на изучении двух главных субъектов древней восточноевропейской истории – Киевской Руси и Хазарского каганата. Примеры такого "растворения" исторического объекта вполне реальны в историографии. Тем выше должна быть наша признательность одиночкам-энтузиастам, будителям нашего исторического сознания, которые, как учитель истории из приоскольского села Волоконовка, умудряются "копать" в буквальном смысле наше прошлое и посильно помогают нам его осмысливать, см. специально [42].

Весь драматизм и даже трагизм, заключенный в нескольких словах о том, что Донская Русь ушла в прошлое и была позабыта, едва став даже понятием истории, а в лингвистике и вовсе не поспев отпечататься, может быть несколько смягчен одной немалой оговоркой. Потому что, если выяснится, что как раз на этих путях мы обрели свое имя *Русь*, размер абсолютных потерь несказанно умалится ввиду сохранения главного наследия. Но об

этом – впереди, а мы еще задержим свое внимание на земле, которая в эпоху "Слова о полку Игореве" получила уже горькое прозвание "*земля незнаема*", "*въ полѣ незнаемѣ*". Раньше она была и знаема, и обжита, и активно обживали ее особенно северяне. Именно они, как полагает историк, составляли основное славянское население Дона и Тмутаракани. Неслучайно Донец с раннего времени назван Северским [43, с. 20, 134]. Начав свой путь на Сейме и Суле, северяне ширили свои поселения на юг и юго-восток, дойдя до Северского Донца и Дона. Не остановились они и на этих рубежах. Как полагают, и город Тмутаракань "скорее всего мог явиться колонией северян" [9, с. 129]. Тому подтверждение – "постоянная связь Тмутаракани с Черниговом" [43, с. 28]. Устойчивые направления этнических передвижений накладывают отпечаток и на важные названия мест и вод, и в отношениях пары *Дон – Донец*, названиях главных рек региона, это читается до сих пор. Решить, что является главным руслом, а что – притоком, в отношении Дона и отнюдь не маленького Донца оказалось не так легко, и тут возможны были колебания, о которых нам также сообщают историки. Быть может, особенно с распространением салтовской культуры на этот регион аланское, осетинское *don* "вода" применялось в течение какого-то времени недифференцированно и к Дону, и к Донцу. Потом отношения подверглись уточнению, и читать их можно, думаю, в том же духе, в котором читаются уже известные нам примеры: *Великая Россия, Великороссия – Россия, Малая Россия, Малороссия*, а именно: "великое", как правило, знаменует направление миграции, экспансии. Интересно и в случае с Доном и Донцом увидеть на определенном этапе повторение этой ситуации; так, "Слово о полку Игореве" противопоставляет *Донъ великыи* (4 раза) и *Доньць*, то есть "Дон малый", особенно четко это наблюдается в выражении *отъ великаго Дону до малаго Донца*. Так – в "Слове о полку Игореве"; мы же читаем эти определения как дорожные указатели стойкого продвижения как раз в обратном, юго-восточном, направлении – "отъ малаго Донца до великаго Дону". В последующем употреблении эпитеты эти не удержались, осталось *Дон – Донец*, и лишь уменьшительный суффикс знаменует эту относительную "малость" Донца, который стал зваться к тому же Северским. Эта уменьшительность здесь – тоже черта древняя, ее успели зафиксировать в своем языке древние венгры, временно останавливавшиеся в этих краях: Dentu [44].

Конечно, картина останется односторонней и неполной, если искать только признаки продвижения и углубления славянского этноса в одном восточном и юго-восточном направлении. В этом регионе все же преобладали, а потом и возобладали вообще ми-

грационные тенденции с востока на запад. Надо сказать, что они разнообразно отразились и в ономастике. Вообще, если присмотреться, Подонье и Предкавказье генерировало и посылало далеко на запад, вплоть до Карпат, Дуная и Балкан различные важные импульсы, о которых мы теперь точно знаем только благодаря ономастике, ну и разумеется, этимологии. Так, именно в античном Танаисе на нижнем Дону обнаружен иранский (сарматский) ономастический прототип этнического имени хорватов (история застает потом уже древнерусское племя с таким именем на юго-западе Древней Руси, близкие по времени исторические известия о разных племенах славян-хорватов следуют по всей внешней дуге Карпат на западе, вплоть до Иллирии, уже на славянском юге). Меньше ясна в деталях траектория имени сербов, но у него тоже вероятен неславянский источник, и также вероятна его первоначальная локализация в Предкавказье, занятом весьма разнообразными этносами. Эти крайние примеры нам здесь потребовались именно как крайние, показательность которых в том, что они, как меченые атомы, переместились с очевидностью с востока на запад. Допустимо предполагать и наличие таких же "обратных" дорожных указателей меньшего масштаба, которые документировали бы языком ономастики разрушение территории северянской колонизации на юго-востоке и ее как бы "съеживание" в обратном направлении – к Сейму и Десне. Один такой пример во всяком случае достоин упоминания: это специально выделенная историком Северской земли Д.И. Багалеем *Бѣловѣжа*, город у реки Остер, впадающей в Десну [43, карта], для нас (да и для доблестных северян, думаю, тоже) – реминисценция о далекой, уже собственно хазарской, хотя и против них, северян, возведенной, Белой Веже (Саркел) в излучине Дона.

Известно, что объем понятия "Русь", "Русская земля" – величина весьма колеблющаяся, но в современной исторической науке, кажется, отсутствует глубокая реконструкция, и, может быть, не без воздействия торможения, исходящего от "варяжского вопроса", обычно после констатации вторичности включения в понятие "Русь" Смоленской, Владимиро-Суздальской и уж тем более Новгородской земли, еще в XII в. отличаемой новгородской летописью от собственной "Руси", довольствуются принятием положения, что первоначально Русь – это земля полян вокруг Киева [45, с. 152, 153]. Весь вопрос в том, насколько это действительно изначально и исторически верно. Ведь даже оставаясь целиком в рамках исторических (письменных) свидетельств, мы наталкиваемся на показания иного, отличного употребления, которых не имеем права игнорировать, как все же поступают в наше время – для самооблегчения – со всем южным комплексом Руси,

делая вид, что проблема Азовско-Черноморской Руси не существует. К вопросу о "Русской земле": историк Багалей давно обращал внимание на употребление еще в договоре Олега начала X века земли **русской** как места возможной гибели греческих судов, полагая вполне естественно, что речь шла о **морском побережье**, берегах Черного и Азовского морей [43, с. 24–25].

Есть все же возможность, исторически глядя на вещи, поставить в непротиворечивую связь друг с другом известия и данные исторических наук (истории, археологии), видимость противоречия между которыми чрезмерно преувеличивается. Я имею в виду уже приводившееся внешне парадоксальное мнение археолога, что "в I тысячелетии н.э. росы жили в Крыму, но в это время славянской Руси в Крыму не было" [23, с. 92]. Своими изложенными здесь наблюдениями над немаловажными реликтами древней славянской ономастики (гидронимии, топонимии) юго-восточного региона я, думаю, несколько ослабил излишне отрицательный заряд обычно обсуждаемого при этом комплекса сведений: пресловутое отсутствие славянских памятников до X–XI вв., преимущественно аланский генезис салтовской археологической культуры, которая к этому времени успела заполонить это пространство земли, случайную "похожесть" ономастического ряда *Рук-/Рок-/Рос-/Русь* как якобы "ничего общего между собой не имеющих" [46, с. 72]. Тот, кто думает так, тот – как минимум – не считается с реальностью жизненно важного феномена вторичного ославянивания **первоначально неславянских** этнонимов. Важнейшие примеры уже названы были мной: хорваты, сербы. Ведь и в ответ на наш возврат к старому сближению славянского названия сербов балканских – *Срб*, *Срби-* с именем так называемых сербов "античных", или севернокавказских, нашлись охотники апеллировать к тому аргументу, что между Волгой и Северным Кавказом нет древних материальных следов славян. Никто против этой очевидности не спорит, однако это еще не достаточный резон, чтобы отвергать самую мысль о поэтапном втягивании этого первично, разумеется, неславянского имени в славянское этноязыковое пространство на западе, относительно далеко от начального ареала имени, и требование определенной гибкости мысли, способной оценить постепенную славянизацию *sьrbъ, *sьrbi ← Σέρβοι, *Serbi*, не кажется тут лишним. Гипотетичность (но отнюдь не беспочвенность!) этого сближения состоит в том, что мы не располагаем **промежуточными** передаточными звеньями этой эволюции. В случае с Русью мы хотели бы установить эти недостающие промежуточные звенья, в чем и состоит для нас роль Азовско-Черноморской Руси, славянской с достаточно раннего времени, роль, предполагавшаяся и более ранними исследо-

вателями, но, как кажется, у нас впервые дополнительно подкрепляемая лингвистическими – ономастическими аргументами.

Прежде чем обратиться к традиционно используемым восточным источникам о русах, Руси и Северном Причерноморье, сначала задержимся на древнейших данных этого круга, черпаемых из пограничья археологии, древней истории и реконструкции. Не последнее место в совокупной картине этих данных принадлежит географическому, в том числе – лингвогеографическому аспекту (пространственной проекции) важнейших свидетельств. Принимая общую идею постепенной аланизации юго-восточного отдела Северного Причерноморья и главное ее направление – с Северного Кавказа дальше на север, мы вслед за нашими предшественниками обращаем внимание на весьма ранние известия о некоем народе *рус*, идущие с Северного Кавказа, приурочиваемые даже к восточной, дагестанской, части региона, бывшей в фокусе интересов политики и истории VI–VII вв. [47, с. 362 и сл.], что само по себе отнюдь не говорит о локализации народа *рус* именно в той отдаленной части Кавказа и в целом носит достаточно расплывчатый характер. Если угодно, более конкретным географически оказывается сообщение сирийской "Церковной истории" Захарии Ритора под 555 годом о народе *Hros* **по соседству с амазонками, то есть на Дону, в западной половине Предкавказья** [48, с. 355–356, 361]. Созвучие этого *hros* или *hrws* и имени народа 'Рῶς несколько более поздних византийско-греческих источников, приурочиваемого к смежным или тем же самым районам Северо-Восточного Причерноморья [49], конечно же, неслучайно. Именно этим реальным знанием этнонимии Северного Причерноморья середины или даже первой половины I тысячелетия н.э. навеяно одно якобы ошибочное место греческой библии, где (Иез. 38, 2) упомянут *князь Рос* (греч. 'Рῶς), тогда как в оригинале стоит древнееврейское *roš* 'князь, глава', см. дальнейшую литературу в [50, с. 69].

Попробуем предпринять некоторые уточнения этноисторической картины, насколько они представляются возможными. Дело в том, что относить все недифференцированно к аланской экспансии вряд ли будет правильно, особенно в связи с возможными древними носителями имени *Рос*. Полезно также вспомнить, что среди различных районов Северного Причерноморья Восточное Приазовье как раз не было скифским, оно последовательно оставляется за рамками собственно Скифии в трудах древних и наиболее авторитетных новых историков от Геродота до Ростовцева (ср. например концептуально звучащее название книги последнего – "Скифия **и Боспор**"). Собственно Боспор по обе стороны пролива, как и все Восточное Приазовье, были син-

домеотским, неиранским ареалом. На запад от Боспора Киммерийского простирается первоначально **неиранская** Таврика, подвергшаяся иранизации (аланизации) лишь вторично. Точно так же вторично, на глазах истории, было иранизировано (сарматизировано) Восточное Приазовье. Здесь самое время привести слова исследователя, который, во-первых, идентифицировал этническое имя *Рус, рус* как имя, охватившее значительную часть носителей салтовской культуры, а во-вторых, что для нас здесь, пожалуй, еще важнее, уточнил **исходный центр** последующего более широкого и, можно сказать, триумфального распространения и употребления этого имени: "Это название вначале было свойственно только какой-то группе аланского населения, жившего в западной части Северного Кавказа, возможно, вблизи Таманского полуострова" [51, с. 69]. В наших терминах это, правда, уже не земля алан, а, в соответствии с вышесказанным, земля особых племен синдов, дандариев "и всех меотов" (как это еще именуется в древней местной эпиграфике), праиндийских по своей языковой принадлежности. Так, местный инородный субстрат и – тоже относительно раннее – славянорусское наслоение замыкаются на одном и том же географическом центре: Синдика (азиатский Боспор) – Тмутаракань – Тамань.

Туземный приморский этнос *Рос* слыл воинственным и приверженным морским разбоям (и то, и другое просто повторяет черты народа тавров, к которому мы еще будем возвращаться). Его влияние на различные другие народы региона очевидно, и оно облекалось порой в форму перенятия этнического имени – черта, достаточно распространенная в эпохи не очень устойчивой этнической идентификации и самоидентификации (нередко попросту **отсутствие** этнического имени в таких условиях и на такой стадии развития означало лишь наличие вакуума, облегчавшего заимствование нового этнического названия). Попытки представителей отдельных дисциплин (германистов, славистов, список, наверное, можно продолжить, см. также ниже) заявить о своих правах на этноним *Рос* обоснованы недостаточно. Однозначно придется отвести мнение немецкого ученого, будто под именем *Hrōs* скрываются местные германцы, сюда же *Rosomoni* [48, с. 361, 365], что в такой форме неприемлемо, хотя и не исключено вторичное усвоение явно негерманского названия какой-то германской племенной группой, как это, в свою очередь, случилось с тюрками придонской области салтовской культуры, о чем говорит некая "*Русь-тюрк*" в Подонье, на карте Идриси XII в. [51, с. 67]. На тех же основаниях вынуждены будем отвергнуть и построения русского историка Иловайского с его презумпцией исконнославянского содержания имен *Русь, роксоланы* –

"по реке Роке... или Рос" [5, с. 74–75]. И, наоборот, близок к истине оказался необычайно проницательный Шлёцер, высказавший удивительную догадку, что громкие морские походы на Византию времен патриарха Фотия совершили – не Русь славянская, но и не Русь варяжско-скандинавская (NB!), а совершенно особые, дорюриковские, понтийские росы [52, ч. I, с. 56, 258; ч. II, с. 92–93, 109, 114], сходством в названии которых с Киевской Русью обманулись многие, начиная с "почтенного Нестора". Этого Шлёцеру так и не простили ни Гедеонов, ни Иловайский, считавшие, что гёттингенский историк просто "изобрел" этих особых понтийских 'Ρῶς'ов...

Но посильнее многих иных аргументов значится в одном договоре императора Византии с генуэзцами XII в. красноречивое по форме и говорящее само за себя имя города 'Ρωσία 'Россия', рядом с Таматархой – Тмутараканью [10, с. 308], и, как полагают, там же, где локализуются и более древние следы названия *Рос*, и относительно более поздние, впрочем, тоже с достаточно раннего времени, объединяемые общим понятием "Русь восточных источников". Некоторые из этих не всегда однозначно интерпретируемых следов кратко уже упоминались.

Есть сведения о некоем городе *Русия* и в Крыму (ал-Идриси, XII в.), см. [47, с. 403], но особенно упорно повторяются известия об острове *Русия* (ар-Русийа) у Ибн Русте (Ибн Дзета), начало X века, аналогично – у ал-Мукаддаси [53, с. 267; 47, с. 397–398]. Речь явно ведется не об одном или двух городах, географическую привязку которых к Керченскому проливу вряд ли можно оспорить (ср. выше греческую запись 'Ρωσία), хотя подобные попытки предпринимаются в современной литературе беспрестанно. По-видимому, о том же самом географическом объекте говорится в сочинениях ранних восточных географов **как об острове русов**, острове нездоровом, сыром, покрытом зарослями, расположенном среди маленького моря, ср. и поучительное указание Димашки, что русы населяют **острова в море Майотис** [54, с. 79, 80]. Море Майотис – это Меотида, Азовское море, а острова в полном смысле слова на этом море, у его южных берегов, – это участки низменной, сырой земли, разрезанные рукавами кубанской дельты. Это была целая своеобразная страна, правда, достаточно обозримая, небольшая по размерам. В частности, интерес представляет точная топографическая деталь, сообщаемая, например, у Ибн Русте, где говорится о русах, живущих на острове **длиной в три дня пути** [54, с. 78]. Три дня пути – это расстояние не больше 90–100 км. При взгляде на карту, с учетом элементарной топографической реконструкции (река Кубань до XIX в. еще впадала одним рукавом в Черное море, позднее сменив этот рукав на

азовское русло), мы отчетливо можем представить себе этот древний островной участок суши, ограниченный старым (черноморским) руслом Кубани на западе и другим важным ее рукавом – Протокой на востоке (вспомним, что именно там был расположен *Копыль* = **Utkanda*). И длина этого острова как раз примерно будет соответствовать 90–100 км, то есть трехдневному пути, по восточным географам. Страна древних русов располагалась в кубанских плавнях, где когда-то были земли античных синдомеотских племен – дандариев и собственно синдов. Здесь мы наталкиваемся на серьезное сопротивление со стороны части современных историков: "Помещать "остров" русов на юге в области Азовского моря оснований нет" [47, с. 403]. Особенно остро это связано с проблемой Артании. Речь идет о преданиях средневековых арабских географов о трех видах, или трех племенах, Руси: Куйаба, Слава (Славия), Артания (Арта, Арсания, Арса). Сейчас преобладает чтение Арсанийа (ал-Арсанийя), см. [47, с. 411, 413, 418; 3, с. 20; 55, с. 214]. На таком чтении можно было бы особенно и не настаивать, поскольку, по свидетельству специалистов, речь идет, в сущности, о приблизительной передаче недостаточными средствами русского письма и фонетики глухого межзубного согласного (араб. ·; · = англ. *th*), см. [53, с. 200], и в неменьшей степени соответственно было бы оправдано более "старое" и традиционное чтение *Артания*. В его пользу, кстати, говорило бы и этимологическое сближение *Артания* и *alla Tana* средневековых итальянских документов, лежащее, так сказать, на поверхности явлений, но в литературе почему-то мне нигде не встретившееся; я впервые услышал о нем от своего покойного друга, не лингвиста по профессии – художника-реставратора Воронцовского дворца-музея в Алупке Л.Н. Тимофеева и, в общем, склонен видеть именно в нем толкование, наиболее глубоко и непротиворечиво осмысливающее все имеющие сюда отношение формы. Смысл в том, что в элементе *Tan(a)* обеих приведенных выше форм скрывается название реки Дон (я здесь не касаюсь дублетного отношения Ταυάις – Дон, которое, конечно, заслуживает особого комментария, предположительно уводящего далеко за хронологические рамки нашего изложения; для меня в данном случае существенно, что до сих пор дублетность *d/t* в этих названиях Дона не считалась препятствием для их тождества). Что касается начала названий *alla Tana* и *Artania*, то в обоих случаях можно подозревать преломленное отражение более глубокой языковой старины, в итальянском случае – обыгранное в духе романской народной этимологии как якобы сочетание предлога с грамматическим членом *alla*, вторичность чего сразу видна при сравнении с "похожим" началом *Ar-* арабского случая. Кстати,

другой, обычно игнорируемый вариант на *Ау-* (русск. *Ау-*) [53, с. 193], возможно, значительно приближает нас к туземному звучанию предлога-приставки **au-* (ср. **au-sili-* и уже обсуждавшиеся выше возможности сохранения здесь следов оборота "по Дону, По-донье". Но это моя точка зрения, вместе с попыткой ее объяснить, и она резко отличается от господствующей в нашей отечественной истории сегодня, где выбор в пользу чтения *Арсания* произошел скорее не по фонетическим и палеографическим, а по "идеологическим", так сказать, мотивам, например, по большему соответствию чтения *Арс-* северной, варяжской концепции Томсена, который усматривал в названии третьего племени *Артаниах* у аль-Истахри, аль-Балхи (X век) "какое-нибудь финское племя" – мордву, эрзя или пермь [56, с. 35]. Понятно, что чтение *Арсанийа* формально лучше "соответствует" сближениям с Арзамасом, Рязанью или эрзя, однако это очень напоминает конструкцию ad hoc. В том же русле идут дальнейшие и нам не очень понятные поиски третьей страны русов "где-то на севере Восточной Европы", например, "в районе Ростова – Белоозера" [47, с. 403, 419], ср. так же [57, с. 205 и сл.]. Откровенными издержками интерпретаторства в этой области и даже его тупиком считаю попытку призвать тут на помощь "Ж. Дюмезиля и его школу", "тернарные (троичные. – *О.Т.*) структуры", когда автор, находясь под гипнозом числа "3" и отчаявшись локализовать третью Русь, заявляет нам о "сакральной функции Арсы" [58, с. 148]. С реальной историей это имеет мало общего. Гораздо более информативным и объективным нам покажется старое уже территориальное отождествление Артании и Тамани, **включая** северо-восточную **часть кубанской дельты** "между северным рукавом Кубани, или Черною Протокой, и Курчанским, или Верхнетемрюцким лиманом. Эта низменность наполнена плавнями, т.е. тростником и болотами" [5, с. 291 и сноска]. Ср. и самостоятельные поиски Соболевского в этом же направлении и его чтение *Артания* как **Вар-тан* "дельта Кубани", – сюда же Οὐαρδάνης 'Кубань', а также *Дон*, *Танаис* [25, с. 57], в котором трезвой комбинаторики все же больше, чем в вышеназванных северных поисках среди Арзамаса, эрзи и Рязани. На слабость последних по части исторического реализма совершенно справедливо указывал Б.А. Рыбаков: "Пренебрегая тем, что ученые Халифата вплоть до середины X в. весьма смутно представляли себе северную зону Старого Света, авторы новейших работ о восточных источниках многократно пытаются убедить в том, что русов (имеются в виду "русский каганат" и "остров русов" арабской географии. – *О.Т.*) следует искать не на южной окраине славянского мира, а где-то далеко на севере..." [21, с. 175].

Большая загадка русской истории и филологии – происхождение названия *Русь* – все еще служит предметом споров между двумя лагерями ученых, представляющих соответственно две группы аргументов и контраргументов, северную и южную. Я далек от непосильного намерения изложить здесь подробно всю историю вопроса, да это, может быть, и не нужно, поскольку есть не только литература вопроса (в которой, пересказывая ее более или менее подробно, можно утонуть надолго...), но и – что существенно – есть также современные компактные очерки состояния проблемы, и мы будем их касаться в дальнейшем. Мне показалось более интересным и актуальным выделить здесь, в первую очередь, то, что может быть сказано нового, наряду с критической сравнительной оценкой того, в какой степени южная и северная школы сохранили либо, vice versa, утратили свою перспективность. Надеюсь, что мое словоупотребление абсолютно прозрачно – в том смысле, что под "северной" я понимаю норманистскую школу, а под "южной" школой – антинорманистскую, стараясь, таким образом, не без умысла, избегать, по возможности, всяких терминов на "анти-", порядком приевшихся и даже дезориентирующих мысль, давая пищу политическим толкам. Ни в малейшей степени не замахиваясь на решение проблемы происхождения русского государства, которую научная и околонаучная общественность все еще охотно связывает с "варяжским вопросом",что в устах средств массовой информации обретает порой просто вульгарные формы*, я вместе с тем отнюдь не исключаю, что даже преимущественно историко-филологическое рассмотрение вопроса *может* прояснить, со своей стороны, и историю политики (вспомним слова Александра Брюкнера, процитированные в начале очерка). Если я в своем изложении следую направлению с юга на север – направлению, которым следовало развитие истории, и если я, далее, все же избираю свой вариант "южной", а не "северной" школы, я искренне хотел бы надеяться, что читатель, независимо от того, чью сторону он сам принимает, внимательнее приглядится к моим научным филологическим аргументам. Сейчас, когда все (или многое) рушится или демонтируется, вряд ли благоразумно относить к числу демонтируемого, скажем, версию южного происхождения слова **Русь только на том основании**, что, как сообщают нам историографы,

* Так, недавно, а точности ради – в среду, 17 февраля 1993 года, специальная передача, посвященная русскому вопросу, по Московскому телеканалу центрального телевидения, содержала в своей вступительной, исторической части буквально следующие слова, произнесенные дикторским голосом (за кадром) бесстрастным тоном непререкаемого оракула: "Так начиналась Русь Киевская, или Варяжская..."

"мнение о южном происхождении термина Русь" "в советской науке побеждает" именно в 1940-е годы [50, с. 161], а в те годы, как известно, царил сталинизм, и вот – испытанный силлогизм готов, в том духе, что автор, побуждаемый "ложно понятым патриотизмом", "реанимирует" "официальную" версию. Нет, в "южной" школе, и именно в ней, еще много такого, что может быть углублено и развито, заслуживает, в общем, самого пристального изучения и, в конечном счете, заставляет нас склониться в ее пользу. Это "многое" поддается формулировке в духе ответов на два важнейших вопроса: 1) насколько рано интересующее нас имя выступает на Юге и на Севере и 2) какой путь целесообразнее избрать, дабы расшифровать "неопределенность значения" названия *Русь*, которую и триумфирующий норманизм все же вынужден был признать [56, с. 34].

Начнем с того, что на Севере, даже на русском, новгородском Севере имя *Русь* было распространено слабо и прижилось уже на глазах письменной истории, что уже априори, кстати, делает сомнительным попытки исконно русской этимологии *Русь* < *Руса*, *Старая Руса*, *Неруса*, *русло* или, скажем, *русый* – светлый, светловолосая [59, с. 48]. Но интересно, далее то, что и балты, жившие южнее новгородских словен, тоже долго не знали "этого общего наименования восточных славян" [60, с. 118].

Наш острый интерес вызывает упомянутая проблема ранних датировок имени Русь. Дело в том, что его датировка **имеет неуклонную тенденцию к удревнению именно на Юге**. Обычно "первое не вызывающее сомнений упоминание" связывают с IX веком, указывая прежде всего дошедшее до нас коротенькое сочинение анонимного баварского географа [59, с. 39]. Возьмем тот факт, что в этом достаточно своеобразном "Описании городов по северному берегу Дуная" [61] четко названы *Ruzzi*, собственно, латинский плюраль "русы", причем названы в недвусмысленном контексте, по соседству с хазарами (*Caziri*), что как бы возвращает нас в Приазовье и Подонье, туда, где, по Идриси (XII век), была какая-то особая "Русь-Тюрк", скорее всего, полиэтническая и генетически не славянская, но с перспективой постепенной славянизации, усвоения собственно славянской Русью. Другое, еще более знаменитое, упоминание росов, Руси IX века принадлежит так называемым Бертинским анналам под 839 годом [62]; этого известия, одного из краеугольных столпов варяжского (норманского) вопроса, мы коснемся ниже специально. Примерно серединой того же века датируют известия о набегах с моря на Византию "варваров Рос" с их таврской ксеноктонией (обычаем убивать чужеземцев) [63]. Нет достаточных оснований связывать этот "информационный взрыв" известий о племени Рус, Рос

IX века с активностью северных германцев в том же и последующих веках. Здесь отметим прежде всего, что, например, последнее известие из византийского жития св. Георгия Амастридского слишком уж явно тяготеет к характерной выделенной нами выше зоне, охватывающей часть побережий Приазовья и Причерноморья. Именно здесь выявляются дальнейшие перспективы не только этнической привязки, но и значительно более глубокого удревнения и в целом – формального разнообразия соответствующих свидетельств, а также раскрытия, прочтения их этимологического значения.

Уже в начале своего рассказа о Руси Азовско-Черноморской и о том, куда достают ее корни, я кратко назвал группу слов и географических названий, которые целиком принадлежат древнему местному дославянскому субстрату и образуют как бы два заметных анклава, один более или менее приурочивается к древнему Боспорскому царству и позднейшему Тмутараканскому княжеству, другой – к Днепро-Бугскому лиману и примыкающей исторической Синдской Скифии (Scythia Sindica). Эти оба района не изолированы друг от друга, если принять в расчет соединяющие их случаи из таврского этнического пояса. Если добавить сюда определенную радиацию – главным образом, думаю, из приазовского региона на север от Азова, в зону "Русь-Тюрк" (см. выше), то мы получим довольно реальное представление, **как** и **откуда** все начиналось. Вот эти имена (я занимаюсь ими более обстоятельно в серии своих статей по индо-арийской проблеме к северу от Черного моря, обзор которых занял бы слишком много места, а поскольку моим намерением является объединение всех этих работ в монографическом как бы издании, я позволю себе ограничиться здесь обобщенной ссылкой на эту рукопись под названием "INDOARICA в Северном Причерноморье"): ***Roka-/*Rauka-***, сюда относятся *Rocas/Rogas*, народ у Черного моря, по Иордану (см. об этом выше), с вскрываемым на индоарийской (праиндийской) языковой почве нарицательным значением 'светлый, белый', ср. древнеиндийское *roká-* 'свет'; ***Roka-ba/*Ruka-ba-***, в общем сюда же, название местности по Нижнему Днепру; ***Ruk-osta-/*Ruk-usta-*** 'светлое устье', откуда *Уркýста*, *Рýкуста*, деревня в Юго-Западном Крыму, ср. др.-инд. *ruk-* 'свет, блеск', *óṣṭha-* 'губы, уста'; ***Ruksa-tar-/*Rossa-tar-*** 'белый берег', откуда *Rosso Tar*, место на западном берегу Крыма в средние века, ср. др.-инд. *rukṣa-* 'блестящий', здесь – с весьма заметным диалектным упрощением *ks* > *ss*; ***Ruksi-*** в составе племенного названия Ῥευξιναλοί (декрет Диофанта, II в. до н.э., место действия – Таврика) интересно как своей формой на *-i*, с потенциальным дальнейшим развитием **Ruksi-* > **Russi-*, весьма знаменательным для нас, так и глубокой хронологией; в относи-

тельной близости расположены кучно, на восточном берегу Боспора Киммерийского (Керченского пролива), записанные Птолемеем (II в. н.э.) и писателем уже раннего византийского времени Стефаном Византийским, – города Κορουσία, Γέρουσα, Ἀστερουσία, в нашей догреческой реконструкции – ***Ko-rusia**, **Ge-rusa**, **Asta-rusia**, все – с значащим компонентом ***Rusa**, ***Rusia** в составе, тождество которого с местным же городом Ῥωσία (о нем – выше), как и со всем приведенным выше рядом наших цветообозначений, нельзя не видеть. Таким образом, упоминание сирийским автором VI в. Захарией Ритором где-то к северу от Кавказа, близ Дона, **народа рос** [50, с. 69] имеет под собой довольно реальную почву. Именно на этой почве оказалось возможным осмысление библейского "Рош" (Иез. XXXIX, 1) как псевдоэтнонима. Таким образом, не один IX век, но практически все I тысячелетие оказывается довольно равномерно заполнено свидетельствами нашей корневой группы. Индоарийская языковая принадлежность этих свидетельств для нас довольно очевидна: иранская форма от **rauka-/*ruk-* выглядела бы иначе – *rux-* (оставляем здесь в стороне другие, словообразовательные, отличия иранского продолжения этого общего индоевропейского корня **leuk-* 'свет, светить, белый'). Мы отмечаем все это здесь специально, поскольку в умах и писаниях наших историков все еще бродит альтернативное предание о скифо-сарматском (то есть иранском) происхождении слова *Русь*, лишенное, как я думаю, лингвистической опоры.

Вообще же круг туземных форм ономастики Северного Причерноморья, объединяющихся вокруг обозначенного выше **ruksa-/*ru(s)sa-* 'светлый, белый', может быть пополнен. Сюда, с большой долей вероятности, относится, например, иначе не объяснимый термин Константина Багрянородного для северо-западного побережья Черного моря: Χρυσός Λεγόμενος. Попытка прочесть это по-гречески ("называемый Золото") лишь обнаруживает народноэтимологическую, вторичную природу осмысления в связи с греческим Χρυσός 'золото' совсем не греческого местного названия, которым не могло не быть наше **ru(s)sa-* 'светлый, белый'. Следы его не ограничиваются серединой X в. (эпоха Константина Багрянородного), и я хотел бы выделить это особо, имея в виду заявленные выше ресурсы удревнения аргументов южной школы. Так, с нашей точки зрения, указанное осмысление местного индоарийского **russa-* 'светлый, белый' как греческого Χρυσή представлено еще у греческого писателя Евсевия, умершего в **первой половине IV века**. Область под таким названием упоминается у него в ряду народов и стран северного Понта и Кавказа: ...ἐν πᾶσι τοῖς ἐξ ἀρκτικῶν μερῶν τοῦ Πόντου ἔθνεσι, καὶ ὅλῃ τῇ Ἀλάνιᾳ καὶ Ἀλβανίᾳ καὶ Ὠτηνῇ καὶ Σαννίᾳ καὶ ἐν

Χρυσῆ... [64, с. 664]. Интересно, что греки **помнили** значение нашего туземного северопонтийского названия **ru(s)sa-*. То, что дело не ограничивалось его глухим отражением в виде "греческого" Χρυσή, Χρυσὸς Λεγόμενος, хорошо видно по территориальному совпадению хотя бы Χρυσὸς Λεγόμενος и чисто греческого обозначения Λευκὴ ἀκτή '**белый берег**'. Но помнили о значении туземного названия и люди древней, собственно Киевской Руси, как о том нам ярко свидетельствует древнерусское обозначение устья Днепра – Бѣлобережье. Мотив его называния ***белым*** не в том, что "тут на поверхню виходять вапняки"... [39, с. 27]. Я давно уже думаю об отражении здесь, то есть в *Белобережье*, Χρυσὸς Λεγόμενος, туземном *Rossa Tar* (буквально 'белый берег') древней местной традиции называть Северное Причерноморье '**Белой, Светлой стороной**', о чем уже писал, ср. и один из откликов в [65].

Обилие относящихся сюда свидетельств, к которым продолжают присоединяться новые, достаточно красноречиво, как и их формальное разнообразие, о котором придется сказать и далее. Простое перечисление рассмотренных выше **Roka-*, **Ruka-*, **Ruksa-/*Russa-/*Rossa-*, **Ruksi-/*Russi/*Rusia* говорит само за себя. Эти данные практически еще плохо используются для этноисторической аргументации, хотя интерес представляют неоспоримый. Взять хотя бы один только этот боспорский город Ῥωσία, поздний, с нашей точки зрения (XII век), и все же не случайно на добрых два века опережающий по времени греческую форму названия нашего отечества – Ῥωσία, которая, по мысли некоторых ученых, даже обязана своим употреблением в нынешней форме (**Россия!**) византийской канцелярии... Очевидно, дело было не совсем так, как обычно думают. И пережиточные следы древнего значения туземных южных форм (выше), откуда мы, как читателю, надеюсь, уже стало понятно, выводим наше *Русь*, *русский*, все же гораздо лучше сохранились, чем можно было бы думать.

Опуская здесь целиком свою попытку осмысления *Русь*, **Ruksi*, **Russi* в духе пространственной (географической) ориентации – 'белая' в смысле 'западная (сторона)'*, я бы выделил в

---

* Аналогичную – внешне – попытку объяснить *Русь* из алан. (иран.) *ruxs* "светлый" [см. историю вопроса в [66, с. 128 и сл., особенно – с. 172] и соответственно – связать с именем роксоланов (ир. **ruxs-alan-*) мы отводим, возвращая читателя к тому факту (см. выше), что, судя по всему, именно в прибрежной полосе предположительно индоарийских диалектов преимущественно выступают примеры "пракритического" упрощения *ks* > *ss* (*Rosso Tar*, Κορουσία, Γέρουσα, Ἀστερουσία, Ρωσία, выше), наряду со случаями "задержки" перехода (Ῥευξιναλοί).

связи с только что сказанным показавшееся мне остроумным наблюдение Б.А. Рыбакова, который увидел разительное сходство между употреблением титула *свет-малик* 'свет-царь' у южных русов Ибн-Русте начала X в. и троекратным упоминанием *светлых князей* в договоре Руси с греками 911 года, то есть практически того же времени [21, с. 173]. Оценку важности этого случая можно даже усилить, указав на то, что в третьем примере такого рода в договоре Олега (1. иже послани от Олга, великого князя Рускаго, и от всѣх, иже суть под рукою его, свѣтлых и великих князь... 2. ...от сущих подъ рукою наших князь свѣтлых... 3. ко княземъ нашим свѣтлым рускым...), см. [13, с. 46, 48], мы видим замечательное соседство свѣтлым рускым, которое еще сохраняет характер глоссового осмысления, перевода: *рускыи* = *свѣтлыи*. А то, что традиция понимания значения *Русь* 'светлая сторона' сохранялась очень долго, до нашего времени, не только вполне возможно, но и заслуживало бы выявления и специального изучения, как этот далевский народный пример *русь* '(белый) свет' (Даль IV, 114), цитируемый мной по [39, с. 119].

Если в Приазовье, действительно, имеет место «этническое скопление "белых"» [67, с. 196], то его отражения и продолжения, с большой долей вероятности, простирались и дальше, на север, в аланизированный регион, где они могут выступать в аланизированной форме, например, название *Rochouasco* в Орозии короля Альфреда (IX в.): "И эта река Данай течет оттуда на юг, на запад от алтарей Александра, в [землю] народа Рохоуасков" [68, с. 23, 27]. *Rochouasco* – это, по-видимому, не роксоланы, вопреки Г. Лябуде и В.И. Матузовой, скорее всего это иной реликт, причем – не на верхнем Дону (Рохоуаско находится на юг, по течению реки Данай-Дон, см. выше), а в той важной излучине этой реки, где был *Саркел/Белая Вежа*. В этом контексте *Rochouasco* читается нами как **ruk-vaska-* 'белый дом' и вполне может идентифицироваться как индоарийский (меотский, иксоматский, на Дону) реликт, позднее отраженный, калькированный тюркским (хазарским) *Саркел* и древнерусским *Бѣлая Вѣжа* 'белый дом'. Ср. др.-инд. *ruk-* 'блеск' (здесь – в аланизированной форме, с аспирацией: *rux-*), *vāsá-* 'жилье'.

Таким образом, Русь имеет хорошую привязку, максимально древнюю хронологию и получает осмысленную этимологию (прочтение первоначального значения) именно на Юге. Севером в этих аспектах мы посильно еще займемся далее, хотя уже априори сомнительно, чтобы там обнаружился материал, способный соперничать с изложенным выше – пункт за пунктом. Есть еще один аспект нашей проблемы, который опять-таки решается в духе южной школы, иначе мы упираемся в тупик. Я имею в виду

такую общеизвестную особенность, как "двойственную огласовку корня" *у/о*: *Россия – Русь*. В свое время предпринята была энергичная попытка противопоставить их как южно-северную двойственность первоначально не связанных между собой (!) названий, причем формы на *-у-* указывались исключительно на севере (*Русь, Порусье, Старая Руса*), а на юге будто бы только на *-о-*: библейское и византийское Ῥως и так далее, включая собственно форму *Россия* [69]. Я не стану входить здесь в детали толкования автора, но, на мой взгляд, он ошибся в главном: обойдя вопрос происхождения древних южных форм, имеющих сюда отношение, он был не в состоянии заметить и оценить тот факт, что "двойственность" *о/у* есть не более как отражение древнего индоевропейского чередования гласных в его местном, индоарийском, варианте *Rok-*(**rauk-*), *Ruks-*, *Ross-/Russ-*. **Оба варианта** – на ***-о-*** и на ***-у-*** **изначально представлены на юге**. Это очень существенно, потому что последующие десятилетия не внесли в вопрос ни малейшей ясности, ср. красноречивое признание, что "замена *-у-* на *-ω-* (в Ῥῶς по отношению к *Русь*. – *О.Т.*) не имеет объяснения..." [70, с. 189]. Свое объяснение наличием органических корней этого двойственного чередования гласных на Юге мы постарались только что дать (выше), полагая, вместе с тем, что необходимо назвать и явно неудачные искания последних лет на эту тему. Например, Прицак в своей новой обширной статье повторяет старый тезис о том, что вокализм византийского Ῥῶς навеян библейским, древнееврейским *rōš* 'главный князь' (греч. ἄρχοντα Ῥώς, Иез. 38), тогда как огласовку *ар-Рус* (Ибн Хурдадбех) он считает "рейнской формой" (71, с. 116–117, 123], что с лингвистической стороны осталось для меня непонятным. Впрочем, к деталям "западной" версии Прицака мы еще вернемся. Более "аккуратный" характер носят, оставаясь притом исторически неточными, попытки истолковать *-о-*формы нашего имени *Русь* как "грецизацию", см. [59, с. 41], вслед за Фасмером, хотя сводить "среднегреческое" οἱ Ῥῶς к отражению древнерусского *Русь* [72, с. 239] значит игнорировать собственные давние южные корни и наличие северопонтийского ареала этого Ῥῶς. Для полноты картины могут представить интерес и материалы диалектологии собственно греческого языка, в частности, содержащие указания на возможность замены также о или ω на ου, см. [73, с. 53, там же сведения о дальнейшей литературе].

Вопрос о происхождении имени *Русь* объективно сложен, о чем свидетельствуют, в частности, дополнительные "затемнения" на пути к его решению, одно из них – возникшая как бы попутно, помимо уже классических "северной" и "южной" школ, та, которую мы условно назвали выше "западной версией". Кратко

скажем и о ней, не скрывая от читателя, что речь все же идет о недоразумении, хотя и этой версии сочувствуют несколько ученых. Назовем двух из них – Ловмяньского, который на этот счет совсем краток, в обстоятельной главе V "Происхождение и значение названия *Русь*" своей уже известной нам книги [70, с. 170] он вспоминает, что "доказывал, что русами назывались жители острова Рюген..." – и особенно, конечно, также уже упоминавшегося профессора Гарвардского университета Прицака, статья которого [71, с. 124, 125, 126] просто изобилует странными утверждениями также и по этому поводу. Суть же вот в чем. Епископ Адальберт, побывавший в Киевской Руси, у княгини Ольги, пишет о ней как о "королеве ругов" (regina Rugorum). Руги, или Ругии (в латинизированной записи) – германское племя в Южной Прибалтике, их название, довольно ясно связанное с германским названием ржи (**rugi*), оставило по себе память в названии острова Rügen. Двинувшись, подобно готам, на юг, ругии с V в. – на Дунае, то есть в центре Европы [74, стб. 1468], что делало их хорошо известными в тогдашнем европейском мире. Необходимо добавить, что книжники всей культурной Европы того времени – с франкского Запада до византийского Востока – отнюдь не следовали правилу именовать народы, особенно живущие на периферии европейской ойкумены, "своими" именами. Как правило, на более отдаленные народы переносились известные в литературе, укоренившиеся старые имена, порой лишь созвучные с туземной этнонимией. Не считаясь с этим каноном тогдашнего литературного "хорошего стиля", мы ничего не поймем в чисто литературной дальнейшей радиации "ругов", ибо перенос их имени на "варварских" русов ничем иным не был. Прицак теряется в догадках, "почему Адальберт... спутал... ее (Руси. – *О.Т.*) народ с древнескандинавскими ругами", явно недооценивая ученость епископа, который отнюдь не "путал", а лишь изящно переносил название народа ближнего на отдаленный. Точно так же греки якобы "путали" с русами тавроскифов: ученая традиция (или мода), идущая обычно вослед расширению ближней ойкумены. При этом этнические названия обычно переносились по направлению с юга на север и с запада на восток, в общем – путем, которым шла и христианизация Европы. Вот и весь секрет ругов. Почти все остальное, что еще утверждает о них Прицак, пожалуй, столь же абсурдно. А он выстраивает целый ряд **Ruti* > **Rudi* > **Rugi*, необходимый ему, чтобы увязать их с рутенами. Но дело в том, что и имя *Ruteni*, обозначавшее первоначально кельтское племя в Аквитании (юг Франции) [74, стб. 1471], было в латинской литературе средневекового Запада также употреблено о Руси (XI в.), и эта радиация просуществовала почти до середины XX в., ср. нем.

Weißruthenien – о Белоруссии. Мы не станем дальше развивать здесь эту продуктивную тему, для нас важнее показать беспочвенность громоздкого построения Прицака, будто названия *Russ-/Rus-* оказались перенесены в Восточную Европу "рутено-фризско-норманской торговой компанией"... Из всего нашего предыдущего изложения ясно, что вторичные европейские литературные традиции лишь наслаивались на созвучные самобытные и эндемичные для Юга Восточной Европы звукокомплексы типа **rus-* 'белая сторона', попавшего своими путями и в письменность Востока (араб. *ar-Rus* и др.). Чтобы закрепить прозвучавший выше тезис о вторичном ученом переносе некоторых этнических названий из более южных в более северные части Европы, добавим такой пример, который мы по сей день активно употребляем в своей речи. Это прилагательное *датский*, которое сейчас преспокойно воспринимается как "производное" от *Дания*, тогда как на самом деле *датский*, а точнее *дацкий*, образовано от названия южной, карпатской страны римского времени *Дакия* (лат. *Dacia, Datia*) и первоначально могло означать только '**дакский**', а на скандинавскую страну Данию перенесено лишь впоследствии, см. [28, т. 1, с. 485], ср. совершенно аналогичное, хотя и более эфемерное, употребление названия римской приальпийской провинции *Noricum* и ее населения – *Norici* применительно к Норвегии и норвежцам. Именно в эту модель расширительного, переносного употребления укладываются рассмотренные выше рутены и ругии. **Подобные переносы с севера на юг нам неизвестны**, да они и противоречили бы магистральному направлению исторического развития. Точно так же – с Юга на Север – была перенесена и расширительно употреблена Русь северопонтийская, таврическая, придонская, приазовская – на Русь славянскую, в том числе днепровскую, и так – вплоть до "Руси" варяжской, о чем мы еще будем говорить, рассчитывая, что все предыдущее наше изложение построено, чтобы облегчить и сделать понятнее этот непростой путь. Путем этнической метонимии шло с юга на север и имя тавров – сначала мифическое, потом этническое название, которому уже в Северном Причерноморье суждено было причудливо скрестить свои судьбы с именем *росов/ > русов*, и это могло обернуться по-разному. Но сначала, в глубокой древности, был культ божественного Тавра-Быка на одном из бесчисленных островов греческой Эгеиды. Полагают, что поначалу Таврикой был остров Лемнос, хоть и необязательно точно локализовывать древний миф. Но уже до Геродота "легенда о мифической Таврике... была приурочена к Крымскому полуострову, название мифических тавров перенесено на местный народ..." [75, с. 132, 133, 142, 144]. Начало, как видим, было

более, чем причудливым, но важно продолжение. Имя тавров не имело корней в нашей Таврике, в самих таврах, индоарийцах по языку, как я теперь думаю; не было оно, по всей видимости, и самоназванием этого замкнутого, жестокого к иноземцам племени. Но мощь греческого книжного влияния и употребления, пришедшего сюда с расширением греческой ойкумены, не следует преуменьшать, его отпечаток на формирующихся самоназваниях местного этноса в регионе также вполне вероятен.

Ведя наименование Руси из Северного Причерноморья, мы вправе вспомнить, что оттуда же, согласно древним свидетельствам и надежной этимологии, идут и названия двух других славянских народов – сербов и хорватов, которым для того, чтобы внедриться в славянский мир, предстояло проделать гораздо более долгий путь, чем названию Руси славянской, **одним из факторов формирования которой было соседство с северным берегом Черного моря**. Не будет большим преувеличением признать здесь наличие очага этнообразующих влияний.

Полностью не исключая возможности, что характерная форма на *-і Русь* генеалогически связана с формально близкими южными дославянскими **Ruksi*, **Rusia*, описанными выше, мы хотели бы подчеркнуть здесь правильность наблюдения, что название *Русь* органично включилось как собирательное в ряд таких же собирательных имен русского языка, в число которых входят, наряду с апеллативной лексикой, также этнонимические обозначения: *знать, чернь, челядь, Чудь, Весь, Корсь* [76]. Нельзя не видеть чисто славянского, славянорусского словообразовательно-морфологического облика этих образований. Примеры вроде польск. *Siewierz* (из древнего **sěverь*), центр старинного княжества к западу от Вислы, и др.-русск. *сербь* 'сербы, Сербия' начисто опровергают мнение, будто названия с конечным *-ь* обозначают только неславянские народы, а *Русь* как название **славянского народа** составляет среди них единственное исключение [46, с. 70]. Способность собирательной модели на *ь/і* обозначать также неславянские народы, в свою очередь, замечательна, но она, во-первых, дает основание говорить о продуктивности данной модели как **славянской**, а во-вторых, в разряд имен на *ь/і* попадают наименования довольно разных народов, окружающих славян, и отнюдь не только финноугорских племен, как можно понять [46, с. 76]. Иначе говоря, сюда относятся не только *весь, ямь/емь, пермь, чудь* (о чуди, впрочем, скажем особо), но и *Скуфь* 'Скифия' (Повесть временных лет), термин, созданный на юге, для передачи византийско-греческого Σκυθία и старопольское *Sás* 'Саксония', термин, возникший на западе, и, также старые польские обозначения соседних балтийских племен – *Żmudź* 'Жмудь,

Жемайтия, Нижняя Литва', *Jaćwież* 'ятвяги', ни одно из которых не имеет отношения к финским племенам Севера, сюда же и древнее русское *голядь*, название окраинного балтийского племени. Таким образом, стремление излишне изолировать имя *Русь* от славянского словообразования и вообще – утверждать, что "... другие славянские языки не обладают этнонимией этого словообразовательного ряда" [46, с. 77] – не выдерживает критики. Как раз о былой **продуктивности** этой славянорусской модели и ее способности излучать новообразования не только в южном и западном направлениях, **но и в северном направлении**, свидетельствует распространение слова *чудь*, древнего русского названия старого финского населения северных губерний, вплоть до саамских диалектов, подробнее см. [28, т. IV, с. 378].

Обращая теперь свои взоры на север, остановимся на эпизоде переходном, который северная школа склонна толковать однозначно и даже опирается на него в своих выводах, тогда как в действительности все зависит от угла зрения и других весьма конкретных условий, включая этнопсихологию и политику той далекой от нас поры. Так, если видеть все однозначно, то как будто ничто не мешает слова послов о себе – "мы оть рода руска (вар. рускаго)" – в договорах Руси с греками 911 и 944 годов ставить в один ряд с фактом, что послы эти в основном носили **скандинавские имена**. Отсюда вывод северной школы: русь – скандинавы. Столь же однопланово и, казалось бы, исключительно удачное в духе северной школы свидетельство представляют Бертинские анналы, сообщая под 839-м годом о том, что к германскому императору прибыли транзитом через Грецию "некие люди", уверявшие, "что они, то есть их род, зовутся рос" (qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant), а поскольку император навел справки и выяснил, что "они принадлежали к роду свеонов", то есть шведов (eos gentis esse Sueonum), он принял этих подозрительных людей за шпионов (цитаты из анналов – по [70, с. 174–175]). Коротко говоря, в глазах северной школы, это, как и предыдущее свидетельство ("мы отъ рода руска"), – вернейший аргумент в пользу реальности употребления *Русь* как скандинавского племенного самоназвания [56, с. 65–66, 80], хотя из тех же западных анналов достаточно очевидно, что ни германский император, ни, похоже, ученый Запад вообще как раз никакой связи между именем народа *Rhos, рос* и свеонами-шведами не видел, ибо, как признает и сам Томсен [56, с. 82], "Русью они (скандинавы. – *О.Т.*) звались только на Востоке". И на Юге, – добавим мы, и только в этом состоит главный смысл слов о "принадлежности" к "роду русскому". Речь идет только

о представительстве и дипломатической формуле его выражения, как это очень разумно вывел уже Гедеонов [8, с. 273,275]. Варяги представительствовали от имени государства *Русь / Rhos* сначала, безусловно, на юге (вспомним, что и во втором, хронологически более раннем случае в Германию их привел транзит через Византию, и, раз назвавшись послами Руси, своих показаний они уж не меняли. Контраргумент этот – в той или иной форме – высказывался в общем уже давно и в разное время, ср. например [49, с. 89] о том, что послы **выдавали себя** за Русь (Rhos), в чем им совершенно справедливо не поверили. Специально о синхронности вести 839-го года Бертинских анналов и "Descriptio" анонимного баварского географа (до 850-го года), где сообщается о народе *Ruzzi* в соседстве хазар, см. [77, с. 167]. Тем не менее, стереотип научного мышления в духе северной школы продолжает держаться, уже выработан, похоже, эффект привыкания к нему, хотя возможность пересмотра положения дел лежит тут на поверхности, и ее подсказывают неисчерпанные ресурсы южной школы. Дело в том, что **формула "мы от рода русского", бесспорно действенная, как мы видели, на Юге**, куда пробирались толпы варяг (один Владимир выпроводил до 6 000 варягов в Византию, и нетрудно представить себе, как они там продолжали себя именовать...), **вполне логично могла применяться вторично и на Севере**, куда варяги эти отчасти потом попадали на обратном пути и куда вообще постепенно распространялась информация о южных делах. Иными словами, речь идет о повторении на Севере типологически той же ситуации (вопрос-ответ на тему самоидентификации), что и на Юге. Говоря о Севере, мы подразумеваем прежде финский Север, протянувшийся широкой, но редконаселенной полосой между государствами более благодатного Юга и Скандинавией. И это тем более существенно, что именно на финский Север традиционно возлагают ответственность в передаче и распространении интересующих нас форм и притом – в направлении, которое кажется необходимым пересмотреть.

Продолжение действия формулы "мы от рода русского" также на Севере в отношении скандинавов-варягов по их естественной привычке именоваться длительное время так на Юге – мысль сама по себе не новая. Она (или ей близкая, см. ниже) высказывалась и целых семьдесят лет назад, и сорок лет назад, тем не менее, инерция приверженности к иным взглядам приводит к тому, что целые поколения (сейчас – особенно на Западе) спокойно проходят мимо этих разумных доводов, которые заслуживают того, чтобы повторить их здесь

in extenso. В 1924 г. В.А. Пархоменко высказал предположение, под которым (сняв, правда, его сомнительные преувеличения о приходе всех полян в Поднепровье с юго-востока, чему препятствовала бы, по крайней мере, эта печать их этимологической близости с именем **более западных**, польских полян) можно подписаться и в году 1997-м. А именно – указанный исследователь, как бы отталкиваясь от учения северной школы Шахматова и других, прямо указывающих на тождество имени *Русь* и финского *Ruotsi*, прилагаемого к Швеции, возражает следующее: "оно (имя Ruotsi "Швеция" в финском. – *О.Т.*) могло возникнуть, когда скандинавы широкой волной вливались на восточнославянские территории и вместе с восточным славянством, так сказать, в рядах его, впитав в себя это **южное имя** (подчеркнуто мной. – *О.Т.*), имели соприкосновение с южными и восточными племенами финнов" [7, с. 54]. Спустя целое поколение, конкретно – в 1957 г., когда вышла в свет важная книга польского историка Х. Ловмяньского (в переводе на русский язык издана в 1985 г.), мы получили возможность прочесть в ней суждение, текстуально и концептуально очень близкое к предыдущему: "...поскольку название (русь/Ruotsi. – *О.Т.*) первоначально обозначало территорию в Среднем Поднепровье (изначальную для норманистов отнесенность его к Швеции автор отвергает. – *О.Т.*), то очевидно, что финны перенесли его на Швецию, узнав о нем от скандинавов, которые, видимо, в момент передачи названия находились на Руси в качестве воинов или купцов..." [70, с. 184].

Эти наблюдения задуманы мной как наблюдения лингвиста, и им лучше всего остаться таковыми, без посягательств на решение всех задач, тем более – исторических. Их решать – историкам, на долю которых остается еще достаточно неясных вопросов, в трактовке которых подлинное решение, похоже, до сих пор подменяется рутиной и привычкой к ней. Уже из предыдущего ясно, что Русь Днепровская и ее возможные тезоименитые предшественницы имеют богатое и хронологически глубокое прошлое в южном регионе, тогда как на Севере ничего хронологически сколько-нибудь равноценного нет. Terminus post quem образует там (а точнее – в русских летописях) год призвания варягов – 862-ой. Даже если мы опустим здесь несообразности, проистекающие оттого, что еще в 860-ом году какая-то Русь появилась уже под стенами Константинополя, и она просто не может быть варяжской, а скорее какой-то совершенно особой, как о том пытливо догадывался еще Шлёцер, несообразностей остается еще достаточно.

Как быть с утверждением летописей, в большинстве которых стоит этот характерный – и загадочный – повтор **къ варягомъ, къ Руси** – именно к ним, согласно летописцу, послали за подмогой не сумевшие справиться у себя с анархией племена славян и финнов Северо-Запада нынешней России. Тот же Шлёцер почти двести лет назад усмотрел в этом странное "разнословие", которое исчезает, стоит лишь изменить, подставив **изъ Руси**, вместо **къ Руси**, тем более, что конъектура **изъ Руси** реально подтверждается одним из надежных списков [52, I, с. 315]. Правда, в итоге Шлёцер склоняется к учению Тунмана и других немецких норманистов о варяжстве Руси, но великий ученый не скрывает от нас и своих сомнений, одно из них – о несуразности летописного включения Руси (Руссов) "между датчанами и англичанами! Этого быть не может: они здесь вставлены..." Цит. по переводу Дм. Языкова, см. [52,1, с. 102]. С тех пор утекло много воды, и затрачено немало труда, но племени *Ros*, современного и сопоставимого преданию Нестора, в Скандинавии найти не удалось. Допускать, что такое племя тогда было да **целиком выселилось**, – наивно. В происхождении имени *Русь* (или даже только промежуточной – финской – формы) от более позднего названия шведской области *Roslagen* сомневается, например, сам Томсен [56, с. 84], но – насколько лучше принимаемое у него происхождение из первой части шведского *rops-menn* или *rops-karlar* 'гребцы, мореплаватели', если тут же следом добавляется, что сами шведы так себя не называли (?? – *О.Т.*), "но что это сокращенное имя было впервые дано им финнами..." [56, с. 87]? А откуда тогда оно у финнов, если постулируемый северной школой скандинавский первоисточник просто исчезает у нас на глазах? Как видим, не решаемых по-старому вопросов слишком много в самом ответственном звене проблемы. Не стоит, однако, как говорится, выплескивать с водой и ребенка и вести варяжских князей от балтийских славян, как это делал в доброе старое время наш классик южной школы С.А. Гедеонов [8, с. 135 и passim]. Варяги, конечно, были германцы. Совершенно реальна скандинавская генеалогия Рюрика, в котором можно видеть датского викинга Рёрика или Рёрека (Hroerekr) Ютландского [57, с. 193]. Правда, это решение, внося ясность в личную генеалогию древнерусского князя Рюрика, попутно вызывает немало осложнений в других вопросах. Курьезно то, что датчанин Рёрик не имел ничего общего как раз со Швецией, откуда в основном ведут варягов, поскольку известно, что, в отличие от варягов-шведов, устремлявшихся на Русь, викинги-датчане направляли свои походы в основном в Западную

Европу. Так что **датчанство** Рёрика-Рюрика сильно колеблет весь **шведский** комплекс вопроса о Руси и даже побуждает наших историков расценивать призвание Рюрика "как один из эпизодов противоваряжской борьбы" [21, с. 299; 57, с. 193]...

Значит, разумнее будет согласиться (см. выше), что **скандинавская этимология** для нашего ***Русь*** или хотя бы для финского ***Ruotsi*** **не найдена**, ср. и [46, с. 77-78]. Не является выходом из положения случайный вариант скандинавской этимологии, предложенный в свое время Бримом [69, с. 8]: фин. *Ruotsi*/русск. *Русь* – из древнешведского *drôt* 'толпа, дружина' (в конце концов, как попробовали показать мы выше, нам приоткрывается в слове *Русь* совсем другая этимологическая семантика). Вот и приходит тут на память пророческий приговор Яна Отрембского по всей этой затянувшейся тяжбе (нам напомнил о нем в своей статье С. Роспонд): "Эта **концепция** (имеется в виду норманская этимология Руси у Фасмера. – *О.Т.*) **является одной из величайших ошибок, когда-либо совершавшихся наукой**" [78]. Сказано сильно, но, чем больше и дальше мы приглядываемся к этому "скандинавскому узлу", тем восприимчивее мы делаемся и к этому горькому суждению. Далее. Когда нас вот уже сколько времени пытаются приучить к мысли, что и название какой-то части Швеции или шведов (?), и свое собственное имя (?) мы получили от финнов, как-то при этом даже не дают себе труда задуматься над социологическим и социолингвистическим правдоподобием этого ответственного акта. Ведь к заимствованию побуждает **престиж дающей стороны**, а был ли он тогда (более тысячи лет назад!) в нужном размере у небольших и вынужденно малочисленных и небогатых во всех отношениях племен примитивных охотников и рыболовов, которыми были на памяти истории (и археологии) так и не поднявшиеся до уровня собственной государственности финны (XX век – не в счет)... Значение и вес тогдашней Финляндии (если можно так назвать совокупность разнообразных островков финноязычного населения VIII–IX вв.) был для этого слишком незначителен, ср. об этом [70, с. 179–180]. Ведь финское *Ruotsi* **своей**, **финской**, этимологии не имеет, и искать там ее бесполезно. Вместе с тем связь финского *Ruotsi* и нашего *Русь* остается, и ее никто не в силах отменить. Все идет к тому, что объяснить разумно эту связь можно, лишь изменив привычный угол зрения. Но сначала – о финских (в широком смысле) данных.

Финское (суоми) *Ruotsi*, как уже сказано, значит 'Швеция', *ruotsalainen* значит 'швед'; так – в литературном современном

финском языке. В народных говорах картина разнообразнее. Например, в северно-карельских говорах *ruotsalainen* выступает в значении 'лютеранин, финн', карельско-олонецкое *ruoťťši* значит 'Финляндия', а также 'финн, лютеранин', редко – 'швед', тверское карельское *ruoťťšalaińi* – 'финн', людиковское карельское *ruoťš* – 'финн, лютеранин', 'Финляндия, Швеция'. Таким образом, в отличие от стандартного финского (а также идущего в его русле водского *rōttsi* 'Швеция', эстонского *Rootsi* 'Швеция', ливского *rùǫťš-mǭ* 'Швеция'), более периферийные, карельские, говоры проявляют любопытную настойчивость, преимущественно обозначая этим словом иной этнос и иное вероисповедание, и в восточном, в значительной степени православном, регионе этим словом обозначены внешние по отношению к нему финны, финны как лютеране. Между прочим, в саамском, диалекты которого разбросаны по скандинавскому Заполярью и нашему Кольскому полуострову, но в более раннее время были, как известно, **намного южнее**, особенно, если иметь в виду русский Север, соответствующее слово, объясняющееся как заимствование из прибалтийскофинского, обнаруживает **как раз значение 'русский, Россия; русский язык'**. Таковы норвежско-саамское *ruoš'šâ, ruošša*, кольско-саамское *rŭǫ̈šš^*, кильдинско-саамское rūšš(A). Это последнее значение представлено также исключительно в восточнофинских языках (куда слово, как полагают, было заимствовано из карельского или вепсского): удмуртское (вотякское) *ďźuíš* '**русский**', коми-зырянское *rot'ś, rut'ś* 'русский'. Все перечисленные сведения см. [79].

Я понимаю, что и в финноугроведении сильны свои стереотипы, но, взглянув свежим взглядом, мы все же едва ли имеем право отнести фиксацию **как раз значения 'русский, Россия', по всей финской периферии – северной и восточной** – в разряд новых значений, как это, между прочим, делается и в только что использованном нами финском этимологическом словаре, где, в полном согласии с северной школой, речь идет о развитии значения 'русский' из предшествующего 'швед-варяг'. Вряд ли это способно отменить наше убеждение в том, что **периферия обнаруживает и сохраняет прежде всего архаизмы (слова, значения).** Недаром сами же авторы финского этимологического словаря признают тот факт, что близкие формы со специальным значением 'Швеция, шведский язык, швед' попали в те же саамские говоры с **более поздней волной заимствований из финского или карельского;** таковы саамские *ruohta, ruossâ, ruotta* и др. (Там же).

Заслуживают внимания данные пермских языков, где лексика этого корня – коми *роч* 'русский', удм. *ӟуч* 'русский''– столь однозначна семантически. Эти пермские названия русского возводятся еще к общепермскому **rǫč′*, которое объясняется заимствованием из прибалтийско-финского, а именно – из уже известного нам названия "жителя Скандинавии" – фин. *Ruotsi* 'Швеция' или его древней формы [80]. От внимательного глаза, однако, не может ускользнуть заминка, возникающая оттого, что засвидетельствовано **только значение 'русский',** а не '*житель Скандинавии', почему пытаются прибегнуть к компромиссу буквально в том смысле, что "первоначально слово **rǫč′* в пермском языке-основе могло обозначать прибывшего из других краев чужеземца..." [Там же]. Все-таки немаловажно знать при этом, что, как полагают специалисты, **прапермская общность распалась около VIII века.** Произошло это вследствие экспансии на Волгу тюркских народов и вызванного ею переселения предков коми дальше на север уже с VI–VII вв., [81]. Генезис прапермского **rǫč′* 'русский' разумно датировать, таким образом, временем до расселения и ставить его появление, как и появление родственной (или предшествующей ему) западнофинской формы **rōtsi*, в связь с формами, **существование которых на Юге к VI–VII вв., по-видимому, уже реально.** Я предполагаю распространение к этому времени не только в собственно Северном Причерноморье, но и у славян Подонья и Поднепровья форм, предшествующих историческому *Русь*, южных по происхождению (см. об этом выше). С одной стороны, это формы, уже практически тождественные историческому, письменному *Русь* – **russi*, с упрощением первоначальной группы согласных и ассимиляцией, но, с другой стороны, определенное время могли держаться более архаичные формы с аффрикатой **ruksi* (см. о них выше) или **rutsi*, последнее – уже как бы на полпути к ассимиляции (оба согласных – смычный и щелевой – уже зубные). Вот из такой исторически вполне реальной праформы в языке древнейшей славянской руси могли быть получены при контактах где-то не севернее Верхнего Поднепровья формы вроде празападнофинского **rōtsi*. Прадревнерусское **rutsi*, которое должно было трактоваться как **routsi*, с дифтонгом (в противном случае мы имели бы **Рысь*, а не *Русь*), вполне могло отразиться в виде финской формы с **ō* долгим в корне, ср. в принципе о такой стадии [82], с литературой.

Вообще, что касается консонантизма исходной формы нашего названия *Русь*, тут еще не все сказано и уточнено из того, что может быть уточнено и сказано, дабы полнее рас-

крыть для нас праисторию важнейшего слова нашего языка. Во-первых, наше внимание – в связи с вопросом о реконструкции древней формы имени *Русь* – привлекает одно расхожее мнение, продиктованное, так сказать, "лучшими побуждениями", а именно: наше *Русь* не может быть из финского *Ruotsi*, иначе у нас было бы **Руць*. Это, конечно, не так; для древней эпохи вполне допустимо предположить развитие **Rutsĭ* > **Rusь* – абсолютно так же и в тех же условиях, как это имело место в истории этимологически неродственной формы *русый* 'светлый, светловолосый' < **roud-so-*, ср. сюда же *рудый* 'рыжий', значит, смычный элемент перед *-s-* мог выпасть. Но для нас важно, что он здесь точно был, ведь иначе сработало бы славянское правило перехода *s* > *x* после *u*, то есть иначе должно было получиться из **rusъ* > **ruxъ* в значении 'светловолосый', но такой формы нет, что дает повод для внутренней реконструкции в этом слове этимологического *d*, а это, в свою очередь, поддерживается и внешним сравнением (этимологией). Эта аналогия нам потребовалась, чтобы прийти к закономерному заключению о том, что **и в имени *Русь* был когда-то смычный согласный перед *-с-*,** в противном случае оно не уцелело бы, и страна и народ назывались бы **Рушь* (из **Рух-ь*). Значит, *Русь* получилось из древнего **Rutsь* (дальнейшая его предыстория на Юге уже дана у нас выше).

И выходит, что встреча прадревнерусского **Rutsь* и празападнофинского **rōtsi* вполне возможна и во времени, и в пространстве. Только у этой встречи совсем другой смысл, а главное – совсем иное направление, чем то, которое принимают вот уже много лет. С юга на север шла и распространялась эта форма. Шла вместе с нарастающими известиями о Юге и о людях Юга, а с ними – и о людях Севера, тех же варягах-скандинавах, которые с Югом связали свою судьбу и, став известными как таковые, не раз возвращались через финские леса, реки и заливы в свою Скандинавию. Этим своим взглядом лингвиста на общий предмет я хотел бы пополнить то, что известно историкам, обращая при этом внимание на то, что лингвистический комментарий позволяет непротиворечиво охарактеризовать роль варягов, их место в истории нашего Севера и Юга, известное хорошо историкам и до нас, но без углубленного лингвистического комментирования все же плохо понятное и мнимо противоречивое. Вот, пожалуйста, во-первых, хорошо знакомое из письменной истории летописное известие о двух разных даннических регионах – северном и южном: Въ лѣто 6337 (859). Имаху дань Варязи изъ заморья на Чюди и на Словѣнехъ, на Мери и на всѣхъ Кривичѣхъ; а Козари имаху

на Полянѣхъ, и на сѣверѣхъ, и на Вятичѣхъ... – Четко наличествует (первоначальная) связь варягов только с Севером, а не с Югом, который в летописи практически одновременно назван Русью (фиксации в письменности должно было предшествовать более раннее употребление в устной речи). Во-вторых, вскоре после описанного времени устанавливается контакт варягов **и с более южной Русью,** вплоть до изменения самоназвания этих варягов, что отметила летопись и правильно оценил вдумчивый историк: "После того как Олег утвердился на Руси, его варяжские воины взяли себе новое название ("прозвашася русью"), что подтверждается и другими источниками, т.е. выступали не как завоеватели, а, наоборот, ассимилировались, были поглощены окружающей средой" [70, с. 142]. Чтобы не оставалось никакой неясности, историк в другом месте солидаризируется еще раз "с известием Повести временных лет о принятии варягами названия *русь* в Киеве" [70, с. 176]. Правда, к сожалению, и в науке, и в научной общественности имеют обыкновение великолепно уживаться факты и умение не видеть эти факты, что называется, с короткого расстояния, в упор. Тем более, когда речь идет о действительно трудном вопросе, каковым всегда был варяжский вопрос, включавший и броское, эффектное сравнение форм, и затуманенную неясность переходов, связи между ними. Именно развеиванию застоявшегося тумана посвятили мы свои усилия, в чем нам помог благодатный Юг, скрывающий еще немало загадок, но щедрый и на отгадки иных, казалось бы, до сей поры неприступных загадок.

Вот одна из них, занимающая не последнее место во всей русской проблеме, и ради нее мы вернемся к началу повествования – на Юг, в Крым. "А ныне на предняя возвратимся", как говаривали наши древние книжники. В Житии Константина Философа (гл. VIII) читаем, как наш святой по прибытии в Херсон (Корсунь) совершил немало достопамятных дел, в том числе и как филолог и библиофил: научился "жидовьстѣи бесѣдѣ", поразив этим одного местного "самарянина". Но самое для нас, быть может, замечательное, что он "обрѣте же тоу evaггелїе и Ѱа́лтирь русьскыми писмены писано, и чловѣка обрѣтъ глаголюща тою бесѣдою..." [83, с. 11–12]. Это место, внешне прозрачное (русские письмена! – казалось бы, куда уж яснее...), породило в умах ученых немалую смуту и на долгие времена. Сразу родились естественные сомнения: что это могли быть за русские **письмена** в 860-м году, то есть до того, как сам Константин Философ, как доподлинно известно, сложил буквы и перевел для славян священные книги?

В середине XIX в., когда серьезно обсуждался варяго-русский вопрос, задумались и над возможностью того (Шафарик), что слово *русский* в ЖК относится "не к славяно-руссам, а к варяго-руссам в Таврии, преемникам готского богослужения. Русские письмена здесь надо разуметь в смысле готских..." [83, с. XI]. И для других ученых немецкой школы "не оставляло сомнения", что святой Константин-Кирилл нашел книги, принадлежавшие крымским готам [48, с. 389–390]. Но ведь гóтов Константин знал отдельно и специально назвал как добрых христиан в перечне народов во время своего венецианского диспута! О варягах же и думать неудобно, ибо на тот год их призвание еще не состоялось даже на словенско-новгородском Севере... Это и понимали в дальнейшем наиболее осмотрительные из норманистов, которые, как Шахматов, признавали соответствующее место ЖК загадочным, и единственное, против чего они выступали уверенно, это реальность докирилловских славянских переводов евангелия [18, с. 346–347]. К сожалению, третья возможность (не германское и не славянское) даже не была долгое время выдвинута*, поэтому продолжение поисков шло на прежних двух направлениях, кажется, в одинаковой степени обреченных на неудачу, будь то предположение о встрече Константина Философа с тмутараканским русином [14, с. 52–53], или догадка о западнославянском источнике известий ЖК о русских письменах [84, с. 29], или даже вольный домысел о полянской, киевской, украинской принадлежности письмен [85, с. 366]. Впрочем, последний автор мудро заключает, что "все дело можно было бы окончательно решить, если бы можно было знать точно, как понимать слово "русский" в половине IX века" [там же, с. 359]. В таком случае уместно было бы развить дальше робкую мысль о том, что в Житии Стефана Сурожского идет речь **о крещении некоего "русского князя" в Крыму уже в конце VIII в.** [86], которого, разумеется, нет нужды поспешно зачислять в славяне или русские. Вообще, если вдуматься, у нас, в сущности, нет сколько-нибудь веских доводов, которые склоняли бы нас принять ответственное заключение, что в Херсонесе наличествовали к моменту приезда туда Константина Философа славянорусские жители. С другой стороны, нам все же известно наличие в Крыму кирилломефодиевских и более

---

* Вряд ли возможно связывать эти сведения ЖК с хазарским письмом, как строят догадки некоторые востоковеды, ср. [3, с. 153]. Ни в малейшей степени не выглядят, наконец, вероятными конъектуры вроде *сурьский* 'сирийский' (так Вайян, Якобсон).

ранних времен народности с именем *Рос*, в чем нас убеждают разыскания наших древников (историков, археологов), кратко упоминаемые у нас выше. Ситуация, когда в том же Крыму имеется этнос под названием *Рос* / *Рус*, а славянской Руси практически еще нет, не должна нас шокировать; речь идет о вполне жизненной, переходной ситуации. Поэтому имеет смысл проявить осторожность в трактовке местного, крымского населения второй половины IX в., не настаивая на односторонней дефиниции его этнической принадлежности в духе старых критериев (германцы, славяне), но и не отчуждая у них и евангелия "русским письмом", во-первых, потому что этническое содержание местного термина "русский" **могло быть другим, не обязательно привычным для нас,** во-вторых, потому что по ряду признаков и христианство, и письменность пустили в городском центре Херсонеса корни, причем, возможно, еще задолго до прибытия туда святых братьев. В сельской местности картина, понятно, была другая, буквально в двух шагах от Херсонеса, у фульского племени, Константин Философ вынужден был заниматься миссионерской деятельностью, искоренять священное дерево язычников, в Херсонесе его окружает своя привычная духовная, христианская, среда, где чтут память священномученика Климента, папы римского. В Сказании об обретении мощей св. Климента фигурирует бесспорный туземец, носящий местное имя Дигица и знаток местного климата, но, к тому же, благоверный христианин. Другой местный житель, тоже христианин, владел "русской беседою". Назовем их пока условно тавроросами. В городе, очень давно освоенном греками, их не могло быть много, Константину понадобилось "найти" такого местного знающего человека (и чловѣка обрѣтъ). Как это бывает, креститься могла раньше "верхушка" таврородского населения, к тому времени привлеченная, наверное, жизнью греческого христианского города. Племенная верхушка, еще не успевшая позабыть традиции древнего таврского жречества, могла иметь в своем культурном арсенале местное подобие письменности. В свое время мне уже пришлось столкнуться с тем, что обычно криво толкуемое слово ΣΑΣΤΗΡΑ древней Херсонесской гражданской присяги возможно идентифицировать как генетически индоарийское (пра-индийское) со значением 'священный свод'. Высокий культ местной таврской богини Девы у греков-херсонеситов позволяет допустить, что эти местные культурные начатки никогда не истреблялись и досуществовали до великой смены религий. Письменности тавров мы не знаем, она, видимо, окружалась тайной, не открывалась непосвящен-

ным и так и погибла, не оставив следов. Но, может быть, Константин Философ был счастливее нас и нашел то, что от нее тогда еще сохранялось и даже было применено для христианских целей. Он застал и письменность, и ее носителей, тавров его времени, "глаголющих тою (– "русскою") беседою". Вообще ничего невозможного в предположении о существовании когда-то таврской (тавроросской) письменности нет. Ее последующее исчезновение и забвение ставит ее в один ряд с другими начальными христианскими письменностями, которые, попав в какие-то неблагоприятные условия, перестали существовать. К тому же, примеры этого известны в том же циркумпонтийском регионе. Так, Иоанн Златоуст в IV в. сообщает в одной проповеди, что скифы, как и сарматы, и фракийцы перевели святое писание на свой язык [87]. Современной науке неизвестно ни одной строчки связного текста на скифском и сарматском языках, практически ничего не сохранилось и из фракийской письменности. Кроме того, мы знаем, что в позднеантичное и ранне-средневековое время объем понятия "скифский" был очень расплывчат, в него могли входить и другие остаточные языки и этносы региона.

Вопрос о "русьских письменах" принято до сих пор считать нерешенным, а само место это в ЖК окружают сомнениями. Обращают, например, внимание на то, что Константин Философ в своей речи на диспуте с треязычниками в Венеции 867-го года "обошел полным молчанием" народ, пользовавшийся "русскими письменами". По словам С.Б. Бернштейна [88], на это впервые указал А.И. Соболевский. И все же, я думаю, высокоуважаемые ученые ошибаются. Константин Философ назвал этот народ. Среди "многих родов", "книгы оумѣюща и богоу славоу въздающа своимъ ꙗзыкомъ кождо" (ЖК, гл. XVI) упомянуты *Тоурси* (они же *Тоурсїи*), в перечне народов между обрами (аварами) и козарами. Это несколько темное имя иногда пытались эмендировать, а вернее – попросту заменить на другое, более "понятное"; так появилось чтение "турки" в русском переводе паннонских житий: "...Мы же знаем многие народы, что владеют искусством письма и воздают хвалу богу каждый на своем языке. Известно, что таковы: армяне, персы, абхазы, грузины, согдийцы, готы, авары, турки, хазары, арабы, египтяне, сирийцы и иные многие" [89, с. 89]. Этноним *турки*, обретающий в комментариях к переводу вид (или значение) "тюрки", обосновывается там еще дополнительно переводом житийного *соугди* как "согдийцы" и идентификацией последних с жителями Согда в Средней Азии и довольно отдаленным (в плане культурной географии) факто-

ром приспособления согдийского письма к тюркскому языку [89, с. 136]. Это, однако, в свою очередь, вызывает сомнения у нас, поскольку проще (да и убедительнее) оставить все, в основном, воздержавшись от эмендации. Так поступают, между прочим, некоторые переводчики, оставляющие проблематичное имя, как в тексте. Ср. немецкий перевод Шютца: "...Sugder, Goten, Awaren, Tursier, Chasaren..." [90, S. 72]. Характерно здесь внимание переводчика к крымскому региону: "Готы и сугды населяли Крым" [90, S. 133]; из чего явствует, что Шютц понимает под сугдами не далеких согдийцев, а жителей Сугдеи-Судака, и это кажется правильным. Точно так же в хорватском издании: "Sugdi, Goti, Obri, Tursi, Hazari..." [91], с добавлением, что "имена некоторых народов не идентифицированы".

Отдав предпочтение консервации, а не эмендации, мы получаем возможность опереться в своих дальнейших рассуждениях именно на реальное написание слова: *Тоурси, Тоурсїи, Тоур'си, Тоуръси*. Часть вариантов, как видим, говорит о сокращенном как бы написании слова, что и позволило, как кажется, реконструировать **Тауро-руси* "тавро-русы", выше принимаемые нами как бы условно. Таков наш вариант разгадки этнического субъекта одного из кирилло-мефодиевских преданий. Может статься, что чтение наше послужит и русской проблеме в целом, хотя пока что, признавая его условность, мы попытаемся продумать и обосновать его филологическую базу в широком смысле слова. Сюда имеют отношение прежде всего лингвистические моменты чтения и реконструкции.

Наше вышеназванное прочтение **Тауро-руси* есть не более как экспликация местного этнического имени, которое по-гречески могло звучать как *Ταυρο-ρως. Реальность подобного наименования мог бы подтвердить пример Ταῦροι καὶ Ῥῶσοι, что-то вроде "тавры-росы", обозначение племени, жившего к северу от дунайского устья, близ Ахиллова Бега (то есть Тендровской косы), согласно комментариям Евстафия к Дионисию [64, с. 194]. Комментарии написаны довольно поздно (XII век), но восходят к реалиям гораздо более раннего времени. Выше мы уже касались вопроса о названии тавров и Таврики, пришлого из Греции, ср. греч. ταῦρος 'бык', см. о нем [92]. В языках северопричерноморско-таврического региона исконно родственная ему форма нам пока неизвестна, так что возможно, что активизация форм типа Ταῦροι и сочетаний с ним применительно к местному населению (ср. более известное Ταυροσκύθαι, тавроскифы, в частности, о Руси) в

немалой степени вызвана мощным греческим культурным влиянием. Формы, этимологически родственные греческому ταῦρος, представлены в основном в языках, расположенных на запад и на север от Черного моря: русск. *тур*, слав. **turъ*, литовское *taũras* 'буйвол, тур', др.-прусск. *tauris* 'зубр', латинское *taurus* 'бык', ирландское *tarb* то же [28, т. IV, с. 122]. Недостаточно ясно, относится ли сюда *Таурсана*, название города в Крыму, у ал-Хваризми [93]; что касается чтения *Саурсана* [94], то повторяется все та же аргументация pro и contra, с которой мы ознакомились выше, в случае транслитерации *Артания*, поэтому нет надобности повторяться. Если бы восточные славяне рано заимствовали греческое имя тавров, оно имело бы форму **тур*, с естественной монофтонгизацией дифтонга *au/ou*. Ср. цслав. *моуринъ* 'негр' из греч. Μαῦρος или лат. *maurus*. Но для нас это не более, чем аналогия, полезная тем, что, судя по тому немногому, что мы знаем, **субстратные языки Северного Причерноморья были монофтонгизирующими языками** (местный иранский и индоарийский). Так что, если иметь в виду местную туземную форму занимающего нас этнонима, ею могла реально быть **tur-ros-* или **tur-rus-*, форма гибридная, при условии слишком очевидных греческих импульсов, многократно указанных выше (для первого компонента). Второй компонент, как мы знаем, местный, исконный, его семантическая понятность сохранялась, видимо, долго ('белый'). Мне кажется, одним из последних отголосков полнозначного лексического значения корня **ros-/*rus-* 'белый', в том числе в составе сложения **tur-rus-* 'Тур светлый', прозвучало имя тюркского племенного вождя Τούρξανθος, где-то в северокавказских или донских, приазовских степях принимавшего, согласно Менандру Протектору, византийское посольство. Слишком явно здесь наличие греческого ξανθός 'светлый, светловолосый', калькирующего **tur-rus-* как Τουρ-ξανθος.

Итак, кирилломефодиевское *Тоурси* может отражать дославянское название северопричерноморского народа **tur-rus-*. Это название, особенно в форме *Тоурси* (ЖК), затемненное до нечитаемости для сегодняшнего читателя и даже исследователя, после незначительной реконструкции обретает вновь минимальную понятность. Связь этнонима **tur-rus-* и "*русских*" письмен была, возможно, понятна Константину Философу тогда в Корсуни (Херсонесе), и он мог иметь в виду именно ее в Венеции через несколько лет. Мы вынуждены работать с реликтами, часто – прошедшими через иноязычный фильтр (или фильтры). Одним из таких сложных реликтов

может быть племенное название *тиверцы* (*тиверьци*), уже непосредственно входящее в собственно древнерусскую этнонимию. О тиверцах писали и думали разное. Д.И. Иловайский, например, смело отождествлял их с тавроскифами [5, с. 286], что, хотя и неверно, с нашей точки зрения, все же свидетельствует о немалой интуиции ученого. После всего того, что обсуждали мы выше, интересны наблюдения Маркварта, который пишет: "...ясно, что *Турси* (ЖК, гл. XVI. – *О.Т.*), расположенные между аварами и хазарами, географически точно соответствуют летописным тиверцам. Форма имени указывает на перевод с греческого: Τύρσοι = слав. **Turci*" [48, с. 191]. Греко-славянские отношения видный немецкий ориенталист охарактеризовал проблематично, хотя следует учесть мнения (А.Б. Страхов, Гарвард, письмо от июля 1994 г.), что греч. *υ* могло передаваться в слав. письме также сочетанием *оу*, но отождествление *Тоурси* и *тиверьци* весьма любопытно. Что касается отнесения сюда же имени *тюрок* / *турок*, то это предвосхищает одну из современных этимологий, хотя и расходится с формой и значениями византийского Τουρκοι, как, впрочем, и со славянскими (древнерусскими) передачами этого восточного этнонима. Кто были тиверцы, так до конца и не ясно, потому уместно будет потом обратиться к археологу-специалисту*. Мысль об их тюркской принадлежности побудила И.Г. Добродомова объяснить и их племенное название из тюркского (чувашско-булгарского) *tüürik*, варианта к *türk* [95]. Но все-таки при этом мы – как минимум – теряем перспективную связь *Тоурси* и *тиверьци*, которая заслуживает дальнейшего осмысления. Роль тюркского, и даже, возможно, булгарского, вполне сводится к посредству, которое могло выглядеть как: **tur-rus-* (*Ταυρο-ρως) → **tyvyrs* → *тиверьци* (исход вторично осмыслен как славянский суффикс). В результате мы вновь возвращаемся к нашим исходным формам **tur-* и **rus-*, которые обе не безразличны для нашей Руси и, к тому же, так связаны между собой, – гораздо теснее, чем это можно представить себе в наше время. Грубость военных обычаев, морские набеги на Византию, близость мест проживания – все это накрепко роднит тавров и понтийских росов в представлениях византийцев уже в IX в. [63, с. CXLIX, 66–67; 23, с. 88; 2, с. 41]. От них еще далеко до исторической Руси, с той разницей, что поначалу было одинаково до нее далеко – и от

---

* См. [96]: **относят тиверцев к коренному славянскому населению Поднестровья; их городища** – *на местах более древних, в частности скифских, поселений*; показателен необычайно **высокий** уровень использования лошади **в быту**.

"тавров" и от "росов". Собственно говоря, **и в последующие века на византийском Юге едва ли не более стабильна тенденция переносить на днепровскую Русь имя тавров и тавроскифов.** Важно не преуменьшать возможности того, что, помимо этих последних литературных форм, на северных побережьях Черного моря жили местные обиходные варианты или – вариант. Из наших наблюдений вытекает, что реально им могла быть форма **tur-*. С юга же неуклонно ширилась и входила в обиход форма **rus-*, откуда, в конце концов, и утвердилась *Русь*, название, понятие и самосознание, за ними стоящее. Зрел и другой вариант, который не состоялся. Сейчас для нас, может быть, важнее всего, что **он тоже зрел на ранее цивилизованном Юге, а не на отсталой северной окраине,** – вот, что, пожалуй, самое важное, как дополнительный аргумент этого главного направления – с Юга на Север, а не наоборот. Второй вариант (*тавры, тавро-русы, *туро-русы*) оказался приглушен и предан забвению, хотя я почел своим долгом указать и на него – на то, что он мог реально оказаться для нас первым и единственным названием нашей Родины, и тогда шла бы речь о великой стране **Турь* или **Турúя*. Сейчас это звучит как абстрактная теория, да и вообще нам не так давно запрещали "писать историю в сослагательном наклонении"*. Но что же в таком случае называется моделированием и так ли уж оно неуместно в исторической науке? И разве оно не сто́ит несколько бо́льшего внимания с нашей стороны, если именно на этом пути, идя по следам Руси Азовско-Черноморской, как и Руси вообще, мы тем самым расширяем аргументацию в пользу своего решения более чем двухвекового вопроса науки о Руси.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Brückner A.* O nazwach miejscowych. Kraków, 1935. C. 41.

2. *Голубинский Е.* История русской церкви. Т. I. Период первый, киевский или домонгольский. Первая половина тома. Изд. 2. М., 1901.

3. *Новосельцев А.П.* Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990.

4. Советская историография Киевской Руси / Отв. ред. В.В. Мавродин. Л., 1978.

5. *Иловайский Д.И.* Разыскания о начале Руси. Изд. 2. М., 1882.

6. *Грицков В.В.* Русы. Ч. 3. Черноморская Русь. М., 1992.

---

* А пессимизм нашептывает: случись так, мы давно уже имели бы дело с норманистским учением о происхождении имени нашей страны от имени скандинавского бога Тора...

7. *Пархоменко В.А.* У истоков русской государственности (VIII–XI вв.). П., 1924.

8. *Гедеонов С.А.* Варяги и Русь. Историческое исследование. Ч. I–II. СПб., 1876.

9. *Багалей Д.И.* Русская история. Т. I. М., 1914.

10. *Левченко М.В.* Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956.

11. *Лев Диакон.* История / Пер. М.М. Копыленко. Коммент. М.Я. Сюзюмова, С.А. Иванова. М., 1988.

12. *Карышковский П.О.* Лев Диакон о Тмутараканской Руси // Византийский временник. Т. XVII. М.; Л., 1960. С. 39 и сл.

13. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI – начало XII века / Сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. М., 1978.

14. *Пархоменко В.А.* Начало христианства Руси: Очерк из истории Руси IX–X вв. Полтава, 1913.

15. *Смирнов А.П.* К вопросу об истоках Приазовской Руси // Советская археология. 1958. № 2.

16. *Срезневский И.И.* Русское население степей и южного поморья в XI–XIV вв. // Изв. Отд. русского языка и словесности. Т. VIII, 1860.

17. *Грушевский М.* Киевская Русь. Т. I. Введение. Территория и население в эпоху образования государства. СПб., 1911.

18. *Шахматов А.А.* [Рец. на кн.]: В. Пархоменко. Начало христианства Руси // Журнал министерства народного просвещения, август 1914, с. 334 и сл. (Критика и библиография).

19. *Гадло А.В.* Проблема Приазовской Руси и современные археологические данные о Южном Приазовье VIII–X вв. // Вестник ЛГУ. 1968. № 14. Вып. 3.

20. *Гадло А.Б.* Этническая история Северного Кавказа IV–X вв. Л., 1979.

21. *Рыбаков Б.А.* Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982.

22. *Талис Д.Л.* Топонимы Крыма с корнем *Рос-* // Античная древность и средние века. Вып. 10. Свердловск, 1973.

23. *Талис Д.Л.* Росы в Крыму // Советская археология. 1974. № 3.

24. *Брун Ф.* Черноморье: Сборник исследований по исторической географии Южной России (1852–1877). Ч. II. Одесса, 1880.

25. *Соболевский А.И.* "Третье" русское племя // Доклады АН СССР. 1929.

26. *Брун Ф.К.* – Труды I археологического съезда в Москве. 1869. II. М., 1871. С. 394–395.

27. *Фоменко В.Г.* О названиях Азовского моря // Изв. Мелитоп. отд. Географического общества СССР. Л., 1972. Вып. 2. С. 106 и сл.

28. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Изд. 2. М., 1986–1987.

29. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1–. М., 1974–.

30. *Панин Н.И.* Лексико-семантический и формантный анализ русских наименований текущих вод Окско-Донской равнины и прилегающих территорий. КД. М., 1982 (ркп.).

31. *Франко З.Т.* Граматична будова українських гідронімів. Київ, 1979.

32. *Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

33. *Трубачев О.Н.* Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов' янської топонімії // Мовознавство. 1971. № 6.

34. Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках / Відповід. ред. О.С. Стрижак. Київ, 1981.

35. *Трубачев О.Н.* Названия рек Правобережной Украины. М., 1968.

36. *Отин Е.С.* Каталог рек Северного Приазовья // Повідомлення Української ономастичної комісії. Вип. 11, 12. Київ, 1975.

37. *Смолицкая Г.П.* Гидронимия бассейна Оки. М., 1976.

38. Словник гідронімів України / Ред. кол.: А.П. Непокупний, О.С. Стрижак, К.К. Цілуйко. Київ, 1979.

39. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відповід. ред. О.С. Стрижак. Київ, 1985.

40. *Udolph J.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979 (= Beiträge zur Namenforschung, N.F., Beiheft 17).

41. *Винников А.З.* Славянские поселения на р. Воронеже // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 26 и сл.

42. *Николаенко А.Г.* Северо-западная Хазария или Донская Русь?.. Древности Приоскольской летописи в заметках краеведа. Волоконовка, 1991.

43. *Багалей Д.И.* История Северской земли до половины XIV ст. Киев, 1882 (= Киевские университетские известия).

44. *Schramm G.* Nordpontische Ströme. Namenphilogische Zugänge zur Frühzeit des europäischen Ostens. Göttingen, 1973. S. 167.

45. *Рогов А.И.* О понятии "Русь" и "Русская земля" (по памятникам письменности XI – начала XII в.) // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981.

46. *Ковалев Г.Ф.* О происхождении этнонима "Русь" // Studia Slavica Finlandensia. T. III. Helsinki, 1986.

47. *Новосельцев А.П.* Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв. // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965.

48. *Marquart J.* Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historisch-topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 840–940). Leipzig, 1903.

49. *Дьяконов А.П.* Известия Псевдо-Захарии о древних славянах // Вестник древней истории. 1939. № 4. С. 83 и сл.

50. Советское источниковедение Киевской Руси. Исторические очерки. Л., 1979.

51. *Березовець Д.Т.* Про им'я носіїв салтівської культури // Археологія. Т. XXIV. 1970.

52. *Шлёцер А.Л.* Нестор. Русские летописи на древле-славянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А.Л. Шлёцером. Ч. I. Пер. с немецкого Дм. Языков. СПб., 1809; *Он же.* Нестор. Русские летописи на древле-славянском языке. Ч. II. СПб., 1816.

53. *Гаркави А.Я.* Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870.

54. *Заходер Б.Н.* Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II. М., 1967.

55. *Бейлис В.М.* Ал-Идриси (XII в.) о восточном Причерноморье и юго-восточной окраине русских земель // Древнейшие государства на территории СССР. 1982. М., 1984.

56. *Томсен В.* Начало русского государства. М., 1890.

57. *Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С.* Русь и варяги // Славяне и скандинавы. М., 1986.

58. *Петрухин В.Я.* Три "центра" Руси. Фольклорные истоки и историческая традиция // Художественный язык Средневековья. М., 1982.

59. *Respond S.* Pochodzenie nazwy *Rusь* // Rocznik slawistyczny. T. XXXVIII. Cz. 1. 1977.

60. *Агеева Р.А.* Страны и народы: происхождение названий. М., 1990.

61. *Horák B. a Trávníček D.* Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii // Rozpravy ČSAV. Ročn. 66. Rada SV. Seš. 2.1956. S. 2–3.

62. Latin sources on North-Eastern Eurasia by P. Aalto and T. Pekkanen. P. II. Wiesbaden, 1980. P. 59.

63. *Васильевский В.Г.* Русско-византийские исследования. Вып. 2. Жития св. Георгия Амастридского и Стефана Сурожского. СПб., 1893.

64. *Латышев В.В.* Scythica et Caucasica. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Т. I. Греческие писатели. СПб., 1890.

65. Карпенко О.П. Літописне Білобережжя // Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах: Збірник наукових праць. Київ, 1986. С. 40 и сл.

66. *Шаскольский И.П.* Вопрос о происхождении имени Русь в современной буржуазной науке // Критика новейшей буржуазной историографии. Л., 1967.

67. *Стрижак О.С.* Етнонімія птолемеєвої Сарматії. У пошуках Русі. Київ, 1991.

68. *Матузова В.И.* Английские средневековые источники IX–XIII вв. Тексты. Перевод. Комментарий. М., 1979.

69. *Брим В.А.* Происхождение термина *Русь* // Россия и Запад. Т. 1. Пг., 1923. С. 5 и сл.

70. *Ловмяньский.* Русь и норманны. М., 1985.

71. *Прищак О.И.* Происхождение названия RUS/RUS' // Вопросы языкознания. 1991. № 6.

72. *Vasmer M.* Die Slaven in Griechenland. Leipzig, 1970 (репринт).

73. *Толкачев А.И.* О названии днепровских порогов в сочинении Константина Багрянородного "De administrando imperio" (в связи с работой К.-О. Фалька на ту же тему) // Историческая грамматика и лексикология русского языка. М., 1962.

74. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. Bd. 4. München, 1979.

75. *Толстой И.* Остров Белый и Таврика на Евксинском Понте. Пг., 1918.

76. *Olszański T.A.* Pochodzenie Rusi jako zbiorowości w świetle poglądów Omeljana Pricaka // Slavia Orientalis. T. XXXVIII. Nr. 3–4. 1989. S. 441.

77. *Херрман И.* Ruzzi. Forsderen liudi. Fresiti. К вопросу об исторических и этнографических основах "Баварского географа" (первая половина IX в.) //Древности славян и Руси. М., 1988.

78. *Otrębski J.* Rusь // Lingua Posnaniensis. VIII. 1960. P. 219 и сл.

79. *Itkonen E., Joki A.J.* Suomen kielen etymologinen sanakirja. IV. Helsinki, 1969. P. 875–876.

80. *Лыткин В.И., Гуляев Е.С.* Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970. С. 243.

81. *Серебренников Б.А.* Пермские языки // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. С. 371.

82. *Enrietti M.* Il protoslavo **ä* e la monottongazione di **ai* // Symposium Balticum. A Festschrift to honour professor V. Rūķe-Draviņa. Hamburg, 1990. P. 74.

83. *Лавров П.А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930 (= Труды Славянской комиссии. Т. I).

84. *Никольский Н.К.* К вопросу о русских письменах, упоминаемых в Житии Константина Философа // Изв. Отд. русского языка и словесности. Т. I. Кн. 1. 1928.

85. *Огієнко І.І.* "Руські" переклади в Херсонесі в 860 року // Юбілейний збірник на пошану акад. Д.Й. Багалія. Київ, 1927.

86. *Fermeglia G.* Razmišljanja o starim slavenskim azbukama // Slovo 36, 1986, c. 71 и сл. (= Tisuću i sto godina od smrti Metodijeve. Ćirilo-metodsko kulturno-književno nasleđe u Hrvata).

87. *Ebert M.* Südrussland im Altertum. Bonn und Leipzig, 1921. S. 109.

88. [Бернштейн С.Б.] Предисловие редактора // *И.Е. Можаева.* Библиография по кирилло-мефодиевской проблематике. 1945–1974 гг. М., 1980. С. 16.

89. Сказания о начале славянской письменности / Отв. ред. В.Д. Королюк, пер. и коммент. Б.Н. Флори. М., 1981.

90. *Schütz J.* Die Lehrer der Slawen Kyrill und Method. Erzabtei St. Ottilien, 1985.

91. Žitja Konstantina Ćirila i Metodija. Preveo i protumačio J. Bratulić. Zagreb, 1985. C. 77.

92. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. T. IV–1. Paris, 1977. P. 1096–1097.

93. *Грицков В.В.* Русы. Ч. 2. Исчезнувший материк. М., 1992.С. 26.

94. *Калинина Т.М.* Сведения ранних ученых арабского халифата. М., 1988.

95. *Добродомов И.Г.* Два булгаризма в древнерусской этнонимии // Этнонимы. М., 1970. С. 160 и сл.

96. *Федотов Г.Б.* Тиверцы // Вестник древней истории. 1952. № 2. С. 250 и сл.

VI

Из истории языка древней и новой Руси

Вятичская земля. Пряслице с владельческой надписью
(Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси.
М.: Наука, 2000. Рис. 14).

1. ИЗ ИСТОРИИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ОСВОЕНИЯ

Тема, вынесенная в заглавие, касается нескольких смежных наук, в их числе истории, археологии, языкознания. Наверное, справедливо считается, что первые две из них лучше осязают человека в истории, поэтому с них и начнем, не теряя, впрочем, связи и с языкознанием, к которому целиком обратимся в конечном счете и памятуя об известной ограниченности возможностей каждой из названных дисциплин (истории, связанной письменными источниками, археологии, чьи реалии безгласны, и языкознания, которого возможности также не беспредельны). Обыкновение черпать поэтому дополнительные аргументы из соседних дисциплин достаточно распространено, было бы искусственно стремиться избегать его, совокупная картина бывает интересна и поучительна (крайних случаев, когда превышена мера в использовании **дополнительных** аргументов, что влечет за собой обвинение в эклектизме, касаться не будем).

Предлагаемый очерк не может претендовать на исчерпанность специальной литературы, а также на сколько-нибудь широкий охват заявленной темы. Пришлось сделать выбор, очевидный для нас в данном случае уже с самого начала. Поэтому мы остановились на комплексе проблем, связанных с племенем **вятичей**, оставив сейчас в стороне другие проблемы, тоже, вероятно, большие. И хотя, например, в стороне при этом осталось самое крупное древнерусское племя кривичей, наше внимание целиком привлекли вятичи, и мы постараемся в дальнейшем объяснить, что предмет действительно заслуживает этого.

И здесь тоже продолжается прежний интерес и угол зрения: русские города как форпосты христианской письменной культуры, история племен, старое и новое. Но именно здесь, как нигде, поджидали нас парадоксы в чисто русском духе ("Ты и убогая, ты и обильная"), парадоксы, видимые через призму судьбы самобытнейшего из племен Руси – вятичей. Да, они пришли издалека, отголоски этого запечатлела летопись. Но ведь и другие племена наши тоже пришли и приходили, кто раньше, кто позже. Позже всех крестившиеся, якобы отсталые, вятичи оказались в центре русского пространства. Самоотверженно расширяли (раньше новгородцев) это пространство и самоотверженно теряли его.

Дали миру две столицы – Рязань и Москву, обе – вятичские. Якобы отсталые и не имевшие собственных летописей, обнаружили удивительную низовую грамотность на уровне "домохозяек" и ремесленников XI-XII веков. Так и оставшиеся не самыми богатыми на Руси, накопили богатейший исторический и культурный опыт. Именно ему в первую очередь обязан автор возможностью и поводом, чтобы обобщить некоторые нестандартные мысли и итоги, главным образом по истории языка древней и новой Руси.

Таким образом, излагаемые в дальнейшем наши поиски и наблюдения обещают обрести характер некой **апологии вятичей** (если иметь в виду, что апология является в известном смысле и оправданием интереса к предмету и – прославлением его). Посему – поклон вятичам.

2. ВЯТИЧИ-РЯЗАНЦЫ СРЕДИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

История застала вятичей в положении самого крайнего славянского племени на востоке [Иловайский 1858, с. 8]. Уже первый наш знаменитый летописец Нестор [Повесть временных лет 1978, с. 30–31] характеризует их как крайне отсталых и диких людей, живущих наподобие зверей в лесу, едящих все нечистое, сквернословящих, не стыдясь родителей и женщин рода, и, конечно, нехристиан. Что-то из этой негативной картины, наверное, отвечало тогдашней действительности начала XII века, а что-то оказывалось и на тот час откровенным преувеличением, говоря языком нынешним – политической пропагандой (ср. [Никольская 1981, с. 10]). Преподобный Нестор был киевским полянином, и вятичи, не сразу покорившиеся Киеву, такой оценки в его глазах заслуживали. Мы сейчас, по прошествии веков, смотрим на дело иначе, спокойнее, многое изжило время, хотя – как знать, может быть, не все. Вообще говоря, именно с вятичами связывается ряд противоречий или парадоксов, известных или менее известных. Уже один из первых их историков готов, опираясь на свидетельство Нестора, признает, что они не имели земледелия [Иловайский 1858, с. 9], но сразу вслед за этим, на основе летописных же данных об уплате вятичами дани Святославу и Владимиру, то есть в достаточно раннее время, "по шелягу с плуга", заключает, что земледелие они знали [Там же, с. 12].

И эта наклонность судить о вятичах в духе парадоксов, что любопытно, сохраняется у историков вплоть до нашего времени, побуждая нас к тому, чтобы смотреть на этих вятичей как на самое русское из племен (суждение, как увидим далее, тоже достаточно парадоксальное). Виднейший наш историк, акад. М.Н. Ти-

хомиров, в своей книге "Древнерусские города" говорит о "глухой земле вятичей", с тем чтобы чуть дальше признать, что "в середине XII в. страна вятичей была совсем не столь глухой, как обычно представляется, а наполненной городками" [Тихомиров 1956, с. 12, 32]. Кстати, все в том же парадоксальном духе – о "городках" или городах у вятичей, о которых будто бы можно говорить "не ранее XII века", но в том же XII веке их вдруг оказывается там поразительно много [Иловайский 1858, с. 9 и 50]. Складывается впечатление, что, помимо стойкой предвзятости суждений, в этом разнобое повинен и недостаток информации, и у нас есть основания поверить новейшему историку-археологу, когда он говорит о расцвете городской культуры на Средней Оке (куда область вятичей также простиралась, см. ниже) уже с XI века [Монгайт 1961, с. 255]. Кроме того, возможно ли продолжать говорить об отсталости вятичей, державших земли по Оке, через которую с раннего времени пролегал важнейший восточный торговый путь, предшественник пресловутого пути "из варяг в греки" (ср. [Там же]).

Ну и, наконец, отнюдь не "отсталость" привлекала в вятичах киевских князей, в частности, такого победоносного завоевателя, как Святослав; серьезность его завоевательных планов иллюстрирует миниатюра из Радзивилловской летописи под 964 годом: князь Святослав принимает побежденных вятичей, сидя на троне [Рыбаков 1982, с. 102].

Полезно иметь в виду и то, что, наверное, обращало на себя внимание в ранние века русской истории – племенная самобытность вятичей [Третьяков 1953, с. 241], которую они сохранили "дольше других восточнославянских племен" [Монгайт 1961, с. 254]. Дальше – больше. Известно, что русские племена – пришельцы в основной земле своего обитания, на Восточно-Европейской, иначе Русской, равнине. В вятичах же замечательно то, что они как бы сугубые пришельцы. Их приход совершился, если не совсем на глазах письменной истории, то все же на памяти уже осевших вокруг племен, причем обычно сообщается, откуда они (вместе с радимичами) пришли, по формулировке начальной русской летописи – "от ляхов". И в этом действительно есть "зерно истины" [Ляпушкин 1968, с. 13], поскольку, в отличие от тенденциозных в самой своей сущности древних рассуждений об отсталости и "дикости", информация о месте исхода вятичей никакой корысти или политического резона не сулила. Для нас же это бесценные крохи древнего знания, хотя мы и не собираемся воспользоваться ими с шахматовской прямолинейностью, поскольку великий ученый ассоциировал с ними якобы польские черты в языке восточных славян [Шахматов 1915, с. XIX]. Но о языке –

потом, как и условились, хотя в целом "польская" репутация вятичей – тоже одна из давних традиций, или парадоксов науки, ибо, как пишет один из первых наших историков: "Вятичи – сарматы, обладанные славянами по Оке ..." [Татищев 1962, с. 248]. При этом просто надо иметь в виду, что старая польская ученость охотно отождествляла поляков с сарматами (хотя последние, как известно, – древние иранцы!). Понятно, что речь идет об очень давних событиях и их участниках, откуда – эта простительная мифологичность. Очень рано вятичи были упомянуты нашей письменностью, их участие в походе князя Олега в Византию значится под 907 годом [Рязанская энциклопедия 1995, с. 126 и сл., 674], то есть больше тысячи лет назад, но и это, разумеется, не предел, не terminus post quem, потому что археология уверенно судит о гораздо более раннем появлении их в наших пределах. Здесь уместно кратко сказать о племенном имени вятичей, поскольку пограничная лингвистическая дисциплина ономастика привычно фигурирует среди исторических аргументов. В общем очевидно, что вятичи – с Запада, но ни на славянском Западе, ни на Юге **такого этнонима нет,** и это при том, что **повторяемость этнонимов** – известный феномен у славян (чтобы далеко не ходить, достаточно назвать полян киевских и польских полян). Перед нами еще плюс один парадокс, связанный с вятичами. Летопись и тут подсказывает правильный путь: вятичи прозваны по имени некоего (вождя? предводителя?), упоминаемого как Вятко [Фасмер[3] 1996, I, с. 376], а это последнее имя представляет собой уменьшительную форму от личного имени *Вячеслав*, прасл. **vętjeslavъ*, ср. чеш. *Václav* [Там же, с. 378], то есть имени **исключительно западнославянского.** Так, хотя и не совсем обычно, оказался документирован западный источник этнонима вятичей; остальное – детали (среди них – форма *V(a)ntit*, название народа и области в восточных источниках X века [Рыбаков 1982, с. 215, 259], позволяющее судить о виде, в котором имя вятичей фигурировало до X века включительно, когда подверглось общему у восточных славян падению носовых). Ни с венедами-венетами, ни, тем паче, с антами (и то, и другое – чужие для славян аллоэтнонимы) этимологически связывать **vętitje, вятичи* не имеет смысла, несмотря на популярность таких опытов. Перед нами – случай, когда древнее племя первоначально вообще племенного названия **не имело** (довольствовалось самообозначениями 'мы', 'наши', 'свои' etc.), вплоть до момента личной унии с возглавившим их смельчаком по имени Вятко ...

Вообще в самый канун нашей письменной истории Поочье, ставшее основным регионом вятичей, принимало "разные потоки славянской колонизации" [Монгайт 1961, с. 66], что одновре-

менно и усложняет нашу проблему, и делает ее притягательной для познания. В.В. Седов прямо говорит о **многоактности** славянского освоения Восточно-Европейской равнины [Седов 1999, с. 7], и можно заранее наметить эту многоактность по крайней мере для нашего региона: среднеднепровские славяне, славяне-вятичи со своего более отдаленного юго-запада и донские славяне, оказавшиеся там, на верхнем Дону, в свою очередь, в результате каких-то переселений. Считается, что славянское население появилось в бассейне Оки, особенно в ее верховьях, в VIII–IX вв. [Никольская 1981, с. 12; Седов 1982, с. 148], встретив здесь племена балтийской принадлежности, возможно, *голядь* (др.-русск.), каковое название характеризовало местных балтов тоже как 'украинных, окраинных' (лит. *galindai*, *галинды*: *galas* 'конец'). Впрочем, места были довольно пустынные, хватало всем, даже притом, что археология обнаруживает тенденцию все время отодвигать, удревнять приход славян, первые группы на верхней Оке – уже в IV–V вв. (!), а в Рязанском (Среднем) Поочье – в VI–VII вв. [Седов 1999, с. 58, 251]. Очевидно, те контакты с балтами передали пришлым славянам название самой реки – *Ока*, вместе с его ударением в духе закона Фортунатова–де Соссюра (перенос с краткого, циркумфлексного гласного корня на акутовую долготу окончания). Ср. латыш. *aka* 'колодец', лит. *ãkas* 'полынья', *akìs* 'глаз; незаросшая вода в болоте, небольшая бочажина' [дополнения О.Н. Трубачева в Фасмер[3] III, 1996, с. 127; Vanagas 1981, с. 37]. Судя по семантике балтийского прототипа, это название могло быть дано верховьям, истоку Оки, а отнюдь не среднему или нижнему течению этой большой реки.

В верховьях Оки, по-видимому, и было положено начало позднейшей области вятичей, ибо ядром вятичей называют верхнеокскую группировку славян, относимую археологически к VIII–X вв. [Седов 1999, с. 81]. Впрочем, и верхнедонских (боршевских) славян VIII–X вв., мигрировавших в массовом порядке на среднюю Оку в X в., тоже причисляют к вятичам [Монгайт 1961, с. 81, 85, 124], а уже известную нам многоактность прихода славян усугубляет широкая инфильтрация из Дунайского региона в VIII–IX вв., причем реалии и маршруты весьма напоминают то, что известно о вятичах (см. [Седов 1999, с. 145, 149, 183, 188, 195], где идет речь о прототипах семилопастных – вятичских – подвесок, попавших сюда с Дуная через Мазовше).

Приближаясь к нам постепенно из глубины веков, вятичи обретают черты, сближающие их и с современным районированием, и населением Европейской России. Так, в некоторых летописях вятичи уже отождествляются с рязанцами [Кузьмин 1965, с. 56]. Совпадают и ареалы. "Вся известная нам рязанская "област-

ная" территория по составу славянского населения была вятичской" [Насонов 1951, с. 213]. С некоторыми поправками и дополнениями: к области вятичей относят и курско-орловские земли [Котков 1951 ДД, с. 12]. Что касается преемственности заселения, важно иметь в виду популярность воззрения прошлого, суть которых заключалась в том, что степная сторона, вплотную подступавшая к Рязанской стороне с юга, и вообще широкие пространства Юга и Юго-Востока полностью обезлюдели и опустели в ходе известных событий, потрясавших прежде всего эти места, чем более защищенную лесную сторону. Но абсолютность этих воззрений давно вызывала сомнения и постепенно опровергалась со стороны истории языка и ономастики этой периферии, сохранившей на удивление древние образования.

Однако обделенность судьбой все же не обошла землю вятичей, если мы затронем вопрос о продолжении Кирилло-мефодиевских традиций славянской письменности. Нас ждет единодушно отрицательный ответ: "Рязанские летописи до нас не дошли" [Монгайт 1961, с. 9]; "Ничего не сохранилось от письменности обширных Рязанской и Черниговской земель" [Филин 1972, с. 89]; рязанские хроники существовали (но не дошли) [Даркевич 1993, с. 136]. Впрочем, этому не стоит удивляться, если вдуматься в ту трагическую роль форпоста, которую было суждено сыграть этой земле. В отношении сохранности письменности все остальные древнерусские земли богаче и благополучнее – Киевская, Галицкая, Псковско-Новгородская, Ростово-Суздальская и др. Гораздо большим парадоксом звучат поэтому доходящие до нас сведения о низовой грамотности, которую – на фоне упомянутого оскудения – вдруг обнаруживает рязанская, вятичская земля с самого давнего времени, но о ней – чуть ниже, когда речь пойдет о культуре.

Характер жилищ вятичей дополнительно отличает их как первоначальных южан – они селились в землянках и полуземлянках, как дунайские славяне, как "склавины" Иордана и, наконец, как, по всей видимости, еще праславяне. Говорят, эту примету не стоит преувеличивать, она обусловлена географической средой обитания; все же важно отметить наличие у вятичей на верхней и средней Оке полуземлянок, а к северу, в том числе у кривичей, – наземных срубных построек (домов), добавив, что граница между более северной *избой* и более южной *хатой* пролегала где-то здесь, по река Пра [Третьяков 1953, с. 197, 198; Монгайт 1961, с. 127; Ляпушкин 1968, с. 120].

В этой ситуации нам остается судить о культуре быта и духа вятичей по тем следам и остаткам, которые дает ископаемая, археологическая культура, у земледельцев-вятичей заведомо небо-

гатая. Все же благодаря трудам наших археологов мы узнаем здесь удивительно много. И здесь нас ожидает, может быть, один из наиболее парадоксальных сюрпризов: вятичские женщины носили необыкновенно элегантные семилопастные височные кольца, устойчиво характерные именно для вятичской области (см., вслед за Арциховским [Седов 1982, с. 143]). Их аналогов ищут и на Востоке, но нам больше импонируют – в общем ансамбле известных данных – западные прототипы, кратко указанные также у нас, выше, ср. еще отмечаемое наличие у древневятичских женщин пластинчатых загнутоконечных браслетов **западноевропейского типа** (так! см., со ссылкой на Арциховского [Никольская 1981, с. 100, 113]. Завидное следование моде, особенно если учесть, что речь-то идет о "глухой земле"! Говоря о вятичских, далее – о рязанских женщинах, нельзя не вспомнить о живом до сих пор обыкновении ношения понёвы, тем более, что, как отмечают, "ареал синей клетчатой понёвы совпадает с территорией распространения вятичских семилопастных височных колец ..." [Осипова 1999, ДК, с. 72]. Можно, далее, вспомнить о характерности понёвы 'род юбки' для великорусского Юга, а сарафана – для великорусского Севера, однако сразу скажем, несколько забегая вперед, что названное противопоставление (оппозиция) оказывается исторически иррелевантным, поскольку "северновеликорусский" сарафан пришел определенно тоже с юга и вообще это позднее заимствование из персидского и поздняя форма (ср. *–ф-*!) и первоначально не обозначало **женскую** одежду ... Остается только *понёва / понька* со своим сниженно диалектным уровнем, но яркой, еще праязыковой древностью (праслав. **pon'a*), не меньшей, чем у укр. *плахта* (праслав. **plaxъta*), обозначения архаического прямого покроя, собственно – куска ткани, что подтверждается этимологически. Ср. любопытные аналогии [Третьяков 1953, с. 197]: "Этнографические данные показывают, что в придунайской Болгарии распространен особый тип женского национального костюма, в других частях полуострова почти не встречающийся, находящий себе ближайшие аналогии в украинской национальной одежде, принадлежностью которой является "плахта", или одежда великорусов Курской и Орловской областей, где были в употреблении "понёва" и особый вид передника (рис. 44)".

Естественно, что вся жизнь на Оке полностью преобразилась с приходом туда христианства. Справедливо также и то, что христианство появилось как городская культура [Иловайский 1858, с. 32], и хотя это случилось несколько позже, чем у остальной Руси, все же христианизации весьма способствовало наличие значительного числа древних рязанских городов, известных в пери-

од с XI по XIII век: летописями упоминаются за это время в качестве рязанских городов (и селений) Коломна, Ростиславль, Осетр, Борисов-Глебов, Солотча, Ольгов, Опаков, Казарь, Переяславль, Рязань, Добрый Сот, Белгород, Новый Ольгов, Исады, Воино, Пронск, Дубок, Воронеж, а по Никоновской летописи к рязанским городам относятся еще Кадом, Тешилов, Колтеск, Мценск, Елец, Тула. И это, конечно, не все, в других источниках упомянуты города Ижеславец, Вердерев, Ожск [Рязанская энциклопедия 1995, с. 98, 126, 183, 388]. Конечно, это и в древности, очевидно, были сплошь и рядом скорее селения, а не города в полном смысле слова. Кроме того, иные из них захирели и превратились в села, как село со славным именем Вышгород, на Оке, как, в конце концов, та же Рязань (Старая), былая столица княжества. Некоторые такие города-селения были буквально забыты историей, так и не попав в поле зрения летописца. Так судят специалисты о двух городах вятичей, носивших древнее название Перемышль – на Оке, в Калужской области, и на реке Моча, в Московской области [Никольская 1981, с. 157 и сл.].Сама номенклатура в данном случае ведет нас вспять, на древнее русско-польское пограничье, где до сих пор известен город Перемышль, он же по-польски Przemyśl (теперь в пределах Польши [Rymut 1987, с. 195]), возвращая нас тем самым на "трассу вятичей", как мы ее понимаем.

Перенос названий в Рязанской земле с юга – это известный эпизод, в целом уже довольно проясненный – в той части, в которой он касается миграции названий с относительно близкого юга, из Среднего Поднепровья, Киевщины, земли Полян. Тут мы имеем дело с повторением целых топонимических гидронимических ансамблей, взять хотя бы это повторение в черте города Переяславль Рязанский (нынешняя Рязань) – Переяславль – Трубеж – Лыбедь – Дунай/Дунаец, которое неизменно упоминается всеми писавшими об этих местах [Смолицкая 1976, passim; Тихомиров 1956, с. 434; Даркевич 1993, с. 65; Чумакова 1992, с. 8; Рязанская энциклопедия 1995, с. 507]. Не все, правда, просто и однозначно и с этими названиями, во всяком случае теми из них, на которых лежит печать более дальних связей и прихода/переноса с более дальнего юга и юго-запада: это Дунай/Дунаец, указывающий (через посредство польской территории и тамошних вех вроде Dunajec, приток верхней Вислы [Hydronimia Wisly 1965, с. 26]) на великую реку в Центральной Европе, и Вышгород, также обнаруживающий, помимо киевского, днепровского, дунайский прототип. Относительно Дунаи, Лыбедь см. еще [Етим. словн. 1985, с. 53–54, 83–84], еще одну западную ассоциацию – Вислица в Среднем Поочье см. [Чумакова 1992, с. 124–125, 142].

Огромной проблемой по-прежнему остается южный, юго-восточный фланг вятичей, максимальное расширение которого пришлось на дописьменные, "темные" века, которых главным образом и касается реконструкция в труде Шахматова и нескольких других ученых, охватываемая понятием "Приазовской" (иначе – Азовско-Черноморской) Руси, которую целые последующие поколения почему-то поспешили сдать в архив. Здесь мы не будем на ней останавливаться, поскольку уже сделали это в другом месте. Заметим лишь, что это как раз тот случай, когда правдоподобие и вероятие привычно недооцениваются. Ведь дело отнюдь не только в том, что с XI в. был перерезан "торный путь" с Оки по Дону в Тавриду [Иловайский 1858, с. 123]. Дело в том, что пространство русского языка и племени реально было другим, и Тмутаракань как дальний южный форпост объективно свидетельствует об этом. Только на этом пути мы еще, пожалуй, способны наверстать и понять многое, в том числе и генезис русского имени. Взамен этого позитивистски настроенная история довольствуется только реальностью "Дикого поля" и старательно избегает реконструкции даже самого очевидного.

Из древностей, гораздо более ранних, чем X век, связавших в первую очередь вятичскую, рязанскую Русь и русскую Тмутаракань на Таманском полуострове, назовем здесь боспорские монеты III–IV вв. н. э. в археологических раскопках на городище Старой Рязани [Монгайт 1961, с. 46–47] да еще, пожалуй, тождество семантического калькирования, установленное между древнерусским названием города Славянск-на-Кубани – *Копыль*, означавшим, видимо, не только 'подпорка', но и 'отросток', и восстановимым индоарийским (синдо-меотским) названием примерно тех же мест – **ut-kanda* 'отросток', очень красноречивым в моих глазах [Трубачев. INDOARICA 1999, с. 286].

Сказанное (включая этот яркий, по-моему, пример "индоарийских зорь на кубанском хуторе") имело целью показать довольно четкую привязку еще одного из вятичско-рязанских парадоксов как на стадии блистательного прирастания русских земель Юго-Востоком (О Рускаѧ земле, уже за шеломѧнемъ еси! '... за проливом' Слово о полку Игореве), так и на стадии последующих горьких утрат, взывавших "поискати града Тьмутороканѧ" (Там же). Русь помнила эту связь Рязани и Тмутаракани [Иловайский 1858, с. 14] и притом – очень четко, ср. [Татищев 1962, с. 249]: "Тмуторокань..., ныне Резанская правинцыя". Разумеется, с вариантами: Тмутаракань – черниговский город [Тихомиров 1956, с. 351]. Конечно, нельзя забывать об участии во всем этом Северской земли, хотя и не с той степенью державности.

Возвращаясь к истории культуры, мы наблюдаем, пусть единственное, но курьезное повторение вятичско-рязанского парадокса (отсутствие письменности при наличии проявления ранней низовой и бытовой грамотности) опять-таки в Тмутаракани, откуда дошла эта единственная древнейшая канцелярская надпись на камне XI века о том, что князь Глеб мерил море по леду от Тмуторокани до Корчева (Керчи) ... Этот эпиграфический памятник взвихрил вокруг себя целую дискуссию насчет своей подлинности, но стоит прислушаться к мнению: "с точки зрения языка она (надпись. – *О.Т.*) безупречна" [Шахматов I, 1908, с. 287; Медынцева 1979, passim].

Клад в приокском селе с древним названием *Вышгород* содержал наряду с железными сельскохозяйственными орудиями также писала для письма [Монгайт 1961, с. 196]. Эти писала, или стили, применялись для нанесения самых разных, в основном бытовых, надписей. Очевидно, перед нами то, что относят к **доруко**писной продукции, ср. [Рождественская ДД 1994, с. 9], но только такая письменность Рязанской земли единственно дошла до нас, знаменуя собой и грамотность, и городскую культуру [Тихомиров 1956, с. 85, 263], и – со всей скудостью – состояние живого местного языка, не будучи произведением переводной литературы. Рязанские граффити датируются в основном XII–XIII веками [Даркевич 1993, с. 138], но есть, возможно, и более древние, как на пряслице, найденном рязанским археологом В.И. Зубковым в 1958 году: **ПРѧСЛНЬ ПАРАСИН** 'пряслень Парасин' [Монгайт 1961, с. 156–157], XI – начало XII в. Любопытно как свидетельство женской грамотности. Само собой, это предполагает, кроме грамотности владельцев, городского населения (в противном случае надпись просто теряет смысл), также грамотность производителей, ремесленников. В литературе уже набралось некоторое количество свидетельств этой грамотности – надписи "княжее есть", "Молодило", даже фразы: "Новое вино добрило послал князю Богунка" (тоже XI–XII вв.), причем делается любопытная констатация, что эта – домонгольская – грамотность населения Рязани превосходит грамотность позднейшую [Медынцева 1988, с. 248, 255]. Надписи фиксируют личные имена людей: "Орина", медальон, найденный в Старой Рязани [Тихомиров 1956, с. 427], "Макосимове", надпись на литейной формочке в Серенске [Никольская 1981, с. 142, рис. 48], в последнем случае притяжательная форма 'Максимов' (sc. lic. 'льячек'?), с любопытной огласовкой конца слова им. п. ед. ч. м. р., обычно наблюдаемой на новгородском северо-западе. Остается добавить, что однотипные пряслица (распространенный предмет для нанесения надписей) "бытуют в Рязанской области и до настоящего времени" [Монгайт 1961, с. 296].

Город Рязань впервые упомянут (именно упомянут, а не основан) в 1096 г., на добрых полвека раньше Москвы. Это полувековое опережение мы еще сможем вспомнить потом, когда зададимся вопросом, кем или на чьей почве была основана Москва. Когда речь идет об основании города, все охотно начинают припоминать этимологию его названия, – историки, археологи, возможно, охотнее других. Так и на этот раз. Если не считать откровенно любительского сближения Рязань с диал. *ряса* 'топкое место', которое элементарно сюда не подходит прежде всего потому, что Рязань (и Старая, и новая, Переяславль Рязанский) закладывалась на правом, **горном** берегу Оки, популярно и пользуется широкой известностью толкование от мордовского *Эрзянь* 'эрзяньский, эрзя – мордовский' (см. [Никонов 1966, с. 362], но и оно сомнительно как в формальном отношении [Фасмер[3] 1996, III, с. 537], так и в реальном, в общем придумано ad hoc. Начинать надо с уточнения первоначальной формы названия, а таковой – что замечательно! – была форма **мужского** рода: *къ Резаню* [Иловайский 1858, с. 23]. Дальше все выстраивается в довольно логичный ряд: *Рѣзань* – притяжательное прилагательное на *-jь* от личного имени собственного *Рѣзанъ*, то есть 'принадлежащий человеку по имени Рѣзань'. Мужской род древнейшей формы названия города понятен в виду согласования с *городъ*: двучлен *Рѣзань* (*городъ*) – это 'Резанов город' (реальность личного имени *Рѣзанъ*, известного с 1495 г., см. [Тупиков 1903, с. 402; Веселовский 1974. Ономастикон, с. 267: Резановы, Резаный, XVI в.]. Сюда же, кстати, и фамилия *Рязанов* (*е* > *я* вне ударения в якающей среде, прямое же соотнесение с *Рязанью* [Унбегаун 1989, с. 113] неточно). Впрочем, формы на *-е-* держались довольно долго, ср. *резаньскои,* 1496 г. [Котков и др. Памятники XVI–XVII вв. 1978, с. 15]. На естественный вопрос, что представляет собой само это исходное личное имя Рѣзанъ, ответ в общем ясен: краткая форма страдательного причастия, то есть 'резаный', так назвать или прозвать могли младенца, 'вырезанного (из чрева матери)' ср. так уже [Фасмер[3] 1996, III, с. 537]. Внешне непрестижное, это имя-прозвище могли порой носить люди выдающиеся. Предположим, что таким был какой-то предводитель-вятич *Рѣзанъ*, по которому недаром был назван **Рѣзань городъ*. Сделать это нам позволяет ни больше, ни меньше как аналогия с *Царьградъ*, ибо наше *царь*, полное *цѣсарь* – от лат. *Caesar*, производное от *caedō* 'резать, рубить', откуда *caesar* буквально – 'выпороток, вырезанный из чрева матери' (Знаменитый Г.Ю. Цезарь родился как раз таким, оперативным путем "кесарева сечения", прославив впоследствии свое прозвище). Наше этимологическое отвлечение может быть полезно еще и тем, что показывает: никакой 'земли от-

резанной' имя города *Рязань* скрывать не может (ср. об этом [Рязанская энциклопедия 1995, с. 511]).

Имеет смысл завершить сравнение двух городов (Рязань – Москва), поскольку, как кажется, мы, говоря и о Москве, законно остаемся в земле вятичей.

В связи с интересующими нас вопросами нельзя не обратить внимание на наличие вскрытого археологами широкого клина вятичей XI–XIII вв., захватывающего с Юга все "ближнее Подмосковье" и Москву (см. В.В. Седов у [Войтенко 1991, с. 61]). Курганы вятичей находят вокруг Москвы и в ее черте, что констатировали начиная с Арциховского см. [Насонов 1951, с. 186]. Больше того, самый густой район находок вятичских семилопастных височных колец оказывается не в Поочье, а в Подмосковье [Седов 1982, с. 144–145]. Далее, когда сам В.В. Седов полагает [Седов 1999, с. 238–239], что Москва была основана и заселена со стороны Ростова и Суздаля, он, по-видимому, недооценивает известные, конечно, и ему ляшско-вятичские топонимические тождества, ср. *Тула – Tuł, Вшиж – Uściąż, Коломна – Коломыя*, см., с литературой [Трубачев 1971, passim], там же – несколько вятичско-чешских соответствий Подмосковья и Поочья*. Самым же ярким и полным является ляшско-вятичское тождество *Moskiew* (в польском Мазовше) = *Москва*, оба члена которого, с польской и русской стороны, регулярно восходят к древней праславянской основе на *-и-*долгое **mosky*, род п. **moskъve* и при этом уверенно этимологизируется из слав. **mosk-* 'влажный, сырой'. Ср. еще [ЭССЯ 20, 1994, с. 20; Трубачев 1994, с. 10; Трубачев 1997, с. 105]. Таким образом, кажется, можно подвести определенные итоги в долгой дискуссии о происхождении имени нашей столицы, точнее, конечно, исторически первоначально – названия реки Москвы, причем сближения с суоми-фин. *Maskи* или с балтийским материалом ("балтика Подмосковья") все же уступают по вероятию, глубине реконструкции и всему упомянутому выше культурному фону тождеству *Moskiew=Москва*, др.-русск. *Московь*, вин. п. ед. ч. (см. остальную литературу и прочие сведения в [Фасмер[3] 1996, II, с. 660]. Как тут не вспомнить старика Татищева и всю его проницательность: "Но я правее разумею быть имя Москвы реки – сарматское – болотная, ибо в вершине оной болот немало ..." [Татищев 1962, с. 314]. – Все ведь верно и справедливо

---

* Не забудем здесь и летописное имя вятичского племенного старейшины *Ходота* с его доказанными западнославянскими ассоциациями [ЭССЯ 8, с. 50]. Относящиеся сюда ЛИ *Ходута*, засвидетельствованное в составе отчества *сожуждалъцъ Ходоутиничъ* в берестяной грамоте XII в. [Зализняк 1995, с. 183 и 239] лишь усугубляет интерес к этому факту.

и притом – не только "в вершине", вспомнить хотя бы знаменитую "Москворецкую лужу" и частые московские наводнения в старину, и, в конце концов, одно то, что Москва и всё ближнее Подмосковье стоит на глинистых почвах ... Вот и всё пока о Москве, добавим лишь, помня то, что когда-то писалось о Рязани (см. также выше), что из двух этих вятичских столиц (если можно так выразиться), на самом топком месте оказалась Москва.

3. ЦЕНТР–ПЕРИФЕРИЯ–АРЕАЛ

Племя Вятичей, начавшее селиться во второй половине I тысячелетия в приокских краях, оказалось сравнительно неподалёку от Киева, на северо-восток, облюбовав редконаселенные земли. Скорее всего, этими местами несколько раньше прошли дальше на север будущие новгородские словены и кривичи. Сами же вятичи вскоре приступили к освоению больших пространств к востоку и юго-востоку. Так, включая ранее освоенные Запад и Юго-Запад, постепенно организовалось восточнославянское этническое и языковое пространство, ареал. Его нормальное функционирование неизбежно выражалось в едином этническом самосознании (достаточно раскрыть начальную русскую летопись, чтобы почувствовать его реальное наличие: "а славянское и русское одно есть"). Лингвистической ипостасью единого этнического самосознания обязательно должен был быть относительно единый (дописьменный и долитературный) наддиалект. Само понятие и название наддиалекта говорит, что он суммирует некую подпитывающую его сложность местных диалектов. Поводом для обсуждения этой **сложности** (vice versa этого **единства**) послужило состояние этих вопросов в нашей науке последних десятилетий, где накопилось много неясности и даже тупиковых состояний, начать хотя бы с обсуждения вопроса об общенародном нелитературном языке, отмечая при этом готовность (пусть временами не очень четко выраженную) обсуждать его у некоторых авторов, наряду с явным отсутствием интереса к проблеме – у других. Кажется очевидным, что названный выше наддиалект, или общенародный нелитературный язык, он же – "устный литературный язык" – это универсалия, нормальная функция множества низовых диалектов, подтверждаемая ближними и дальними параллелями, лишь усиливающими впечатление серьезности проблемы, ср., с одной стороны, ссылку на устный литературный язык якутских народных сказителей (Убрятова в: [Бородина 1968, с. 117], а с другой стороны – и это самое важное для нас – отголоски дискуссии в нашей науке, в сущности, о том же: "Нель-

зя согласиться с положением Р.И. Аванесова, будто бы русского языка вне пределов литературного языка не существует" [Филин 1972, с. 69]. Действительно, в нашей диалектологии популярно оперирование не вполне ясными категориями "диалектного языка" и "системы систем", при крайне слабом интересе именно к наддиалекту или "наддиалектному койне" [Трубачев 1998, с. 4]. Хотя было бы несправедливо утверждать, что близкие к проблеме факты вовсе не попадали в поле зрения исследователей конкретного материала. Ср., например, одно из сделанных вскользь замечаний о наличии "в русском диалектном языке" (?) "общих элементов" синтаксиса, употребляющихся "во всех говорах" [Русская диалектология 1964, с. 173]. И таких замечаний, наблюдений найдется немало, впрочем, возможно, при более или менее ощутимом отсутствии сознания необходимости сделать следующий шаг – я имею в виду обобщение о наддиалекте. Сюда, несомненно, относятся пытливые, хотя порой и вскользь высказанные мысли С.И. Коткова – о широком просторечии (в работе об орловских диалектах), об общенародности языка старого эпистолярного наследия, против популярного заключения Лудольфа 1696 года о том, что у нас говорили по-русски, а писали будто бы только по-церковнославянски [Котков 1980, с. 36].

Несколько забегая вперед и в интересах, как кажется, правильного понимания существующего положения, многое (если не всё) определялось у нас унаследованными еще от Шахматова представлениями, согласно которым идея койне не шла дальше мыслей о городском говоре, например Киева [Шахматов. Введение 1916, с. 80], общеязыковая материя сводилась к неисчислимому множеству "индивидуальных языков", а общевеликорусский язык, как и общевеликорусская народность признавались "фикцией", во всяком случае – поздней реальностью. Мы будем к этому возвращаться еще ниже, но, повторяю, для правильного понимания это важно отметить уже с самого начала.

Итак, речь должна идти в немалой степени о мире идей и научных построений Шахматова. Академик Алексей Александрович Шахматов, безусловно, – центральная фигура в науке о русском языке и его истории, как, впрочем, и в собственно русской истории. Его авторитет, его научное влияние, объем сделанного им за непродолжительную, примерно полувековую, жизнь не имеют себе равных. И сейчас, перечитывая труды Шахматова, неизбежно испытываешь очарование силы ума и удивление перед огромностью знаний.

Непродолжительная жизнь этого замечательного ученого и не менее замечательного человека окончилась в 1920 году, как раз в то время, или в канун времени, когда в европейской лингви-

стике еще только намечалось начало лингвистической географии – системы научных понятий, в корне повлиявших на широкие области исследования языка. Конечно, со своей стороны, до известной степени тормозящее воздействие имело, как кажется, излишне последовательное соблюдение Шахматовым принципов лингвистической школы своего учителя, Ф.Ф. Фортунатова, и критика не преминула отметить это: явно избыточный перенос в праязыковую реконструкцию многих звуков позднего и местного образования, преувеличение фактора "смешения" языков и диалектов, а также переоценка индивидуальноязыкового за счет общеязыкового (см. отчасти [Lehr-Spławiński 1921 – 1957, passim]). Но самым крупным несоответствием или даже трагизмом видится сейчас то, что рано умерший Шахматов по не зависящему от него стечению обстоятельств буквально всего на несколько лет "разошелся" по времени с подъемом лингвистической географии, который развернулся в романских и германских странах. Результаты, к сожалению, не замедлили сказаться, и сейчас многое по известным причинам видится иначе. Многие, в том числе принципиальные, построения и выводы Шахматова о русском языковом развитии звучат проблематично, не отвечают возможностям современной науки и нуждаются в иной формулировке, иной точке отсчета. Повторяю: в наметившемся разночтении меньше всего можно винить самого Шахматова. С ним закончилась славная эпоха, оставившая замечательные исследования и добротные собрания материалов, эпоха **до лингвистической географии.** Труднее понять последующие поколения ученых, которые, исследуя русский языковый материал, продолжали почти всецело идти за Шахматовым. Сложилась необычная ситуация, о которой надо говорить, тем более, что до сих пор этого не сделали. Парадоксально то, что критика трудов Шахматова вроде имела место неоднократно, в том числе и в наше умудрённое и проинформированное время. Удивляет же то, что и у видных критиков Шахматова мы практически не находим систематических попыток нового прочтения шахматовской истории и диалектологии русского языка. Должен оговориться, что дело отнюдь не в недостатке или отсутствии термина "лингвистическая география". Скорее уместно иметь в виду дефицит осмысленного применения самих понятий, в том числе главных из них: центр – периферия – ареал. Этим занимается лингвистическая география, см. например удобный обзорный очерк [Бородина 1968, с. 106 и сл.]: лингвистическая география не сводится к картографированию, будучи **сугубо исторической наукой,** а значит, это не составление атласов, а их интерпретация, использующая понятие ареала, изоглоссы, очага распространения и такой критерий, как **обращенность в про-**

шлое. Будучи специалистом по романским языкам, Бородина довольно осторожна в оценке русской диалектологии, не решив для себя окончательно вопроса, имеем ли мы здесь перед собой опыт лингвогеографической работы или лишь подготовку к последней. Чтобы не быть голословным, назовем весьма характерные, классические труды этого направления, как например, "Патология и терапевтика слов. Исследования по лингвистической географии" (I–III, 1915–1921) Ж. Жильерона, "География слов верхненемецкого обиходного языка" П. Кречмера (1918).

Могу также поделиться собственным ранним опытом лингвогеографического изучения славянско-неславянских интерференций в области обозначения понятия 'ни один', довольно характерных славянских периферийных образований вроде ст.-чеш. nižadný, ст.-польск. niżadny (**ni-že-jedьnъ*), в конечном счете ареальное новообразование, удивительно напоминающее также ареальное структурно близкое новообразование на соседней – германской почве, франк. *ni-g-ein* 'ни один', что позволяет говорить об элементах языкового союза (там же параллели с других славянских периферий), см. Трубачев О.Н. Лингвистическая география и этимологические исследования (ж. Вопросы языкознания, 1959, № 1, специально – с. 28 и сл.; вышло также в немецком переводе: Trubačev O.N. Sprachgeographie und etymologische Forschungen // Etymologie. Darmstadt, 1977, s. 247 и сл., особенно 271 и сл.).

Четкого лингвогеографического аспекта, как я уже сказал, мы не нашли и у наших маститых критиков Шахматова, см. [Филин 1972, с. 37, 43, 54], где критика идет по другим параметрам, а шахматовское понимание "переходных говоров и говора Москвы" даже вызывает одобрение. Ниже мы коснемся этих важных понятий.

То, что обычно называют лингвистической географией у нас, есть скорее наука о распределении фонетических и морфологических типов в рамках одного языка и одного времени, тогда как классическое понимание лингвистической географии – **историческая география слов** (нем. *Wort-geographie*) [Трубачев 1959, с. 21]. К сожалению, столь отличная трактовка (лингвистическая география как **описательная диалектология**) никем и никогда не оговаривалась, по крайней мере мне об этом ничего неизвестно. Не вполне ясны и мотивы; можно разве что предполагать, что в этом повинен все тот же одновременный (с 50-х гг.) "бум" описательно-структуралистских направлений, при упадке сравнительно-исторического языкознания у нас [Трубачев 1987, с. 20]. Я допускаю, что серьезные исследователи все же испытывали определенное неудобство от означенного несоответствия, о чем могут

свидетельствовать попытки как-то "развести" собственно диалектологию и лингвистическую географию, ср. [Горшкова 1968, с. 9, 48; Горшкова 1972, с. 37], где говорится об исторической лингвогеографии как отделе исторической диалектологии, а карты лингвистических атласов квалифицируются как "источник исторической лингвогеографии".

И хотя эти вялотекущие поиски, может быть, продолжаются, мы наблюдаем объективно наличествующие негативные следствия вышеназванного взаимонаплыва или смешения понятий. Именно так приходится воспринимать случаи прямолинейного отождествления также изоглоссы, с одной стороны, и диалектной границы, даже госграницы – с другой, тогда как необходимо (в духе лингвистической географии) исходить – как минимум – из относительности и проницаемости всех границ, в их числе – диалектных [Трубачев 1959, с. 16]. Здесь остается вспомнить, что подобные прямолинейные трактовки ярко выражены уже у Шахматова, который не довольствуется проникновением самого явления – аканья – на белорусский Запад с Востока, но рисует целую восточно-русскую "иммиграцию" в Белоруссию как источник и носитель аканья [Шахматов. Курс истории II, 1910, с. 177; Шахматов 1915, с. XLIII]. В другом случае у него речь идет о "наводнении всей Белоруссии и радимичами, и вятичами" [Шахматов. Введение 1916, с. 110]. Мы сейчас в языкознании довольно реально себе представляем, что то же "аканье" вряд ли импортировали таким буквальным образом, подобно тому как и археологи считаются с миграцией моды на те или иные артефакты и обычаи, а не с обязательной миграцией самих носителей артефактов или обычаев. Преувеличенное отождествление пучков изоглосс юго-западной зоны и границы Великого княжества Литовского XIV в. [Образование сев.-русск. наречия 1970, с. 11 и passim] тоже похоже на признание единственного свойства изоглосс – совпадать с госграницей и не нарушать ее. Отождествление изоглоссы и госграницы см. также и [Касаткин 1999, Введение, passim].

Огромную проблему лингвистической географии представляет определение **инновационного центра** языкового ареала. То, что мы имеем по этому вопросу в нашей литературе, объективно является отождествлением, или подменой инновационного центра центром политическим, административно-территориальным. Собственно говоря, именно в этом последнем смысле понимает "говор центра" Р.И. Аванесов, см. [Аванесов 1947, с. 156], когда помещает центр русского глоттогенеза в Северно-Восточной Руси [Там же, с. 109]. Это понимание владимирско-поволжской группы как диалектной зоны центра возымело популярность в последующие годы [Горшкова 1968, с. 180, 182; Горшкова 1972,

с. 105], ср. и [Русская диалектология² 1989, с. 193]: "В основу русского литературного языка лёг диалект Ростово-Суздальской земли". Вариации на тему наблюдаются в тех случаях, когда делаются попытки совместить говоры "центра" и "территорию говоров, окружающих Москву" [Захарова, Орлова 1970, с. 59, карта № 7].

Но к чести наших конкретных исследователей-диалектологов нельзя не отметить также случаев как бы интуитивного нащупывания также того, что можно назвать действительно инновационным центром. Сюда относится выделение курско-орловской группы южновеликорусского наречия между 35° и 37° восточной долготы и диссимилятивным яканьем суджанского типа [Захарова, Орлова 1970, с. 130 и сл.], ср. еще о диссимилятивном аканье и его центре – [Аванесов 1949, с. 66, 301]. Вообще с аканьем связывали идею лингвистического центра уже давно, ср. "сильно акающий центр", по А.И. Соболевскому, охватывающий Орловскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Курскую, Воронежскую губернии [Котков. Из истории 1951, с. 17]. Здесь необходимо вспомнить тезис Шахматова об исконности южновеликорусского (орл. и др.) аканья, сравнительно с белорусским [Котков ДД 1951, с. 58–59]. Собственно говоря, можно было бы говорить об общепринятости или во всяком случае распространенности мнения об аканье как явлении центра древнего восточнославянского ареала, ср. [Георгиев etc. 1968, с. 92]. Равным образом обращает на себя внимание признание центрального, в сущности, характера "курско-орловской группы южного наречия" [Русская диалектология 1964, с. 274]. Смутными исканиями в том же направлении, кажется, были шахматовские поиски – в его терминах – восточнорусского, иначе – среднерусского, наречия на Верхнем Дону и Северском Донце, с аканьем (гл. III, с. 71). В этой связи можно указать на Окско-Донской водораздел с его скоплением удивительно архаичных славянских гидронимов: Снова, Калитва, Идолга, Щигор, Иловай, Излегоща, Толотый [Трубачев 1994, с. 9] – случай, когда архаизмы периферийного вида как бы подступают к искомому языковому центру, парадокс в вятичском духе, поскольку нигде больше в восточнославянском ареале феномены центра и периферии, испытавшей и расширение, и сжатие, мы как будто в такой близости не наблюдаем. В.В. Седов заинтересовался архаической славянской гидронимией на днепровском левобережье и на Дону у Трубачева, связывает их с волынцевской и роменско-борщевской, то есть вятичскими археологическими культурами [Седов 1999, с. 61], но в поисках восточнославянского центра (очага) в работах того же автора сомневается, помещая, впрочем, примерно там и ареал эт-

нонима RUZZI Баварского географа и Русский каганат [Там же, с. 19, 64, 73]. В общем, как говорится, – время рассудит.

Многие помнят, возможно, какому суровому критическому разбору подверглись две книги Г.А. Хабургаева – "Этнонимы Повести временных лет в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза" (М., 1979) и "Становление русского языка" (М., 1980), см. [Jeorge Y. Shevelov 1982, с. 353 и сл.]. Книги эти, действительно, представляли странную смесь археологии с диалектологией, порой также – с недоброкачественной этимологией и реконструкцией. Но главный приговор был вынесен рецензентом даже не за это: "Если бы Х. (абургаеву) удалось этот центр (иррадиации многих процессов языкового развития. – *О.Т.*) определить, это было бы его большой заслугой. Но он не пытается это сделать; как кажется, он даже не видит этой проблемы" [Там же, с. 361]. Да, этой проблемы не видели, и за этим стоял уровень лингвогеографических изучений.

Может быть, стоит поэтому, а также в связи с некоторыми серьезными наметками и высказываниями, процитированными уже выше, присмотреться, в частности, к курско-орловской группе говоров, удобно выделенной на диалектологической карте 1964 года и на диалектологической карте русского языка в Европе 1914 года, см. [Русская диалектология 1989, форзацы]. Трагизм проблемы, если можно так выразиться (хотя трагизма русской науке вообще не занимать, и даже в нашем сжатом очерке эта тема звучит уже дважды), выразился в данном случае в том, что в известной работе И.В. Сталина 1950 г. содержался тезис о курско-орловском диалекте как основе русского национального языка. Как всегда у нас, славословия вдруг резко потом оборвались, и в последующий период воцарилось тяжкое табу над этой темой, проблемой и в целом – над поисками центра [Трубачев 1982–1997]. Как водится в таких случаях, с водой выплеснули и ребенка. Серьезный историк русского языка С.И. Котков, подготовивший диссертацию об орловских говорах, оказался легкой мишенью для всяческой критики. А между прочим, речь шла о работе, пролившей много света не только на орловские говоры, их состояние и разностороннюю историю, более того, исправившей немало застарелых перекосов в оценке отношений **северновеликорусский – южновеликорусский – общенародный** (национальный, литературный) язык. Мы не раз и не два обратимся еще к этой диссертации и другим работам Коткова. Некоторые пассажи оттуда явно заслуживают воспроизведения. Напр.: "В массе орловских говоров они (формы им. п. мн. ч. на *-а* м. р. – *О.Т.*) охватывают в основном тот же словарный круг, какой находим в литературном языке и широком просторечии ... *берега, бока, вер-*

ха, ветра, вечера, волоса, ворота, глаза, года, города, дома, закрома, колокола, леса, луга, номера, погреба, поезда, рога, рукава, снега, сорта, тока, трактора, триера, хлеба, холода" [Котков ДД 1951, с. 626]. Ср. данные [ДАРЯ II, 1989, карты 24, 25,27, а также Комментарии], фиксирующие преимущественно "северное" окончание *-ы* [и]. Не менее информативно, далее, наблюдение об окончании род. п. ед. ч. на *-в-* (*другово, синево, моево*), которое **считается характерным для севернорусского**, а в действительности господствует в орловских говорах, согласно результатам обследования [Котков 1980, с. 135]. Констатируется несколько большая близость южновеликорусских говоров к общенародному языку в области синтаксиса, чем это имеет место в отношении северновеликорусского [Там же, с. 107]. При этом речь не ведется о прямолинейной иррадиации центральнодиалектное → общенародное, а о "перемалывании" курско-орловского в общенародное [Котков ДД 1951, с. 755–756].

Но центральным было и остается явление аканья, центральным как по структурной характеристике и важности ввиду охвата также общенародного (национально-литературного) языка, так и по своей центральнодиалектной принадлежности, и это признается разными авторами, ср. [Горшкова 1972, с. 125] – о первоначальной территории акающего диалекта, включающей курско-орловские и соседние говоры, см. также уточнение, что для орловских говоров характерны "примерно те же безударные гласные", что и для литературной речи [Котков ДД, 1951, с. 428]. Центральноюжновеликорусский характер отмечается и для диссимилятивного аканья, см. [Аванесов 1949, с. 301 и сл., там же карта И.Г. Голанова], ср. и [Русская диалектология[2] 1989, с. 44], уточнение границ диссимилятивного аканья в сторону их расширения, сравнительно с [ДАРЯ I, карта № 1], см. [Касаткина 2000], впрочем, ср. уже [Котков ДД, 1951, с. 430]: "Восточная граница диссимилятивного аканья в Орловской области не выходит за восточные пределы диссимилятивного аканья суджанского типа". Примерно на тот же центр наслаивается диссимилятивное яканье: Курск – Орел – Смоленск [ДАРЯ I, карта 3, 8; Захарова, Орлова 1970, с. 94]. Эти диссимилятивные преображения безударного вокализма, честь открытия которых принадлежит Шахматову [Макаров 2000, с. 183], типа диалектных *с*[ъ]*ва*, тр[ъ]ва [Русская диалектология[2] 1989, с. 45], курск., льговск. *жылѣзо, жына, жыра* [Шахматов. Курс истории II, 1910, с. 700 и сл.], *жылаши, цына* [Котков ДД 1951, с. 141, 291], *въда, жыра, шыгать* [ДАРЯ I, карта1, 2; Программа, с. 199], в ограниченном, правда, объеме и не надолго, проникли и в стандартнолитературную орфографию, орфоэпию, ср. пресловутые "сценические" *жыра,*

шыги [Касаткин 1999, с. 479, 480: как *ша*^{ъ}*ги*, *жа*^{ъ}*ра*], ср. уже отсутствие подобных рекомендаций в [Орфоэп. словарь^{6} 1997].

Словом, картина, в том числе пространственная, явлений (типов) аканья-яканья непростая, сложная даже для лингвиста-недиалектолога. На множественность этих типов также обратили внимание давно, ср. [Даль 1852, с. LXXV] о том, что, например, "в смоленском наречии акают до приторности, и аканье это усиливается на запад и юг, через Белую до Черной и Малой Руси ..." Почтенный лексикограф так отзывался о том, что потом стали квалифицировать как белорусский, полный характер аканья [Шахматов. Курс истории II, 1910, с. 379–380]. Для срединных же, означенных выше говоров характерна пестрота типов аканья-яканья на довольно ограниченном пространстве. Все эти генетические более новые, разнообразные типы, в основном – диссимилятивного аканья (яканья) – суджанский, обоянский, щигровский – **все** сосредоточены в зоне курско-орловских говоров, проще говоря – на курской земле, откуда и исходили эти **инновации**, знаменующие тем самым **центральность** зоны. Инновации были в известном смысле множественными, ср. сюда еще иканье – орловско-курское, но и среднерусское, и национально-литературное [Котков ДД 1951, с. 467, 476; Русская диалектология 1964, с. 61]. Все это, вместе взятое, создавало ту самую пестроту и неоднозначность характеристики, которую по канонам дисциплины и должен проявлять **центр лингвогеографического ареала**. Из этих черт некоторые в разном объеме устремились центробежно в более периферийные области, ср. иканье в московских говорах и отдельные отражения диссимилятивных явлений в самом высоком речевом стандарте, о чем кратко – выше.

Конечно, остается традиционно трудный вопрос о происхождении аканья, и здесь не могут быть, естественно, признаны достаточными и убедительными ссылки на "безболезненность" и "легкость" перехода от оканья к аканью [Аванесов 1947, с. 146]. Почему тогда, спрашивается, не начала "акать" вся территория языка? Видимо, не стоит оставлять без внимания сопутствующий социолингвистический аспект: это была инновация, шедшая из влиятельного южного центра (самое время напомнить, что великорусский Юг превосходил великорусский Север по людскому, экономическому и другим потенциалам, о чем почему-то обычно забывают, как и об аксиоме, что история начиналась на Юге), инновация обладала авторитетом, и следовать ей, этому пресловутому выговору "по-московски", о чем [Даль, passim], было престижно. Редкость ли заселения Севера, неудовлетворительность тамошних коммуникаций или какие-то более тонкие причины, – но что-то все же привело к затуханию инновационной волны ака-

нья на подступах именно к Северу. Мы и в дальнейшем будем пользоваться этой точкой отсчета: сравнительная дальность траектории волн, высылаемых инновационным центром.

Распространена концепция, датирующая аканье временем после падения редуцированных [Аванесов 1947, с. 138–139], и к ней, вероятно, надо прислушаться. Но вполне возможно, что дело много сложнее, и указанное падение – не единственная, а **одна** из причин, довершившая окончательное приведение в действие механизма аканья. Возможно, более широкое допущение ряда предрасположений к аканью – единственный выход из тупикового положения, в котором проблема аканья оказалась в результате ожесточенных споров. Иными словами, если даже перед нами не тот случай, когда "оба правы", то все же возможно расценить ситуацию как некий сигнал о наличии рационального зерна во взаимоисключающих концепциях: "аканье – собственно русская инновация", "аканье – праславянский феномен". Нельзя забывать и о том, что язык древнерусской ветви славянства подвергся значительной перестройке, развертывавшейся опять-таки по законам лингвистической географии (пространственной лингвистики). Не исключено при этом, что первоначальный краткостный вокализм был у древнерусских славян, их большинства переинтерпретирован как вокализм безударный [Трубачев 1991, с. 69–71]. Состоялась утрата категории различения количества гласных, которой праукраинский как типичная периферия был затронут в гораздо меньшей степени, ср. имевшие в украинском место заместительное растяжение/продление, ареально близкий аналог явлению польской исторической фонетики – wzdłużenie zastępcze, и там, и тут – во вновь закрытых слогах. Это явление косвенно свидетельствует о древнем наличии в праукраинских диалектах количественных различий гласных. Собственно великорусский этого не знает. Ср. [Скляренко 1998, с. 66–67], где заместительное продление рассматривается на материале славянских языков, сохранивших количественно-интонационные различия гласных (сербохорв.), но не говорится об украинских данных. Какое-то отношение может иметь к проблеме аканья фактическое тождество слав. *o* и *ă*, даже первичность последнего [Vaillant 1950, с. 107, 233; Георгиев etc. 1968, с. 26]. Тот факт, что ослабление безударных гласных в южновеликорусском и белорусском очень поздно отразилось в письменности, говорит не только и не столько о консервативности письма [Шахматов I, 1908, с. 156; Шахматов. Введение 1916, с. 53], сколько о том отношении взаимной компенсации, в которое вступили означенное ослабление артикуляции и консервирующая тенденция письма.

Об этом, может быть, следует сказать особо. Здесь речь пойдет, в сущности, о типологическом отличии русского языка, выделяющем его из большинства других славянских языков. **Ненапряженная** артикуляция (гл. обр. безударного вокализма) – яркая черта русского языка и его инновация, отделившая его даже от ближайше родственного белорусского языка. Парадокс в том, что оба эти языка объединяет общность аканья, однако в белорусском с его "полным аканьем" обозначилась такая самостоятельная черта как **напряженная** артикуляция безударного вокализма. Результат: различия по принципу: напряженная артикуляция языка – фонетическая орфография (вспомним сербохорватский и вуковский завет "пиши као што говориш" – пиши, как говоришь), соответственно ненапряженная артикуляция языка – консервативная (историческая) орфография. [См. об этом специально гл. III. Взгляд на этногенез белорусов, с. 66]. Там же и наблюдение о том, что русская артикуляция, выпадая из славянской в целом, напоминает принцип английской (аналогия распространяется и на консервативность письма в обоих случаях!). В связи с отмеченным кажется несколько непонятным мнение о факультативности напряженности в славянских языках: [Новое в лингвистике 1962, с. 204 и сл.]. Переход к менее напряженной артикуляционной базе как "общая тенденция" русского языка, в том числе в плане замены оканья аканьем, характеризуется также в [Касаткин 1999, с. 131, 132].

Итак, опираясь в немалой степени на предшественников, мы пришли к заключению о необходимости наличия инновационного центра, даже сосредоточились на некотором вероятии подобного центра инноваций в среднезападной части южновеликорусского пространства. Имеет смысл сохранить в дальнейшем эту точку отсчета для суждений об (остальных) частях и явлениях великорусского ареала. Из них наиболее яркая и легко выделяемая – северновеликорусская часть. Вместе с тем, заинтересовавшись **критериями выделения** северновеликорусского наречия, мы не можем не выразить сомнений на этот счет. Во-первых, оказывается под вопросом **целостность** северновеликорусского наречия (в его западной и северо-восточной частях), и это признается основными исследователями, см. [Образование севернорусского наречия 1970, с. 210]. Во-вторых, они же признают, что "выделение" "будущей территории северного наречия" намечается "на основе распространения аканья" [Там же, с. 225 и 235]. Ведь это означает ни больше, ни меньше, как то, что основной критерий выделения – отрицательный: то, куда не дошло аканье, территория, где аканья нет, поскольку никто не станет спорить с тем, что аканье шло с юга. Интересно отметить, что характери-

стика южного наречия заметно контрастирует с этим, нося более конкретно-позитивный характер: неразличение безударных гласных, фрикативное *г* (γ), отсутствие контракции (выпадения *j*) [Русская диалектология 1964, с. 239]. Но и южновеликорусские отличительные признаки не изначальны. Не только в среднерусских говорах, но и в южновеликорусском просвечивает "северновеликорусская" основа, говоря в терминах действующей диалектологии. Сказанное делает неактуальной оппозицию "северновеликорусский" ~ "южновеликорусский", поскольку ретроспективно **северновеликорусский синонимизируется (оказывается тождественным) со всем изначальным великорусским**, причем аканье/яканье – вторичные инновации языкового центра. Сейчас нельзя без некоторого удивления воспринимать оценки вроде того, что (по Шахматову) Е.Ф. Будде принадлежит "замечательный вывод" о том, что северная часть Рязанской области первоначально относилась к северновеликорусскому наречию, см. об этом [Сидоров 1966, с. 98 и сл.], там же о северновеликорусском характере касимовских говоров в прошлом. Ведь в сущности ясно, что это банальная констатация хода южных инноваций, перекрывающих **первобытные** черты вроде того же оканья.

Перейдя к среднерусским говорам, мы вынуждены будем признать, что критерии их выделения не менее сомнительны, хотя высказывания в литературе в связи со среднерусскими говорами временами чрезвычайно ответственны, ср. [Горшкова 1972, с. 148]: только **после** образования среднерусских говоров можно говорить о **языке в целом**. Сейчас для нас подобные утверждения кажутся совершенно неприемлемыми, притом, что ясно, что они восходят к концепции "встречи" в бассейне Оки и верхнего Поволжья севернорусов и "восточнорусов" (в шахматовской терминологии – южновеликорусов) [Шахматов. Курс истории I, 1908, с. 25 и 26], где говорится о воспоследовавшем смешении. Так, поныне действует шахматовская схема о "смешанных говорах" между северновеликорусским и южновеликорусским, их "переходном" характере [Шахматов. Курс истории I, 1908, с. 160, 172, 180; Шахматов. Древнейшие судьбы русского племени 1919]. Ср. следование этой концепции в [Аванесов 1947, с. 153; Сидоров 1966, с. 103; Горшкова 1972, с. 148]. А между тем в глаза бросается условность выделения среднерусских говоров с их распадением на акающие и окающие говоры [Русская диалектология 1964, с. 284, карта 11]. Не совсем понятна, хотя и выдержана в том же духе трактовка среднерусских говоров как "окраинных" в отношении северновеликорусского и южновеликорусского наречий [Захарова, Орлова 1970, с. 21]. Наш вывод, к тому же сделанный отнюдь не сегодня и не вчера: концепция выделения среднерусских гово-

ров **неясна лингвогеографически** [Трубачев 1987, с. 22]. Сегодня, пожалуй, складывается впечатление, что, постулируя особые среднерусские говоры, не думали не только о **центре**, но и о целостном русском языковом **ареале**, ибо есть все основания для того, чтобы задаться вопросом, не является ли то, что привычно называют среднерусскими говорами, в действительности **зоной затухания разных инновационных волн южного центра**?

Смещение языков и диалектов, как уже ясно из предыдущего, в полной мере принималось последователями Шахматова, служа заменой концепции наддиалекта. На этой основе строилось и понимание смешанных говоров городских центров, в частности Москвы, см. [Шахматов 1915, с. XLVIII] о смешанном говоре Москвы – из севернорусских и "восточнорусских" элементов. По происхождению, Шахматов представлял себе говор Москвы как северновеликорусский [Макаров 2000, с. 207]. Все эти представления практически без изменений были восприняты последователями [Аванесов 1947, с. 111, 154], где также указывается на севернорусскую основу литературного языка. Впрочем, похоже, что эти идеи учителя повторялись без проверки на материале. По-видимому, духом примата севернорусской основы среднерусских говоров проникнуто положение: "Говоры на территории Московского княжества ... ничем не обнаруживают своего "вятического" ... происхождения" [Аванесов 1947, с. 137]. Однако сейчас мы можем судить об этих вещих несколько конкретнее, а главное – иначе, в чем нам помогает весьма содержательный "Лексический атлас Московской области" (М., 1991), где на многих картах идут южным фронтом лексические диалектизмы "литературного" облика: *огород* (карта 3), *подпол* (карта 11), *погреб* (карта 12), *угол* 'угол избы' (карта 17), *заслонка* (карта 26), *изгородь* (карта 28), *кочерга* (карта 34), *корчага* (карта 39), *миска* (карта 42), *полдник* (карта 60), *навес* (карта 64), *оглобля* (карта 74), *волокуша* (карта 78), *чернушка* 'гриб груздь черный' (карта 83), *сыроежка* (карта 84), *свинушка* (карта 88), *подберезовик* (карта 91), *молодняк* 'молодой лес' (карта 93), *хворост* 'мелкий лес' (карта 94), *сосняк* (карта 100), *корзина* (карты 130, 131), *корзинка* (карта 132), *беседа* 'изба ... на посиделки' (карта 136). Остается при этом вспомнить широкий археологический клин вятичей XI–XIII вв. с Юга, захватывающий все "ближнее Подмосковье", включая Москву, по В.В. Седову [Войтенко 1991, с. 61], сведения о чем уже приводились выше.

В плане лингвистической географии русский Север обнаруживает свойственные периферии архаизмы, причем немаловажно, что явления этой северной периферии перекликаются с другой периферией, южной, – с аналогичными украинскими явлени-

ями. Очевидно, что это проявление единого большого ареала, охватывавшего все позднейшие восточнославянские языки. Сюда относится сохранение звонкости согласных в конце слова в украинском и в некоторых северновеликорусских диалектах [Филин 1972, с. 335, 336; Касаткин 1999, с. 134, 137, 138], при подавляющем оглушении звонких согласных в конце слова после падения редуцированных в центре ареала, а также широко за его пределами. Отвердение согласных перед *е* и *і* в украинском [Шахматов. Курс истории I, 1908, с. 156], по Шахматову, – позднейшее [Шахматов. Курс истории II, 1910, с. 16; Шахматов 1915, с. 127], ср. подавляющее отсутствие отвердения согласных перед *е* и *і* в великорусском [Шахматов. Курс истории I, 1908, с. 158], обнаруживает, однако, замечательные соответствия в виде твердости согласных перед передними гласными на архаизирующей северной периферии, о чем см. уже [Шахматов 1915, с. 128]: в Сугодском уезде. Об "отвердении согласных" в этой позиции говорят и современные исследователи, указывающие на ряд северновеликорусских, вологодских говоров [Горшкова 1968, с. 88; Касаткин 1999, с. 150, 170; ДАРЯ I, карта 65]. Вот только "отвердение" ли это или древняя твердость, сохранившаяся на архаизирующих периферіях (укр., с.-в.-р), несмотря на все доводы Шахматова о вторичности украинского отвердения? Ср. и [Касаткин 1999, с. 170]: "старое состояние".

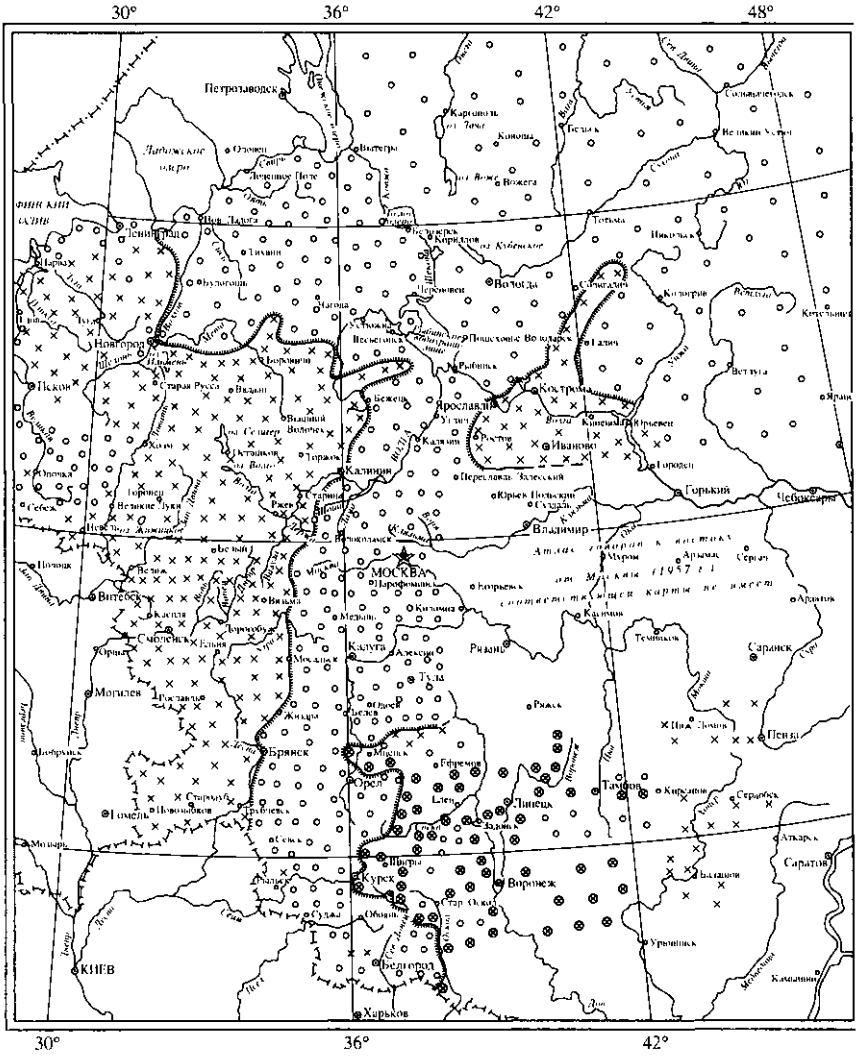
Более строгий и последовательный учет лингвогеографического аспекта в сочетании со сравнительно-историческим критерием способен, очевидно, внести коррективы в изучение диалектов на всех уровнях, в частности, в области периферийных архаизмов морфологического и лексического характера. Знакомство с тем, что сделано, показывает реальность таких коррективов, ср., например, отнесение форм мн. ч. ср. р. *окошка, телятка* к числу северновеликорусских "инноваций" [Образование северно-русского наречия 1970, с. 218–219, карта 63]. Ясно, со всех точек зрения, что это **архаизм**.

Досадное урезание картографируемого русского диалектного пространства примерно к северу от 62-й параллели составителями наших диалектологических атласов, которое невозможно оправдать никакой "редкостью заселения" и в результате которого из общего поля зрения как бы выпал поморский Север, освоенный тысячу лет назад, лишило нас многих полезных наблюдений и материалов, и это касается архаизмов периферийной лексики. К счастью, положение отчасти помогают поправить дополнительные работы вроде "Лексического атласа Архангельской области" Л.П. Комягиной (Архангельск, 1994) тем более, что лексическая сторона диалектов в общем традиционно не-

сколько недооценивалась нашими диалектологами и составителями центральных атласов. Так, древнее диал. клюка 'кочерга', как будто не учтенное в ДАРЯ III (лексика), фиксируется в [Комягина 1994, с. 204, карта 170) и обратило на себя внимание еще Даля, который охарактеризовал курьезным образом наше северное слово как "малорусское" [Даль 1852, с. LII], что позволяет определить в современных терминах отношение с.-в.-р *клюка* и укр. *клюка* как периферийные, латеральные архаизмы еще общевосточнославянского ареала.

Составителя ДАРЯ оставили, кажется, без внимания русское продолжение еще праславянского слова **koporul'a*, обозначение заостренной палки, мотыги, лопатки и т. п., см. о нем [Варбот 1974, с. 56 и сл.; ЭССЯ 11, 1984, с. 21 и сл.]. Его продолжения и на русской почве ведут себя как архаизм, ср. диал. (арханг.) *копоруля* [Комягина 1994, с. 154, карта 120], а также диал. (моск.) *копырюля* [Войтенко 1991, с. 134; Войтенко 1997, с. 50]. Эти отношения были бы неполными без архангельских данных.

Чрезвычайно интересен случай, привлекший наше внимание уже давно и призванный восполнить одну из лакун сводного центрального атласа. Имеется в виду еще праславянский лексический диалектизм (локализм) **kъrmyslъ* / **čьrmyslъ*. Первый вариант известен только в восточнославянском (русск., укр., блр.), зафиксирован также в древнерусских памятниках, второй – **čьrmyslъ* – обнаруживает продолжения только в кашубских говорах, и там, и тут – в значении 'приспособление для ношения, подвешивания', см. специально [Трубачев 1974, с. 35 и сл.; Трубачев 1987, с. 22–23; ЭССЯ 4, с. 149; ЭССЯ 13, с. 228–229]. Карты "коромысло, коромысел" в кратком, сводном ДАРЯ, к сожалению, не оказалось. См. только косвенные данные в других тематических картах 29, 52 [ДАРЯ III (лексика) и Комментарии], однако специальная карта на тему этого слова показалась важной, в частности, для лексики литературного языка и для проблемы среднего рода в том числе, поэтому я позволил себе опубликовать здесь имеющуюся у меня карту, основанную как на "Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы" (М., 1957, сводная карта № 13), так и на неизданных томах ("З", карта № 358; "С", карты № 368, 369; "С-З", карта № 150; "Ю", карта 257). Смею надеяться, что публикуемая карта представляет не только "архивный" интерес, ибо уже с первого взгляда видно, что карта "получилась" в соответствии с самыми строгими требованиями лингвистической географии. На ней четко представлены две главных периферийных (латеральных) зоны с продолжениями более древней формы м.р. **kъrmyslъ* – западная, сопредельная с однотипными украинскими и белорусски-



30° 36° 42°

География форм *коромысел ~ коромысло* в русских народных говорах по данным **Атласа русских народных говоров** (ИРЯЗ АН СССР)

× формы м.р. *коромы́сел, коромы́сль, коромы́сь, коромы́сл, коромы́с, коромисе́л, коро́мысел, коро́мысль, коро́мысл, коро́мисел*

○ формы ср.р. *коромы́сло, коро́мысло, коро́мисло,* (и исторически им тождественные типа *коромысла*)

⊗ pl. t. *коромы́сли, коро́мысли*

периферийные ареалы распространения *коромы́сел* и под., *коромысли*

ми данными, и восточная, несколько более прерывистая (вообще фиксация здесь восточной периферии в принципе интересна). Основной же сюжет карты – выявление подобия неширокого коридора, вытянутого в направлении ЮЗ – СВ, в южновеликорусских говорах, с расширением в средневеликорусских говорах и с абсолютным господством в северновеликорусском. Всю эту центральную фигуру занимает **инновационная форма ср. р. *коромысло***. Кроме историколингвистического и, может быть, культурно-исторического значения этих сведений по истории вариантов *коромыс(е)л ~ коромысло*, здесь проступает и аспект общей судьбы **среднего рода, об утрате которого** в южновеликорусском обычно идет речь, ср. обо "всех" орловских говорах [Котков ДД, 1951, с. 567], о морфологических "рязанизмах" типа *какайа молокó* – к востоку от меридиана Орел–Курск [Захарова-Орлова 1970, с. 105, карта № 18[6]]. Случай довольно мощной и влиятельной инновации *коромысло* ср. р., попавшей в литературный язык и иррадиированной все тем же Югом, как кажется, может свидетельствовать, что упомянутая "утрата среднего рода" – инновация совсем новая, уже не дошедшая до литературного языка.

Давно назрела необходимость пересмотра привычных утверждений о существовании лексических оппозиций типа с.-в.-р. *изба* – ю.-в.-р. *хата*, с.-в.-р. *конь* – ю.-в.-р. – *лошадь* и т.п. Эти оппозиции, к тому же, бывают призваны подкреплять далекоидущие выводы о преимущественно северновеликорусской основе русского национального языка, – выводы, также заслуживающие пересмотра. По этой проблеме уместно широко процитировать С.И. Коткова, который в наибольшей степени способствовал пересмотру укоренившихся традиций и показал значительность южновеликорусского вклада в общенародный язык, даже несмотря на относительно поздний возраст южновеликорусской письменности (в основном – с XVI в.). Исследования, в частности, показали, что так называемые "типично северные" слова *выть, изба, кулига, конь петух, лонской* – **все** обнаружены в старой южновеликорусской деловой письменности [Котков 1980, с. 7, 23, 129]. Сказанное относится почти ко всем якобы северным словам, ср. по данным южновеликорусской письменности XVI–XVII вв. о наличии там слов *изба, хлев, конь* уже в [Котков ДД, 1951, с. 749]. Столь же пресловутая оппозиция с.-в.-р. *сарафан* ~ ю.-в.-р. *понёва* тоже элементарно не выдерживает исторической, да и ареальной экспертизы. *Сарафан* первоначально обозначало, к тому же, общую или мужскую одежду, см. [Сл. РЯ XI–XVII вв. 23, 1996, с. 64], в качестве названия женской одежды зафиксировано вторично с XVII в. Важно также иметь в виду, что слово, в ко-

нечном счете, **пришло с Юга**, заимствовано из персидского языка [Фасмер[3] III, 1996, с. 561; Черных II, 1994, с. 140].

В шахматовском наследии довольно видное место занимает еще одно положение, которое вряд ли может быть сохранено, хотя оно и продолжает сохраняться в литературе предмета без должной критики: это концепция великорусской народности как суммы двух различных групп, в терминах ученого – севернорусской и "среднерусской", то есть южновеликорусской [Шахматов 1899, с. 38], концепция всего великорусского как "результата позднейшего сожительства" [Шахматов. Введение 1916, с. 107]. Эта двухнаречная схема великорусской народности и языкового ареала (хотя современное понятие "языкового ареала" вообще едва ли подходит для подобной концепции) излагалась ученым порой очень императивно, например: "... великорусская народность – это научная фикция ..." [Шахматов 1899, с. 48], общность языка и народа он относит "только к позднейшей эпохе жизни обеих групп" [Шахматов. Курс истории II, 1910, с. 501], всячески акцентируя исконное отличие друг от друга северновеликорусской и южновеликорусской групп [Там же, с. 498, 501], разумеется, с последующим сближением и смешением [Шахматов 1899, с. 8]. Я не буду больше вдаваться в критический разбор этого положения, которое до сих пор числят среди достижений ученого [Макаров 2000, с. 199]. Как бы то ни было, это, по-видимому, произвело сильное впечатление в свое время и оставило глубокий след до сих пор.

Влияние Шахматова было огромно; под него подпала и молодая украинская диалектология. Собственно, уже сам великий ученый распространил свою двухнаречную схему, признав деление украинского языка на две ветви – северную и южную – исконным [Шахматов 1899, с. 7]. Мне и раньше приходилось писать о том, что подобная двухнаречная схема со смешанными или переходными говорами между этими наречиями надолго, если не навсегда, отодвинула поиски жизненно важного центра ареала [см. выше, гл. III, с. 68, 70]. Именно на этой почве взошла гетерогенная версия русского глоттогенеза Хабургаева 1980 г., обретшая незаслуженную популярность в смежных дисциплинах, ср. [Седов 1982, с. 273], хотя ведь совершенно очевидна сомнительная теоретическая ценность такого прибавления в нашей науке. Но шахматовский "первотолчок" все еще действует, поскольку попытки софистицировать проблему состава (древне)русского языкового ареала не прекращаются, вспомним искания вокруг древненовгородского диалекта, который в новых исследованиях порой оказывается уже не русским, а (пра)славянским без объективной на то надобности. Искренние помыслы великого учено-

го, которого отделяет от нас доброе столетие, все же, думается, не подлежат эпигонскому тиражированию, требуя трезвого рассмотрения, тем паче – запоздалые опыты в том же духе.

Чтобы покончить с украинским экскурсом, вспомним о "Диалектологической классификации украинских говоров" В. Ганцова 1923 года, относимой поныне к классике в этой области: диалектное деление украинской языковой территории на северные и южные говоры с говорами переходного типа между ними, все это – с полными русскими аналогиями [Ганцов 1923, с. 54, 55, 56, 58, с картой]. В конце концов Ганцов и сам признает "извечное отличие" двух наречий украинского языка и их прозрачную аналогию отношениям северновеликорусского и южновеликорусского пересадкой шахматовского учения на украинскую почву [Там же, с. 64].

Возвращаясь, в заключение своего очерка к идее **сложного состава древнерусского пространства и языка**, вижу, что будет отнюдь не лишним повторить, что эта сложность (как и полидиалектность) отнюдь не противоречит идее единства и уж, разумеется, не "взламывает" ее. При этом мы как бы вновь возвращаемся именно к идее единства – на новом этапе. Разумеется, далее, на этом новом этапе не может быть речи о синонимичности этого единства и "монолитности", поскольку наше единство, обогащенное идеей полидиалектности, ну, и само собой – всем комплексом идей лингвистической географии, о котором достаточно – выше, просто запрещает имплицировать эту монолитность или, скажем, приписывать ее нам. Так что ни о какой альтернативе – или "монолитность", или поиски особой ниши для древненовгородского, "просто как диалекта позднепраславянского языка" [Зализняк 1995, с. 5] – речь вестись не должна, тем более – для эпохи XII–XIII вв.! Ср. еще [Трубачев 1999, с. 11] Поэтому сейчас сражаться с "концепцией правосточнославянского языка как генетически монолитного ..." [Зализняк 1988, с. 176] не стоит, ведь так сейчас, пожалуй, никто уже активно не думает, что же до различий, скажем, между севернокривичским и югозападнорусским, то современной концепции сложного единства (см. выше) они нисколько не противоречат, укладываясь в понятие периферий древнерусского лингвогеографического ареала. Оживлять для этого идеи новгородско-севернокривичско-западнославянской (лехитской) близости тоже не требуется, тем более – оперировать для этого явными общими архаизмами вроде сохранения *dl* на Северо-Западе русского ареала и на Западе славянства ввиду общеизвестной непоказательности общих архаизмов для общих переживаний или "общего" непалатализованного наличия *kě-*, *xě-*, *kvě*, где филигранная историкодиалектологическая проверка

восстанавливает вероятность развития русск. диал. *квет* < *т'вѣт* < *цвѣт* (так еще Шахматов!) и *кедить* из *цедить* и псков. диал. *малако тела* '**цело**', то есть **псевдоархаизмы** [Страхов 1999, с. 287; Шустер-Шевц 1998, с. 3 и сл.].

С другой стороны, никогда не лишне помнить нечасто повторяемые идеи о восточнославянском как сугубой периферии всего славянского ареала, взять хотя бы архаичность (sic!) канонически послеметатезной формулы *torot, tolot (tarat, talat), а не tort, tolt*, для чего, конечно, желательна инновативность лингвистического мышления, а не его архаистичность, удобно укладывающаяся в накатанную колею.

4. "ТО ЕСТЬ СЕРЕДА ЗЕМЛИ МОЕИ ..."

С прошествием времен прямоугольник русского языкового и этнического пространства постепенно менял свои очертания. Древний русский меридиональный прямоугольник, сурово зажатый и урезаемый с Востока и Юго-Востока первоначально чужим Поволжьем и Степью, уходил и ширился лишь на север, и вот Севером, с запада на восток пошло его новое прирастание. За это время и Поволжье породнилось, и Степь замирилась. А русский прямоугольник незаметно, из века в век из меридионального превратился в широтный, несказанно вырос и ушел за уральский горизонт. Иные назовут это (даже в ученом мире) русским ассимиляторством, но у тех, кто знает, находились для этого другие слова. С переселенцами из Европейской России (а в их числе были не одни новгородцы, но и "семейские", жители с берегов Сейма в курских, вятичских краях, и, разумеется, из других мест) на восток, к туземцам Сибири шло земледелие. Одной этой черты хватит для правильного взгляда на вещи.

А центр – конечно, не геометрический, впрочем, и не политический тоже, как мы это пытались показать – так и остался, как был, на старом месте, на Русской равнине, в вятичско-рязанской земле. Асимметричность сложившейся фигуры, как и ряды парадоксов, рассмотренные выше, – без них вятичи-рязанцы, кажется, не были бы самими собой, – есть тоже проявление самобытности. И мы возвращаемся всякий раз, ведомые научным или не очень научным интересом, в "эту чахленькую местность", вместе со "свойским", рязанским поэтом. Все – так же, все на месте, все те же, mutatis mutandis, вятичи, и сквернословят, как при Несторе, если не хуже. Но это – с одной стороны. С другой стороны – все остальное, может быть, главное: способность оставаться Центром – языка, народа – не последняя способность, да и не всем дана.

Мы всегда отыщем эту небольшую землю в сердце гигантской по-прежнему России, и наш взор, остановившись на ней, теплеет. На ум приходят опять есенинские пронзительные слова: "Затерялась Русь в мордве и чуди, / Нипочем ей страх". А они, действительно, так и не дождавшись хорошего качества жизни, страха не имут. Вот почему так долго с вятичами возились и Святослав, и Владимир Мономах. Вот почему, видно, именно в вятичской земле простерлись ратные поля – Куликово и Прохоровское. Будто кто-то продолжает их испытывать. Но и другие, пришедшие из древности, слова ложатся при этом на душу: "То есть середа земли моеи ..." Сказанное когда-то о другом, о Подунавье, они просятся сюда – о вятичах, возможно, тоже с Дуная пришедших.

ЛИТЕРАТУРА

Аванесов 1947 – *Аванесов Р.И.* Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ 1947, № 9.

Аванесов 1949 – *Аванесов Р.И.* Очерки русской диалектологии. Ч. первая. М., 1949.

Бородина 1968 – *Бородина М.А.* Лингвистическая география // Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.

Vaillant 1950 – *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétigue. Paris, 1950.

Vanagas 1981 – *Vanagas A.* Zietuių hidronimu etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.

Варбот 1974 – *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. II // Этимология. 1972. М., 1974.

Веселовский 1974 – *Веселовский С.Б.* Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.

Войтенко 1991 – *Войтенко А.Ф.* Лексический атлас Московской области. М., 1991.

Войтенко 1997 – *Войтенко А.Ф.* Лексические различия на территории Московской области (лексикографическая, лексикологическая и лингвогеографическая характеристики): Дис. ... докт. филол. наук. М., 1997.

Ганцов 1923 – *Ганцов В.* Діялектологічна класифікація українських говорів. Київ, 1923 (Nachdruck von R. Olesch. Köln, 1974).

Георгиев etc. 1968 – *Георгиев В.И., Журавлев В.К., Филин Ф.П., Стойков С.И.* Общеславянское значение проблемы аканья. София, 1968.

Горшкова 1968 – *Горшкова К.В.* Очерки исторической диалектологии Северной Руси (по данным исторической фонологии). Изд-во МГУ, 1968.

Горшкова 1972 – *Горшкова К.В.* Историческая диалектология русского языка. М., 1972.

Даль 1852 – *Даль В.И.* О наречиях русского языка, по поводу Опыта областного великорусского словаря, изданного Вторым отделением имп. Академии наук. Из V книжки "Вестника имп. Русского Геогр. Об-ва" за 1852 г., с небольшими поправками против первого изд. // В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955 (со второго изд. 1880–1882 гг.).

Даркевич 1993 – *Даркевич В.П.* Путешествие в Древнюю Рязань. Записки археолога. Рязань, 1993.

ДАРЯ I, 1986 – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. I. Фонетика / Под ред. Р.И. Аванесова и С.В. Бромлей. М., 1986.

ДАРЯ II, 1989 – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. II. Морфология / Под ред. С.В. Бромлей. М., 1989.

ДАРЯ III, 1996 – Диалектологический атлас русского языка. (Центр Европейской части России). Вып. III (часть 1) / Под ред. О.Н. Мораховской. М., 1996.

Диал. исследования 1977 – Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977.

Зализняк 1988 – *Зализняк А.А.* Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.

Зализняк 1995 – *Зализняк А.А.* Древненовгородский диалект. М., 1995.

Зализняк 1998 – *Зализняк А.А.* Проблемы изучения берестяных грамот // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.

Захарова, Орлова 1970 – *Захарова К.Ф., Орлова В.Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.

Иловайский 1858 – *Иловайский Д.* История Рязанского княжества. М., 1858.

Касаткин 1999 – *Касаткин Л.Л.* Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

Касаткина 2000 – *Касаткина Р.Ф.* Южнорусское наречие. Новые данные // Вопросы языкознания 2000, № 3.

Комягина 1994 – *Комягина Л.П.* Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994.

Котков. Из истории 1951 – *Котков С.И.* Из истории изучения орловских говоров. Говоры орловской области со стороны их вокализма // Ученые записки [Орловский государственный педагогический институт]. Т. V. Вып. 2. Орел, 1951.

Котков ДД 1951 – *Котков С.И.* Говоры орловской области (фонетика и морфология). Дис. ... докт. филол. н. Т. I–II. М., 1951.

Котков etc. Памятники XV–XVI вв. 1978 – Памятники русской письменности XV–XVI вв. Рязанский край. Издание подготовили С.И. Котков, И.С. Филиппова. М., 1978.

Котков 1980 – *Котков С.И.* Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980.

Кузьмин 1965 – *Кузьмин А.Г.* Рязанское летописание. Сведения о Рязани и Муроме до середины XVI в. М., 1965.

Lehr-Spławinski 1921–1957 – *Lehr-Spławinski T.* Stosunki pokrewieństwa języków ruskich // Rocznik slawistyczny IX, 1, 1921. In: *Lehr-Spławinski T.* Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego. Warszawa, 1957.

Ляпушкин 1968 – *Ляпушкин И.И.* Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства (VIII – первая половина IX в.) Л.,1968.

Макаров 2000 – *Макаров В.И.* "Такого не быть на Руси преже ..." Повесть об академике А.А. Шахматове. СПб., 2000.

Медынцева 1979 – *Медынцева А.А.* Тмутараканский камень. М., 1979.

Медынцева 1988 – *Медынцева А.А.* Эпиграфические находки из Старой Рязани // Древности славян и Руси. Сборник в честь 80-летия Б.А. Рыбакова. М., 1988.

Монгайт 1961 – *Монгайт А.Л.* Рязанская земля. М., 1961.

Насонов 1951 – *Насонов А.Н.* "Русская земля" и образование территории древнерусского государства. Историко-географическое исследование. М., 1951.

Никольская 1981 – *Никольская Т.Н.* Земля вятичей. К истории населения бассейна верхней и средней Оки в IX–XIII вв. М., 1981.

Никонов 1966 – *Никонов В.А.* Краткий топонимический словарь. М., 1966.

Новое в лингвистике 1962 – Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.

Образование сев.-русск. наречия 1970 – Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров по материалам лингвистической географии. Отв. ред. В.Г. Орлова. М., 1970.

Орфоэпический словарь[6] 1997 – Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. Около 65000 слов / Под. ред. Р.И. Аванесова. 6-е изд., стереотипное. М., 1997.

Осипова ДК 1999 – *Осипова Е.П.* Наименования одежды в рязанских говорах (этнолингвистический и лингвогеографический аспекты): Дис. ...канд. филол. н. М., 1999.

Повесть временных лет 1978 – Повесть временных лет // Памятники литературы древней Руси. XI – начало XII века. Составление и общая редакция. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. М., 1978.

Рождественская ДД 1994 – *Рождественская Т.В.* Эпиграфические памятники Древней Руси X–XV вв. Дис. ... докт. филол. н. СПб., 1994.

Русская диалектология 1964 – Русская диалектология / Под. ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. М., 1964.

Русская диалектология 1989 – Русская диалектология. 2-е изд. / Под ред. Л.Л. Касаткина. М., 1989.

Рыбаков 1982 – *Рыбаков Б.А.* Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982.

Rymut 1987 – *Rymut K.* Nazwy miast Polski. Wyd. 2. Wrocław etc., 1987.

Рязанская энциклопедия 1995 – Рязанская энциклопедия. Рязань, 1995.

Седов 1982 – *Седов В.В.* Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.

Седов 1999 – *Седов В.В.* Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999.

Сидоров 1966 – *Сидоров В.Н.* Из истории звуков русского языка. М., 1966.

Скляренко 1998 – *Скляренко В.Г.* Праслов'янська акцентологія. Київ, 1998.

Смолицкая 1976 – *Смолицкая Г.П.* Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976.

СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1 –. М., 1975–.

Страхов 1999 – *Страхов А.Б.* Новгородские и псковские "переходы" мл'>н', tl>кл, dl>гл: альтернативные решения // PALAEOSLAVICA VII, 1999.

Татищев 1962 – *Татищев В.Н.* История российская. Т. I. М.–Л., 1962.

Тихомиров 1956 – *Тихомиров М.Н.* Древнерусские города. Изд. 2-е. М., 1956.

Третьяков 1953 – *Третьяков П.Н.* Восточнославянские племена. Издание второе, переработанное и расширенное. М., 1953.

Трубачев 1959 – *Трубачев О.Н.* Лингвистическая география и этимологические исследования // Вопросы языкознания 1959, № 1.

Трубачев 1971 – *Трубачев О.М.* Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство 1971, № 6.

Трубачев 1974 – *Трубачев О.Н.* Наблюдения по этимологии лексических локализмов (Славянские этимологии 48–52) // Этимология. 1972. М., 1974.

Трубачев 1987 – *Трубачев О.Н.* Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI–XVII вв. М., 1987.

Трубачев 1991 – *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.

Трубачев 1994 – *Трубачев О.Н.* Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // Этимология 1991–1993. М., 1994.

Трубачев 1997 – *Трубачев О.Н.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. Изд. 2-е, дополненное. М., 1997.

Трубачев 1982 – *Трубачев О.Н.* Отзыв официального оппонента о диссертации Н.И. Панина "Лексико-семантический и формантный анализ русских наименований текучих вод Окско-Донской равнины и прилегающих территорий", представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1982, и дополненная 1997 г.

Трубачев 1998 – *Трубачев О.Н.* Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.

Трубачев 1999 – *Трубачев О.Н.* Славистика на XII Международном съезде славистов (краткий обзор) // Вопросы языкознания. 1999, № 3.

Трубачев INDOARICA 1999 – *Трубачев О.Н.* INDOARICA в Северном Причерноморье. Реконструкция реликтов языка. Этимологический словарь. М., 1999.

Тупиков 1903 – *Тупиков Н.М.* Словарь древнерусских личных собственных имен.// Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Русского Археологического общества. Т. VI. СПб., 1903.

Унбегаун 1989 – *Унбегаун Б.О.* Русские фамилии. М., 1989.

Фасмер[3] 1996 – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка в четырех томах. Перевод с немецкого и дополнения О.Н. Трубачева. Изд. 3-е, стереотипное. СПб., 1996.

Филин 1972 – *Филин Ф.П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.

Hudronimia Wisły 1965 – Hudronimia Wisły. Cz. I. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Pod red. P. Zwolińskiego. Wrocław etc. 1965.

Черных – *Черных П.Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I–II. М., 1994.

Чумакова 1992 – *Чумакова Ю.П.* Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. Уфа, 1992.

Шахматов 1899 – *Шахматов А.А.* К вопросу об образовании русский наречий и русских народностей // Журнал Министерства народного просвещения, 1899, апрель.

Шахматов. Курс истории I, 1908 – *Шахматов А.А.* Курс истории русского языка. Ч. I. Изд. 2-е. СПб., 1908.

Шахматов. Курс истории II, 1910 – *Шахматов А.А.* Курс истории русского языка. Ч. II. СПб., 1910.

Шахматов 1915 – *Шахматов А.А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии. Пг., 1915 (Выпуск 11.1).

Шахматов 1916 – *Шахматов А.А.* Введение в курс истории русского языка. Ч. I. Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916.

Shevelow 1982 – *Shevelov J.Y.* Между праславянским и русским // Russian linguistics 6, 1982.

Шустер-Шевц 1998 – *Шустер-Шевц Х.* К вопросу о так называемых праславянских архаизмах в древненовгородском диалекте русского языка // Вопросы языкознания. 1998, № 6.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков I –. М., 1974 –.

Етим. словник 1985 – Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі/Відпов. ред. О.С. Стрижак. Київ, 1985.

VII

Русский—российский

История, динамика,
идеология
двух атрибутов нации

Когда меня попросили выступить на тему, мне вспомнились прочитанные несколько лет назад в одном толстом журнале (помнится, это был "Новый мир") посмертные записки одного литератора, вновь ставшего популярным после 1985 г. (помнится, это был Даниил Хармс). Там были, в частности, рассуждения, для меня, лингвиста, досужие и даже невежественные. Может быть, не стоило бы и вспоминать, но я все-таки позволю себе это. Суть рассуждений касалась популярного и сейчас вопроса о "странности" русских: "странным" тому литератору показалось то, что они именуются не существительным, как, якобы, нормально для других народов (*англичанин, немец, француз*), а – прилагательным: *русские*. Однако, имей он чуть больше знаний или просто внимания к небрежно затронутому им вопросу, то писатель, думаю, согласился бы, что дело обстоит иначе. Названия (самоназвания) наций, народов вообще, как правило, адъективны: все эти *Espanol, Italiano, Francais, Deutsch, American, Magyar, Suomalainen* – прилагательные, а значит, они типологически однородны с нашим *самоназванием русский, русские*, а не отличаются от него, и эту черту, кажется, тоже имеет смысл удержать в памяти вместо того, чтобы соблазняться известным понаслышке.

Наше вступление прямо связано с национально-языковой атрибутикой, которой предстоит заняться. Специфика "русского" случая, к сожалению, не исчерпывается отмеченной простой ситуацией, но, напротив, предъявляет нам свои сложности, суть которых – употребление синонимов. Другие примеры национально-языковой атрибутики в смысле синонимики, конечно, тоже известны, достаточно назвать *hrvatski ili srpski jezik, испанский или кастильский*, с их известной неустойчивостью. Русская специфика на этом фоне сохраняет свое своеобразие, со своими, подчас неправильно толкуемыми и понимаемыми тенденциями.

Собственно говоря, вначале все было относительно просто. От главного этнонима *Русь, русь*, более глубокой этимологией которого мы занимаемся в других местах[1], очень рано было образо-

[1] *Трубачев О.Н.* Русь, Россия. Очерк этимологии названия // Русская словесность. 1994. № 3. С. 67–70 (с дальнейшей литературой).

вано этническое определение *русский, русьскыи* с неограниченным полем употребления. Это прежде всего обозначение страны – весьма устойчивое название *Русьская земля*, ср.: Похвалимъ же и мы... великаago кагана нашеѣ землѣ Володимѣра, вънука стараago Игоря, сына же славьнаago Святослава,... не въ худѣ бо и невѣдомѣ земли владычьствоваша, нъ въ Русьцѣ, яже вѣдома и слышима есть вьсѣми четырьми конець землѣ[2]. И так теоретически – с X века и более ранних веков, ср. по всеи земли Русьстѣи (Церк. устав. Влад. 12. XIII–XV вв. Картотека Древнерусского словаря, далее – КДРС, из которой почерпнуты в большинстве своем наши сведения, особенно ценные для нас ввиду невключения этнонимов в существующие древнерусские словари). Примеры показывают универсальность употребления слова *русский* от св. кн. Владимира практически до Петра I: рускіе товары, рускне города, по орѣху рускому величиною, съ версту рускую, замокъ русскій, желѣзный, в рускихъ странахъ, русское двойное вино, рускіе люди, рускои лес: сосна, ель, береза, дубъ, вязъ, ясень, рябина, липа, ивняг; князи рустин, рускне серебряные деньги, митрополитъ русьскый, кобылка рыжа руская, русская телѣга, Русскій Переяславль (не уточняя датировок, отмечу лишь, что большинство данных КДРС принадлежат к XII веку и другим поздним векам). С этими данными согласны и показания других источников, например, "Памятников южновеликорусского наречия (отказные книги)", изданных С.И. Котковым и Н.С Котковой (М. 1977. Passim): рускихъ воров, с рускои стораны, на рускои сторонѣ. Показательна возможность употребления *русский* на самом высоком политическом уровне: Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго (90-е гг. XIV в.)[3]. В духе упомянутой универсальности словоупотребления *русский* могло обозначать и то, что мы сейчас назвали бы церковнославянским переводом грамматики начала XVI в.[4], и явно просторечный, живой "*русскои* природной язык" протопопа Аввакума.

Все шло к тому, чтобы и последующим нашим векам передать это широкое и незамутненное словоупотребление *русский* наших более ранних столетий, ср.: М.Д. Чулков "Абевега *русских* суеверий", В.А. Левшин "*Русские* сказки" – из предпушкинской эпохи, склонности языка народного бытописания Г.Р. Державина[5], не говоря о языковых предпочтениях самого Пушкина, к чему обратимся специально позже.

---

[2] Иларион, митрополит Киевский. Слово о Законе и Благодати / Сост. В.Я. Дерягин. Реконструкция древнерусского текста Л. П. Жуковской. М., 1994. С. 72.

[3] История русской литературы. Л., 1980. Т. 1. С. 163.

[4] *Worth D.S.* The origins of Russian grammar. Notes on the state of Russian philology before the advent of printed grammars. Columbus. Ohio, 1983. P. 76; *Филин Ф.П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. С. 109.

[5] История русской литературы. Т. 1. С. 605, 644.

Здесь время взглянуть на языковую сторону **вхождения Руси в Европу**, ее, так сказать, **европейской интеграции**, на терминологию этого феномена, который, при обнаруженном к нему интересе, не получил окончательной характеристики. Для прототипов европейского названия нашей страны вполне подходили уже известные *Русская земля*, Русь, активно, кстати, употреблявшиеся еще в первой нашей рукописной газете "Вести-куранты" (XVII в.). Ничто не мешало, например, тем же голландцам, перенявшим у нас приблизительно тогда же название забытой Богом *Новой земли – Nowaja Zembla*, перенять и наше главное самоназвание *Русская земля*. Правда, тогда предпочли, по-видимому, перевод, каковым и явилось немецкое *Rußland*, собственно, *Русская земля* и его варианты. Но другой, древнейший вариант нашего самоназвания – *Русь* – очень рано получил в Центральной Европе удобное осмысление как плюраль *Russi, Ruzzi* (так у анонимного баварского географа IX в.), совершенно в духе распространенных тогда же и там же других этнических плюралей. Перспектива у этих этнических плюралей была одна – превращение в названия стран на *-ia* книжно-письменной, преимущественно латинской традиции средневековой Европы. Оттуда ведет свое начало название нашей страны в форме *Russia*, ограниченно проникшее и в нашу письменность: **гсдрю црю і великому кнзю Михаилу Ѳедоровичю всеа Русии**... (1626)[6]. Можно сказать, что значительная часть европейских стран сохранила такую форму названия России с того времени: сюда относятся франц. (*la*) *Russie*, англ. *Russia*. И наши южные братья-славяне зовут нас именем той же формы: сербохорв. *Русија*, болг. *Русия*. Последнее особенно любопытно, потому что как раз с Юга, из Византии, объясняют обычно принятую у нас форму на *-о-*: Россия из греч. Ῥωσσία (Этимологический словарь русского языка М. Фасмера). Ссылки при этом на канцелярию константинопольского патриарха понятны, по-гречески выглядит и ударение *Росси́я*; ср. "велика часть есть *асіи* / держава в ней и *Россіи*" (Букварь Кариона Истомина. 1694. КДРС). Уже чтение греч. ω двусмысленно: возможно *-о-*, возможно в позднее время и в диалектах *-и-*. Дальше весомость обретает европейский контекст, участие в котором Византии – после 1453 г. – все-таки минимально. Европейский контекст достаточно сложный. Начать с того, что необходимо рассматривать совокупность из трех форм: *Россия–российский–россияне*. Кроме нас, вся эта триада представлена у поляков: *Rosja–rosyjski–Rosjanie*. Уже стандартные украинские формы *Росія–російський–росіяни* едва ли имеют большую

---

[6] Вести-куранты. 1600–1639 гг. Изд. Н.И. Тарабасова, В.Г. Демьянов, А.И. Сумкина. Под ред. С.И. Коткова. М., 1972. С. 73–74.

временную глубину и, возможно, навеяны польским. "Малорусконѣмецкий словар" Е. Желеховского и С. Недільского (Львів. 1886) дает только *руський, руский* (значения опускаю), но не знает ни *російський*, ни *росіяни*. Остается добавить, что для белорусов мы по-прежнему *рускія* мн., *русские*, и это тоже архаизм.

Остальное – инновации, целая группа инноваций.

Заимствованный, в основном западный, характер названия *Россия* довольно очевиден, об этом говорит удвоение *-ss-* как позднелатинский способ нейтрализации озвончения интервокального *-s-* (исходная греческая запись οἱ Ῥῶς обладает одинарной сигмой). Ударение "греческого" вида тоже не очень показательно ввиду реальности старопольского *Rosyja*, типа *Azyja–Azja*, как о том говорит производное от него *rosyjski*. Так что все сводить к влиянию русской формы на польскую, как делает Фасмер, вряд ли убедительно. В названии *Россия* представлено искусственное образование (ср. Этимологический словарь польского языка А. Брюкнера), следы которого ведут на Запад. Любопытно, что думал на этот счет Даль (Толковый словарь живого великорусского языка): "только Польша прозвала нас *Россией, россиянами, российскими*, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кириллицу свою и пишем *русский*!".

КДРС не знает *россиян* раньше эпохи Петра, зато потом они встречаются у Ломоносова в рассуждении о "высоком штиле"[7] и у Карамзина в сочинении "Из записок одного молодого ***Россиянина***"[8]. Печать искусственности лежит и на этом образовании, несмотря на то что модель на *-(j)anin*ъ вполне славянская.

Обращаясь к слову *российский*, отметим его нехарактерность для живого среднего стиля. Ни в одном из известных мне четырех томов "Вестей-курантов" с 1600 по 1650 год *российский* не отмечено ни разу, безгранично господствует *русский*, идет ли речь о простых людях, боярах, послах, царевнах, гонцах, рубежах, подданных. Ср. то же по данным книги С.И. Коткова "Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII вв.". (М. 1970. Passim). Искусственный атрибут *российский*, напротив, зарекомендовал себя сначала претензиями на высокое, "царское" словоупотребление, ср. адресат послания Иоанна Грозного "во все *Российское* царство" (1564)[9], "Новая повесть о преславном *Российском* царстве" (1610–1611)[10], "благолепие *российское*" (Сказание Авраамия Палицына. 1620. КДРС), "Царство

[7] История русской литературы. Т. 1. С. 536.
[8] Там же. С. 748.
[9] Там же. С. 282.
[10] Там же. С. 300.

Россійския державы" (Космография. 1620. КДРС), "*Росийское* государство" (Грамота Михаила Феодоровича. 1614. КДРС; Сочинение Г.К. Котошихина. 1667. КДРС). Вместо *Рускую* землю читаем "*Росискую* землю" (Волоколамский патерик 2. КДРС). Наблюдается распределение **кнзеи росиискиҳ, но рускиҳ людеи, ѡ рускиҳ вестяҳ**[11]. Дело порой доходит, явно вторично, до смешения **грамотку... россійским письмом грамотки русским же письмом** (Посольство Толочанова. Сер. XVII в. КДРС). Причем *российское* равно *русскому* и семантически, и функционально. Выученик Славяно-Греко-Латинской академии Ф. Поликарпов помещает в своем "Лексиконе" (1704) характерное: *Рускій, зри ρωссійскій*, последнее же находим у него как бы в дополнениях пропущенных слов, **Ѡставшимся реченїм: ρωссійскій**, ῥωσσικος, rutenus[12]. Явная избыточность атрибута *российский* благоприятно сказалась на его карьере, в унисон патетическому сочинительству и сочинителям. Этой моде, удаляющейся от ровного стиля посольской канцелярии, воздали обильную дань на рубеже эпох многие, в их числе и Поликарпов, от дальнейших опытов которого разумный Петр ждал "не высоких слов славенских, но простого *русского* языка". Известно, что И.А. Мусин-Пушкин так сформулировал Ф. Поликарпову критику царя: "Посольского приказу употреби слова"[13]. Но дело было сделано, и совершенно избыточное *российский* начало свой триумфальный ход уже не только в витиеватом высоком стиле, но буквально вытесняя атрибут *русский* в его фондовых значениях, и если Кантемир еще пишет о "сложении стихов *русских*", а Сумароков – о "*русском* языке" и Тредиаковский – о "простом *русском* языке", то Ломоносову этого явно недостаточно, он заявляет "о правилах *российского* стихотворства", пишет "*Российскую* грамматику", говорит о "*российском* языке". Мода на все *российское* наступает в патетическом и героическом XVIII веке широким фронтом от комедии Ф. Журовского "Слава *Российская*" (еще при жизни Петра), "Истории *Российской*..." В.Н. Татищева, "*Российской* земли" в известной оде Ломоносова (1747) вплоть до *российских* матросов и *российских* кавалеров, героев популярных повестей. Сюда же, разумеется, относятся "Древняя *Российская* вивлиофика" и "Опыт исторического словаря о *российских* писателях" просветителя Н.И. Новикова,

---

[11] Грамотки XVII – начала XVIII века. Изд. Н.И. Тарабасова, Н.П. Панкратова. Под ред. С.И. Коткова. М., 1969. Passim.

[12] *Polikarpov P.* Leksikon trejazycnyj. Dictionarium trilingue. Moskva. 1704. Nachdruck und Einleitung von H. Keipert, O. Sagner. Munchen, 1988 (= Specimina philologiae slavicae Hrsg. von O. Horbatsch, G. Freidhof und P. Kosta. Bd. 79). S. 598, 798.

[13] История русской литературы. Т. 1. С. 380.

словоупотребление "*российский* гражданин" у Княжнина и такой венец искусственного словотворения, как название национальной героической поэмы М.М. Хераскова "*Россияда*". Нельзя пройти мимо опытов трактовки также и всего древнерусского как *древнего российского*, так что есть повод говорить не только и не столько об извитии словес и патетике, но и о своеобразной модернизации. Составители первого тома "Истории русской литературы" (Л., 1980) почему-то так и не заметили, что в этом вытеснении *русского российским*, о чем в этой "Истории" вообще ни слова, обозначилась тенденция смены общественной парадигмы, как мы назвали бы это сейчас. О какой смене общественной парадигмы идет речь – это вопрос, уже выходящий за рамки моего нынешнего сообщения, но остается фактом эта тенденция, это мироощущение, пришедшее вместе с XVIII веком, когда ряду отечественных деятелей стало как бы тесно в *Русской земле*, их манили, как Карамзина, "священный союз всемирного дружества", "всех братьев сочеловеков"[14].

Опыты вытеснения *русского российским* того времени легли на почву, а точнее сказать, на арену обширной деятельности иллюминатов, просветителей, попросту говоря, масонов. У Екатерины II были, видимо, свои резоны увидеть в этой деятельности не одну лишь пользу. Важна ли была борьба синонимов *русский–российский* на общем, казалось, неизмеримо более значительном общественно-историческом фоне, и, короче, заметил ли кто-нибудь вообще ту игру синонимов, или все прошли мимо, так ничего и не заметив, как наши литературоведы, по XVIII веку? Нет, все оказалось гораздо тоньше и многозначительнее. По-настоящему великие деятели и художники доказывают это нам практикой своего творчества. Это и "народ *русский*" как субъект карамзинской "Истории государства *Российского*" и его же "Письма *русского* путешественника". Радищев, язык которого считают "темным", в предельно ясной форме высказался о русском человеке как вершителе Истории *Российской*[15].

И, наконец, подлинное раскрытие всей искусственности эксперимента с *русским–российским* XVIII века смог дать нам, как мы того и ожидали, наш Пушкин. Мы смеем это утверждать, даже не имея возможности обратиться именно сейчас к картотеке Большого академического словаря в

---

[14] Там же. С. 748.

[15] Ср. цитату из "Путешествия..." Радищева: *Моисеева Г.Н.* Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980. С. 96.

Петербурге, но располагая, к счастью, "Словарем языка Пушкина", фиксирующим количество словоупотреблений. И вот результат: в языке Пушкина *российский* – прил. к *Россия*: *русский* – встретилось 53 раза, а *русский* как прилагательное и существительное в общей сложности – 572 раза, в десять раз больше! Пушкин, сам будучи сыном XVIII века, не обманулся поверхностной модой предшественников, кстати, им высоко чтимых, и показал, что он также и в этом разумный консерватор. *Россиянин* же у Пушкина отмечено только в десяти примерах.

Я резюмирую эту часть своих наблюдений над терминологическим феноменом вхождения нашей страны в Европу, считая долгом отметить, что, при всей искусственности терминов *Россия, российский*, наши далекие предшественники в общем правильно восприняли их как символ нашей европейской интеграции, иначе трудно было бы понять остальное, отмеченное выше. Но спрашивается, было ли это единственно возможным способом? То, что это не так, показывает опыт других стран, дальних и ближних. Германия, например, сохранила свое старинное и очень национальное самоназвание *Deutschland*, буквально *Народная земля*, латинское *Germania* немецкая культура применяет лишь в смысле "Германии" Тацита; Англия сама себя по-прежнему называет *Английской землей, землей англов, Eng(l)-land*, а не *Anglia* по-латински, то есть по принципу *Русская земля*, хотя названия стран и областей по латинской модели на *-ia* широко популярны в англоязычной культуре, ср. названия американских штатов Pennsylvan*ia*, Georg*ia*, Virgin*ia*. Обратимся к славянским странам и с интересом отметим, что самая латинизированная из них, Польша, как раз продолжает именовать себя по принципу, оставленному нами, *Polska* (scilicet *ziemia*) – *Польская* (*земля*)! По такому же славянскому принципу называется соседняя Словакия – *Slovensko*. Нашу Россию там называют *Rusko*. Несмотря на мощное влияние западных соседей, Чехия так и не приняла латинское название *Bohaemia*. Хорватия, именуемая нами (и всей Европой) по образцу латинских названий стран на *-ia* (в частности, *Croatia*; точно так же мы "латинизируем" Чех*ия*, Словак*ия*, прежде – Чехословак*ия*), упорно сохраняет славянский способ самообозначения *Hrvatska*. Аналогично, на *-ska*, оформлялось в старину и название Сербской земли и Болгарской, в новое время мы имеем там *Србија* и *България*, что напоминает нам известные центрально-европейские инновации на *-ia*, но пикантность вопроса в том, что на Юге нельзя исключать воздействия не только однотипных греческих

образований на -ία, но и, скажем, турецкого самоназвания *Türkiye* – Турц*ия* (при всей возможной неясности отношений последнего к центрально-европейским названиям стран на *-ia*).

Чему еще может научить нас славянский и славистический опыт? Сербские образования *србијанац – серб из внешних, более отдаленных областей*, сюда же *србијански, србљанин*, lingua seruiana – *сербский язык* (в письменности Дубровника XV–XVIII вв.), способны, наконец, подсказать нам правильное употребление нашего *россиянин*, история которого, разумеется, не кончилась полтора века назад. Хуже того, и *россиянин*, и *российский* сейчас, может быть, как никогда употребляются крайне неточно. Небрежностью это можно назвать далеко не всегда и уж, конечно, не в тех случаях, когда оба слова – *россиянин* и *российский* – наделены отчетливой идеологической, политической установкой – вытеснить, заменить слово *русский*. Довольно длительное время вытеснению *русского*, как известно, служило и великолепно использовалось *советское*. Сейчас это прошло, но *русское* восстанавливается (если восстанавливается вообще!) с большими, искусственно создаваемыми трудностями, и на сей раз препоны русскому возрождению чинятся весьма искусно с помощью ставших модными *россиян* и всего *российского*, вплоть до отдельных ведомственных предписаний употреблять *российский* вместо *русский*. Если еще принять во внимание, что на всех углах нам твердят со всей мощью СМИ о вхождении в новую Европу, и мы имеем дело с очередной европейской интеграцией, то параллели из прошлого, рассмотренные выше, могут пригодиться. Не повторяя подробно то, что писал или говорил по этому поводу в других местах, все же укажу на концептуальность атрибута *русский*: *русский язык, русская литература, русская культура, русская языковая картина мира*, наконец, *русский языковой союз*, о котором я также писал, но здесь не могу отвлекаться. Всего этого с точностью не выразить словом *российский*, не вызвав непоправимой подмены понятий, не совершив грубой языковой ошибки. Между словами *российский* и *русский* отсутствует отношение взаимозаменяемости; *русский* этнично, а *российский*, благодаря своей прямой зависимости от *Россия*, имеет сейчас свой, только ему присущий, административно-территориальный статус. В отличие от *русского, российский* и *россиянин* к тому же шире (может включать и *нерусского россиянина)*, семантически расплывчатее (возможно, этим и привлекает мозги, работающие на европейскую интеграцию).

Какая бы то ни была интеграция, запрограммированная на дезинтеграцию (в нашем случае – России), вызывает у нас глубокие сомнения. Именно среди нынешних апологетов *российского* (за счет *русского*) приходилось встречать деятелей, способных (при обсуждении закона о языках сначала – РСФСР, потом – Российской Федерации) поступиться и государственным, и международным статусом русского языка во имя порой совершенно мифических суверенитетов. Наблюдаемая рецессивность словоупотребления *русский* в пользу *российского* является плодом подобного просвещения. Пример: высокий государственный деятель в стране, на протяжении нескольких лет так и не решившийся публично произнести слово *русский* (разве что за исключением одиозного упоминания про "русский бунт, бессмысленный и беспощадный"). Я готов, впрочем, допустить, что мы имеем дело в повседневной практике не с одними только проявлениями недоброй воли и тенденций растворить *русское* в "*российском*". Не меньше случаев простого недопонимания, и именно с ними нужно работать и разъяснять. Я допускаю, например, что языковое (и прочее) различие между *русский* и *российский* часто просто не понимают на Западе, как не понимают его и наши расплодившиеся доморощенные переводчики с английского, когда переводят, например, *Российская Федерация – Russian Federation*, адекватно только – *Federation of Russia* (иначе получается – *Русская федерация*).

Можно продолжить изучение оппозиции *русский–российский* (а мы здесь имеем перед собой в настоящее время оппозиционную пару терминов) и дальше в плане лингвистической теории и типологии, в плане языкового перевода, приравняв, например, более широкое *российский* к нем. *ungarländisch* (параллельного **rußländisch* как будто еще не существует), а более специальное русский – к нем. *ungarisch*, имея в виду то, вполне подходящее как параллель, обстоятельство, что и старое королевство Венгрию населяли не одни венгры, но и словаки, хорваты, валахи.

Позволительно взглянуть на оппозицию *русский–российский* как на оппозицию по семантической маркированности, когда один из терминов – маркированный (иначе – признаковый, интенсивный), а другой соответственно – немаркированный (неотмеченный, беспризнаковый, экстенсивный). Похоже, в нашем случае маркированным будет *русский*, более определенный, четкий термин, а немаркированным – более расплывчатое, менее четкое *российский*. Наше наблюдение кажется нам небесполезным, тем более, что один из исследова-

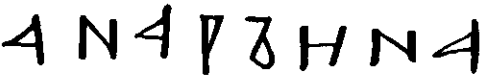
телей проблемы маркированности отмечает, со своей стороны, что именно маркированность относится к числу наименее инвентаризированных формальных признаков языка. С автором (а это был датско-американский лингвист Х. Андерсен) нельзя не согласиться, потому что о нашей терминологической паре *русский–российский* он, например, даже и не думал, когда изрекал эти справедливые суждения: "...отношения маркированности присутствуют во всех случаях, где язык предоставляет своим носителям возможность выбора"[16]. А в нашем случае такой выбор, безусловно, есть!

---

[16] *Andersen H.* Markedness Theory – the first 150 years – Markedness in Synchrony and Diachrony. Ed. by O. Mišeska Tomić. Mouton de Gruyter. Berlin; New York. 1989 (= Trends in Linguistics. Studies and Monographs 39. Ed. W. Winter). P. 41.

VIII

Славяне и Европа



Собственноручная подпись дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны (ана рѣ⟨г⟩ина – т.е. Анна королева, одна из самых ранних восточнославянских подписей), сочетавшейся в 1044 году браком с французским королем Генрихом I в столице Франции Реймсе. В Средние века на Евангелии из приданого Анны присягали короли Франции при вступлении на престол.

Позволю себе поделиться некоторыми мыслями[1], которые сложились у меня как у человека, работавшего все эти годы в области языковой истории славянства, скорее **древнейшей** его истории, периода сложения письменности. Но у меня, как у филолога, есть свое мнение и по новой, и по новейшей истории. Мне кажется, что тема "поисков единства" и сегодня может быть не лишней, более того – одной из главных. Повторяется если не все, то во всяком случае многое. Например, освобождение многих славянских народов после Отечественной войны 1812 г. разбудило интерес славян к своему языку, к своей истории и культуре. "Будители славян" (Я. Колар, В. Караджич и др.) явились предвестниками праздника святых Кирилла и Мефодия. Старославянский стал тогда общим для всех славян языком богослужения. Но каждый из славянских народов продолжал совершенствовать свою письменность, свою культуру. Панслависты мечтали об общем языке и сильном государстве, о высоком европейском уровне жизни. И "споры славян" меж собой терзали их души.

Написанные А.С. Пушкиным после неудачного польского восстания 1830 г. поэтические строки "Клеветникам России" у кого-то вызывали болезненные гримасы, а для нас являются образцом безбоязненной искренности:

Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос...

Оно ль иссякнет... Поэт горестно провидел и эту возможность. Какой огромный плюс в том, что тогда не было телевидения – нынешнего телевидения, наших СМИ, нынешнего расколотого общества. Ведь как можно было бы дополнительно замарать все, что было тогда! Сегодня особенно пострадал русский язык. На ТВ нет передачи "Русская речь", передач о русской му-

[1] Эта глава основана на материалах выступления О.Н. Трубачева в дни Праздника славянской письменности и культуры на Международной конференции "130 лет Московскому славянскому съезду" (21 мая 1997 г.), опубликованного в кн. "Славянское движение XIX–XX веков" (Москва, 1998. С. 10–15).

зыке, русской культуре, деятелях просвещения, сократилось число русскоязычных школ. Наука продолжает свою работу над историей слов: с 1974 г. в Институте русского языка РАН выходит "Этимологический словарь славянских языков", реконструирующий праславянский лексический фонд всех 15 славянских языков в их старом и новом состоянии. С 1975 г. выходит "Словарь русского языка XI–XVII вв.", с 1960 – "Словарь русских народных говоров". Отрадно, что исторические и этимологические словари выходят и на Украине и в Белоруссии, хотя темп их издания замедлился. Об этих словарях пекутся только Академии наук, о них говорят на съездах славистов, а вот в СМИ – иная картина. Сейчас же, если пишет нынешний корреспондент о нынешней Польше, обязательно ввернет: "Польский орел смотрит на запад". А ведь эта привычка скользить по рекламной поверхности явлений, по их вывескам может и подвести. Так, "sanacyjna", санационная предвоенная Польша была западной ориентации, в то время как подлинный цвет польской культуры, будь-то хоть один-единственный человек по фамилии Лер-Сплавинский, думал о праславянском наследии польского языка и словаря, о том, что **объединяет** польских славян с другими славянами. Недаром и в Польше, тоже с 1974 г., выходит "Słownik prasłowański".

Конечно, и в старину про нас писали всякое; австрослависты косо поглядывали на панславистов. Нынешние СМИ сквернят напропалую, по поговорке: Касьян куда не зинет, все гинет. Какой, например, светлой верой, надеждой, любовью веет от черногорского присловья: "Нас и русских – сто миллионов (вариант: двести миллионов)". Как надо бы гордиться этими чувствами крохотной героической Черногории к нашей матушке России, а, между прочим, народ в Сербии именно так называл и называет нашу Россию: "мајчица Русија". Но не беспокойтесь, дотянулись и до этого, и вот уже, к чьему-то удовольствию, о недавних уличных волнениях в Белграде нам сообщают, что манифестанты-то несли совсем другой лозунг: "Нас с Европой – триста миллионов!" Имеется в виду численность населения стран Европейского сообщества, а нас с вами, видите ли, там уже не любят. Не знаю, не видел, не замечал. Более того – не верю. Эти трубадуры отчуждения делают свою работу, а нам, естественно, делать свою.

Конечно, продолжая высоко чтить наших панславистов, мы сейчас не можем остановиться, замкнуться на их прекраснодушии, их мечтах о едином общем языке (предположительно – русском), об общем могучем государстве. Мы обращаемся к науке. Mutatis mutandis (внеся необходимые изменения. – *лат.*), наука тоже признает актуальность проблемы, поставленной прежними панславистами, – проблемы "**славяне** и Европа". Увы, при этом

почти всегда мерилом служил, как бы мы сейчас сказали, синхронистический, фотографический взгляд на вещи, то есть почти как это имеет место сейчас – сиюминутный комфорт жизни потребительского общества, расстояние в километрах от Западной Европы, количество ванн в средней квартире. Если так, то мы, конечно, проигрываем, мы по-прежнему "варварская Россия" для славян бывшей Австро-Венгрии, для чехов, может быть, для поляков. Эти нотки практической оценки проскальзывают и у самых крупных писателей и мыслителей западного славянства. Достаточно взять романы Генриха Сенкевича на "буржуазную" тематику конца – "Bez dogmatu" и "Rodzina Połaneckich". Как для автора там важно это умозаключение о своем обществе: "Tu nie udają. Europe, tu nią są" (Здесь не прикидываются Европой, **здесь ею являются,** это – сама Европа). Понятно, что описываемое польское общество слишком ощущало свое промежуточное и непрочное положение между крутыми немцами, с одной стороны, и слишком большой и не очень понятной Россией, – с другой. Думается, что и эти материально достаточные господа во фланелевых костюмах у Сенкевича судили тоже не очень далеко и глубоко. Ведь тот факт, что мы в гораздо меньшей степени цеплялись за показную сторону европейской культуры, мог бы свидетельствовать также в пользу нашей крупности.

Как славист-компаративист я имею дело с реконструкцией, при которой очень многое вторичное отпадает. Остается, быть может, главное: **древнее обитание славян, в Европе, близко к ее дунайскому центру.** То есть то, во что верили и пытались обосновать фактами поколения Шафарика и Палацкого, повторяя мысль последнего о чешском народе: "Мы были до Австрии, мы будем и после Австрии". Почти столь же постоянно я имею дело с многоликой тенденцией – **вытолкнуть славян из Европы.** Этим занимались и публицисты от науки, и просто публицисты, а порой и серьезные ученые. Любопытно, что феномен **"выталкивания славян из Европы"** временами сменяется, перемежается с демонстративными акциями **"вхождения славян, русских в Европу"** – то ли при Петре I, при Екатерине ли II или при нынешних, когда Европу, впопыхах, путают с НАТО. Всему этому сопутствуют терминологические всплески, которые моя наука фиксирует и даже знает им цену... (например, судьба пары терминов "русский" – "российский", второй из них этнически безликий и потому насаждаемый).

Однажды, находясь по делам и по приглашению в Германии, я посетил Дрезденскую картинную галерею и Мюнхенскую Пинакотеку. При всем богатстве виденного, одно довольно стойкое впечатление не покидало меня, и я не могу не вспомнить о нем

здесь, потому что речь идет все о том же парадоксе славянского присутствия-отсутствия. Да, я знаю, что и в Германии сейчас наберется достаточно объективных умов, признающих, что Европа – это в сущности симбиоз Германии, Романии и Славии, но, бродя по упомянутым прекрасным залам, я видел во множестве Германию, Романию, видел аллегорические полотна типа "Italia und Germania" и лишь Славии там не нашел, как будто не было ее совсем. В чем причина – в "гордыни западноевропейского образа мыслей", как не без основания думают некоторые, или в нашем легкомысленном небрежении традиций Шафарика? Но кажется – что и в том, и в другом.

Материал по проблеме: "славяне и Европа" продолжает поступать, и это не пропаганда, а наука, что всячески хотелось бы подчеркнуть. Мы могли бы гордиться, что тем самым исполняем заветы тех участников Славянского съезда в Москве 1867 года, которые правильное развитие усматривали в том, что на смену их энтузиазму и их эмоционально насыщенным акциям **должна прийти наука.** Она и пришла, пусть не сразу, ибо только с 1929 года начались **международные съезды славистов нового времени.**

Но под конец все же еще раз о **единстве.** Оно не нравится тем, кто работает на разобщение. Хочу успокоить (или урезонить) оппонентов: в науке складывается картина, когда мы имеем (имели, будем иметь) дело с **единством в сложности.** Вспомним, что наиболее яркие из участников Славянского съезда в Москве 1867 года тоже говорили о **многоликом единстве.** К этому приводит и наука наших дней, когда она считается с необходимостью говорить об изначальной диалектной сложности сколь угодно древнего славянства (пра-славянства) и когда она не спешит, скажем, из факта реальной самобытности древненовгородского диалекта делать вывод, что он – пришелец в Древнюю Русь с того же славянского Запада. Нет, и древнерусский этноязыковой ареал со своими более архаичными перифериями и инновационным центром был един во множестве, многолик в единстве. Открывающиеся здесь перспективы адекватной оценки самобытности во всех ее проявлениях – языка, этноса, культуры – трудно переоценить. Отрадно при этом сознавать, что наши идеи имеют глубокие корни, уходящие в XIX век, к трудам и идеям отцов и **будителей** славянского возрождения.

Приложение

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА РАН О.Н. ТРУБАЧЕВА (1930–2002)

(Составил А.К. Шапошников)

Олег Николаевич Трубачев родился 23 октября 1930 г. в Волгограде.

1937–1943 гг. – Волгоград, начальная школа.

1943–1944 гг. – Эвакуация в г. Горький.

1944 г. – Переезд семьи в Днепропетровск.

1947 г. – Окончил среднюю школу № 2 в Днепропетровске с серебряной медалью и поступил в Днепропетровский государственный университет (филологический факультет, отделение русского языка и литературы).

1951–1952 гг. – Сотрудничал с газетой "Комсомольская правда".

1952–1953 гг. – Окончил с отличием Днепропетровский университет, переехал в Москву и продолжил сотрудничество с газетой "Комсомольская правда", затем стал сотрудником Антифашистского комитета советской молодежи.

1953–1956 гг. – Аспирант Института славяноведения АН СССР (Москва).

1956–1961 гг. – Младший научный сотрудник Института славяноведения АН СССР.

1958 г. – Присуждена ученая степень кандидата филологических наук за диссертацию "История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя". Принимал участие в работе IV Международного съезда славистов (Москва).

1960–2002 гг. – Член Советского комитета славистов (ныне Национальный комитет славистов РФ).

1961–1986 г. – Старший научный сотрудник, заведующий Сектором этимологии и ономастики Института Русского языка АН СССР.

1963 г. – Ответственный редактор ежегодника "Этимология", разработчик проекта и пробных статей Этимологического словаря славянских языков. Принимал участие в V Международном съезде славистов в Софии (Болгария).

1966 г. – Присуждена ученая степень доктора филологических наук за диссертацию "Ремесленная терминология в славянских языках".

1966–1982 гг. – Заместитель директора Института Русского языка АН СССР.

1966–2002 г. – Член Международного комитета ономастических наук.

1967 г. – Участвовал в работе Международного симпозиума "Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии" (Москва).

1968 г. – Принимал участие в VI Международном съезде славистов в Праге (Чехословакия).

1970 г. – Избран членом Международной комиссии по славянской лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов. Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина".

1972 г. – Избран членом-корреспондентом АН СССР. Принимал участие в работе Международного симпозиума по этимологическому и историческому исследованию славянских языков (Лейпциг, ГДР)

С 1973 г. – Член Международной комиссии по славянской лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов. В августе 1973 г. принимал участие в работе VII Международного съезда славистов в Варшаве (Польша).

С 1974 г. – Ответственный редактор "Этимологического словаря славянских языков. Праславянский лексический фонд". Выход первого выпуска словаря.

1975 г. – Награжден орденом "Знак Почета" за заслуги в развитии советской науки в связи с 250-летием АН СССР.

1976 г., январь – Награжден знаком "Ударник девятой пятилетки".

1976–1977 гг. – Читал лекции в Университете Хельсинки (Финляндия) и семи университетах ФРГ.

Сентябрь 1978 г. – Принимал участие в работе VIII Международного съезда славистов в Загребе и Любляне (Югославия).

1980 г. – Избран членом-корреспондентом Финно-угорского общества (Финляндия).

Август 1981 г. – Принимал участие в XIV Международном конгрессе ономастических наук в г. Гринфилде (Мичиган, США).

1983 г. – Избран членом-корреспондентом Академии наук и искусств в Загребе (Югославия, ныне Хорватия). В сентябре участвовал в работе IX Международного съезда славистов в Киеве (Украина).

1984 г. – Принимал участие в работе Международного симпозиума по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии (Москва)

1985 г. – Принимал участие в работе V Международного конгресса славянской археологии (Киев).

1986 г. – Награжден медалью "Ветеран труда". Читал лекции в ряде университетов США. Назначен заведующим Отдела этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР.

1988 г. – Принимал участие в X международном съезде славистов в Софии (Болгария). Избран председателем общественного научного совета по подготовке Русской энциклопедии.

1989 г. – Принимал участие в заседании международной комиссии по славянской лексикологии и лексикографии (Чехословакия).

1991 г. – Принимал участие в работе Международного симпозиума по славянской этимологии (Австрия), выступил с докладами в университетах Кёльна, Саарбрюкена, Гётебурга, Фрайбурга, (Германия).

1992 г., 11 июня – Избран действительным членом Российской академии наук.

В разные годы О.Н. Трубачев выступал с лекциями по этимологии в Институте Русского языка РАН, Московском педагогическом государственном университете, Псковском государственном университете.

1993 г. – Принимал участие в работе XI Международного съезда славистов в Братиславе (Словакия).

1995 г. – За фундаментальный лексикографический труд "Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд" был удостоен постановлением Президиума РАН от 31 января 1995 г. – первой золотой медали имени В.И. Даля. В сентябре того же года за научные достижения в области славистики присуждено почетное звание Doctor honoris causa Кошицкого Университета (Словакия) и вручена золотая медаль имени П.Й. Шафарика (1795–1861).

После 1995 г. – Выступал с лекциями в Лексикографическом семинаре Кабинета "Славянский мир" по теме "Вопросы истории и теории русской лексикографии в Российской Академии наук" (Рук. Г.А. Богатова) для студентов Академии славянской культуры, студентов и аспирантов МГУ, МПГУ, университетов Твери, Смоленска, Рязани, а также для общественности Москвы.

1996 г. – Избран председателем Национального комитета славистов в России, главный редактор журнала "Вопросы языкознания", член редколлегии журналов "Русская словесность", "Palaeoslavica", Этимологического словаря славянских языков, Словаря русского языка XI–XVII вв., председатель экспертной Комиссии Отделения литературы и языка РАН по премиям им. А.А. Шахматова.

1997 г. – Заместитель академика-секретаря Отделения литературы и языка РАН. Награжден медалью "В память 850-летия Москвы".

1998 г., август – Принимал участие в XII Международном съезде славистов в Кракове (Польша). В октябре участвовал в Международной конференции "Чтения в память академика Бошковича" (Черногирия), выступал с лекциями в университетах Белграда (Сербия) и Приштины (Косово).

1999 г., октябрь – Принимал участие в VI Международной конференции "Функциональная лингвистика: язык, культура, общество" (Ялта), читал лекции в университетах Крыма.

2000 г., сентябрь – Выступал с лекциями в Государственном университете г. Петропавловск-Камчатский.

2001 г., ноябрь – Принимал участие в мероприятиях ЮНЭСКО, приуроченных к 200-летию В.И. Даля (Москва).

Олег Николаевич Трубачев скончался 9 марта 2002 г., похоронен на Троекуровском кладбище (Кунцево-Сетунь) в Москве.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ О.Н. ТРУБАЧЕВА[1]

Указатель составлен на базе личной библиотеки О.Н. Трубачева в Шереметьеве и Москве аспирантами и сотрудниками Института Русского языка им. В.В. Виноградова РАН под руководством Г.А. Богатовой. Техническую работу выполняли студенты Государственной академии славянской культуры в период летней студенческой практики в мае–июне 2002 г.

В ходе работы использовались указатели трудов О.Н. Трубачева, составленные Л.В. Шутько ("Хронологический указатель трудов". 1954–1992. М.: Наука, 1992) и А.А. Калашниковым ("Указатель трудов Олега Николаевича Трубачева за 1992–1999 гг." // Этимология. 1997–1999. М.: Наука, 2000).

1951

Почин Комсомола // Комсомольская правда. – 1951. – 4 апр. (Подпись – Трубачев Н.)

Подарок строителям // Комсомольская правда. – 1951. – 23 мая. (Подпись – Трубачев Н.)

Строителям от школьников // Комсомольская правда. – 1951. – 8 июня. (Подпись – Трубачев Н.)

1952

Вербовщики прощаются // Комсомольская правда. – 1952. – 6 сент.

На международные темы // Комсомольская правда. – 1952. – 26 окт.

Копируя Гитлера // Комсомольская правда. – 1952. – 20 ноября

Сегодня в Западной Германии // Комсомольская правда. – 1952. – 21 ноября.

1954

Хорошие вести // Комсомольская правда. – 1954. – 10 сент. (Подпись – Трубачев Н.)

Памяти К. Буги: К 30-летию со дня смерти // Молодежь Литвы. – 1954. – 2 дек.

1955

К этимологии слова *собака* // Крат. сообщ. Ин-та славяноведения. – 1955. – № 15. – с. 48–55.

1956

История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя: Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – М.: [Ин-т славяноведения АН СССР], 1956. – 14 с.

[Хроника] Совещание Международного комитета славистов в Москве // Изв. АН СССР. ОЛЯ. – 1956. – Т. 15, вып. 4. – С. 388–392.

1957

Славянские этимологии. 1–7 // Вопр. слав. языкознания. – 1957. – Вып. 2. – С. 29–42.

Славянские этимологии. 8–9 // Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов. – София: Изд-ние Бълг. АН, 1957. – С. 337–339.

К этимологии некоторых древнейших славянских терминов родства // ВЯ. – 1957. – № 2. – С. 86–95.

Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ. – 1957. – № 5. – С. 58–72.

Этимологический словарь славянских языков Г.А. Ильинского // ВЯ. – 1957. – № 6. – С. 91–96.

Рец.: *Frisk H.* Griechisches etymologisches Worterbuch. Heidelberg, 1954 – 1955. Lfg. 1–3. XI. 228 S. // ВЯ. – 1957. – № 3. – С.148–149.

1958

Фасмер Макс // БСЭ. – 2-е изд. – 1958. – Т. 51. – С. 301. – Библиогр.: 5 назв. – Без подписи.

Список печатных работ Б.М. Ляпунова // ВЯ. – 1958. – № 2. – С. 75–80.

Из истории табуистических названий // Вопр. слав. языкознания. – 1958. – № 3. – С. 120–126.

Следы язычества в славянской лексике: (1. *Trizna*; 2. *Peti;* 3. *Kobь*) // Slav. rev. – 1958. – L. 11, № 3/4. – S. 219–231. – Рез.: словен.

Slawische Etymologien [10–19] // Z. Slaw. – 1958. – Bd. 3, H. 5. – S. 668–681.

Рец.: *Horálek K.* Úvod do studia slovanských jazyků. Praha, 1955. 488 S. // ВЯ. – 1958. – № 1. – С. 134–137.

Рец.: Новые этимологические словари славянских языков [Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1952–1956. T. 1. 599 S.; Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. 627 S.] // ВЯ. – 1958. – № 4. – С. 129–135.

Рец.: *Черных П.Я.* Очерк русской исторической лексикологии: Древнерус. период. М., 1956. 243 с. // Кратк. сообщ. Ин-та славяноведения. – 1958. – № 25. – С. 89–106.

1959

История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 212 с. – Библиогр.: С. 202–211.

Лингвистическая география и этимологические исследования // ВЯ. – 1959. – № 1. – С. 16–33.

Следы язычества в славянской лексике: 1. *Trizna*; 2. *Pěti*; 3. *Kobь* // Вопр. слав. языкознания. – 1959. – № 4. – С. 130–139.

Slawische Etymologien [20–23] // Z. Slaw. – 1959. – Bd. 4, H. 1. – S. 83–87.

1960

Происхождение названий домашних животных в славянских языках: (Этимол. исслед.). – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 115 с.

Славянские этимологии 24–27 // Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. – София: БАН, 1960. – С. 137–143.

Славянские этимологии 28. Болгарское диалектное *макд* 'скот' // Этимологические исследования по русскому языку. М., 1960. – Вып. 1. – С. 87–89.

Еще раз об этимологии слова *росомаха* // Крат. сообщ. Ин-та славяноведения. – 1960. – № 28. – С. 74.

Об этимологическом словаре русского языка: [Фасмер М. Русский этимологический словарь] // ВЯ. – 1960. – № 3. – С. 60–69.

Из истории названий каш в славянских языках // Slavia. – 1960. – Roč. 29, seš. 1. – S. 1–30.

Три литовские этимологии: 1. *Kaktà*, 2. *šiáudas*, 3. *lõpšas* // Lingua Posnaniensis. – 1960. – Т. 8. – С. 236–242.

1961

Несколько русских этимологий: (*Бардадым*, *будоражить*, *норка*, *околоток*, *харя*, *худощавый*, *шушун*) // Этимологические исследования по русскому языку. – М., 1961. – Вып. 3. – С. 41–51.

Задачи этимологических исследований в области славянских языков // Актуальные проблемы славяноведения. Кратк. сообщ. Ин-та славяноведения. – 1961. – № 33/34. – С. 202–210.

О племенном названии *уличи* // Вопр. слав. языкознания. – 1961. – Вып. 5. – С. 186–190: рис.

К вопросу о реконструкции различных лексических систем // Тезисы докладов на VII пленарном заседании комиссии, посвященном проблемам сравнительно-исторической лексикологии (Москва, июнь 1961). – М., 1961. – С. 9–12.

Рец.: Об одном опыте популяризации этимологии: [Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителя. М., 1961. 404 с.] // ВЯ. – 1961. – № 5. – С. 129–135.

1962

Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 270 с., 13 л. карт. – Соавт.: Топоров В.Н.

Славянские этимологии 29–39 // Этимологические исследования по русскому языку. – М., 1962. – Вып. 2. – С. 26–43.

Заметки по этимологии и ономастике (на материале балто-германских отношений) // Друга республіканська ономастична нарада (Тези). – Київ, 1962. – С. 9–12.

[Выступление в прениях] // IV Международный съезд славистов: Материалы дискуссии. – М., 1962. – Т. 2: Проблемы славянского языкознания. – С. 99–100.

Рец.: *Вахрос И.С.* Наименования обуви в русском языке. 1. Древнейшие наименования – до Петровской эпохи. Хельсинки, 1959. 271 с. // Крат. сообщ. Ин-та славяноведения. – 1962. – № 35. – С. 99–101.

1963

Этимологический словарь славянских языков: (Праслав. лекс. фонд): Проспект. Проб. ст. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 94 с.: карт.

О составе праславянского словаря: (Пробл. и задачи) // Славянское языкознание: V Междунар. съезд славистов (София, сент. 1963): Докл. сов. делегации. – М., 1963. – С. 159–196: рис. – Рез.: фр.

О праславянских лексических диалектизмах серболужицких языков // Серболужицкий лингвистический сборник. – М., 1963. – С. 154–172.

Формирование древнейшей ремесленной терминологии в славянском и некоторых других индоевропейских диалектах // Этимология: Исслед. по рус. и др. яз. – М., 1963. – С. 14–51: рис., табл.

О возможности венгерско-тохарских связей // Там же. – С. 191–193.

К вопросу о реконструкции различных систем лексики // Лексикографический сборник. – М., 1963. – Вып. 6. – С. 3–16.

Заметки по старославянской этимологии // Этимологические исследования по русскому языку. – М., 1963. – Вып. 4. – С. 160–168.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1961. T. 2, zesz. 2 // Этимология: Исслед. по рус. и др. яз. – М., 1963. – С. 282–283.

Рец.: Słownik starożytności słowiańskich: Encykl. zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych. Wrocław, etc., 1961. T. I, czesc. 1. XII + 216 // Там же. – С. 284–286.

Ред.: Этимология: Исслед. по рус. и др. яз. / Отв. ред. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. 314 с.

От редакции // Там же. – С. 3–4. – Совм. с др.

1964

"Молчать" и "таять". О необходимости семасиологического словаря нового типа // Проблемы индоевропейского языкознания: Этюды по сравн.-ист. грамматике индоевр. яз. – М., 1964. – С. 100–105.

Славянские этимологии. 40. Слав. **gotovъ* // Prace filol. – 1964. – T. 28. – S. 153–156.

Пер.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1964. – Т. 1. – 562 с. – (С доп.).

1965

Ремесленная терминология в славянских языках: (Этимология и опыт групповой реконструкции): Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук. – М.: [Ин-т рус. яз. АН СССР], 1965. – 24 с.

Славянские этимологии. 41–47 // Этимология: Принципы реконструкции и методика исслед. – М., 1965. – С. 3–12.

Этимологические мелочи // Там же. – С. 131–134.

Заметки по этимологии и ономастике: (На материале балто-герм. отношений) // Питання ономастики: (Матеріали II Респ. нар. з питань ономастики). – Київ, 1965. – С. 16–24.

Заметки по литовской этимологии: (I. *Lytìs*, II. *jùk*, III. *alsà*, IV. *kū̃dikis*,V. *nèt*) // Symbolae linguisticae: In honorem G. Kuryłowicz. – Wrocław, etc., 1965. – С. 331–334. – (Pol. AN. Oddział w Krakówie. Prace Komis. językozn.; № 5).

Рец.: Current trends in linguistics, ed. by T.A. Sebeck. The Hague, 1963. – 606 с. // ВЯ. – 1965. – № 3. – С. 147–165.

Рец.: *Георгиев В.* и *др.* Български етимологичен речник. Св. 1, 2. София, 1962. 160 с. // Этимология: Принципы реконструкции и методика исслед. – М., 1965. – С. 353–354.

Рец.: Из истории слов и словарей: Очерки по лексикологии и лексикографии. Л., 1963. 184 с. // Там же. – С. 355.

Рец.: *Мартынов В.В.* Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры: (К пробл. прародины славян). Минск, 1963. 250 с. // Там же. – С. 357–359.

Рец.: *Bezlaj F.* Etimološki slovar slovenskega jezika: Poskusni zv. Ljubljana, 1963. 28 s. // Там же. – С. 350–351.

Рец.: *Hubschmid J.* Thesaurus praeromanicus. Fasz. 1. Grundlagen für ein weitverbreitetes mediterranes Substrat, dargestellt in romanischen, baskischen und vorindogermanischen *p*-Suffixen. Bern, 1963. 96 S. // Там же. – С. 379–380.

Рец.: *Lehr-Spławiński T., Polański K.* Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich. Wrocław, etc., 1962. Zesz. 1. XVIII + 142 s. // Там же. – С. 351–353.

Рец.: *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1963. Lfg. 1 // Там же. – С. 345–347.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1963. T. 2, zesz. 3. 112 s. // Там же. – С. 354–355.

Рец.: *Striedter-Temps H.* Deutsche Lehnwörter im Slowenischen. Berlin – Wiesbaden, 1963. 256 s. (Veröff. der Abt. für slav. Sprachen und Lit. des Osteur. Inst. an der Freien Univ. Berlin; Bd. 27 // Там же. – С. 359–360.

Рец.: *Szemérenyi O.* Principles of etymological research in the Indo-European languages: II. Fachtagung für indogerm. und allgem. Sprachwiss. Innsbrck, 1962. S. 175–212. // Там же. – С. 344–345.

Рец.: "Szótörténeti és szófejtő tanulmányok" / Szerk. D. Pais és L. Benkő. Budapest, 1963. L. 223. (Nyelvtudom. (értekez.; 38 sz.) // Там же. – С. 380–381.

Рец.: *Trier J.* Venus. Etymologien um das Futterlaub. Köln-Graz, 1963. 207 S. (Münster. Forsch. / Hrsg. von J. Trier und O. Herding; Bd. 15) // Там же. – С. 361–362.

Рец.: *Volm M.H.* Indoeuropäisches Erbgut in den germanischen und slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1962. 102 S. // Там же. – С. 356.

Рец.: *Kiparsky V.* Comparative and historical slavistics // ВЯ. – 1965. – № 3. – С. 153–155.

Ред.: Этимология: Принципы реконструкции и методика исслед. / Отв. ред. – М.: Наука, 1964. – 395 с.

1966

Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт групповой реконструкции). – М.: Наука, 1966. – 416 с.

Балтийская гидронимия Верхнего Поднепровья // Lietuviu kalbotyros klausimai, IV Lietuvos TSR Mokslu Akademija 1966. – С. 195–217. – (Соавт.: *Топоров В.Н.*).

Этимологические заметки по гидронимии Среднего Днепра // Studia linguistica slavica baltica: C.–O. Falk sexagenario a collegis amicis discipulis oblata. – Lundae, 1966. – S. 299–308. – (Slav. Inst. vid Lunds Univ. Slav. och Balt. stud.; 8). – Bibliogr.: 12 ref.

Eburodunum – Singidunum: [Этимология соврем. назв. городов Брно и Сегед] // Изучение географических названий. – М., 1966. – С. 103–105. – (Вопр. географии; Сб. 70).

Работа над этимологическим словарем славянских языков и проблема своеобразия славянского словарного состава // Международный симпозиум. Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии (24–31 января 1967). Программа. Тез. докл. – М., 1966. – С. 3; 8–9.

1967

Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965: Материалы и исслед. по индоевр. и др. яз. – М., 1967. – С. 3–81.

Internationales Symposion über "Probleme der slavischen etymologischen Forschung im Zusammenhang mit der allgemeinen Problematik der modernen Etymologie" [Moskau, Jan. 1967] // Anzeiger für slavische Philologie, 1967. – Wiesbaden, 1967. – Bd. 2. – S. 131–136.

Работа над этимологическим словарем славянских языков // ВЯ. – 1967. – № 4. – С. 34–35.

Рец.: *Георгиев В.* и *др.* Български етимологичен речник. София, 1964. Св. 3. С. 161–240 // Этимология. 1965: Материалы и исслед. по индоевр. и др. яз. – М., 1967. – С. 381–382.

Рец.: *Rudnyćkyj J.B.* An etymological dictionary of the Ukrainian language. Winnipeg, 1962. Pt. 1; 1963. Pt. 2; 1964. Pt. 3. 288 p. // Там же. – С. 382–383.

Рец.: *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1964. Lfg. 2. S. 59–138. // Там же. – С. 385–386.

Рец.: Sborník prací Filosofické fakultý Brněnské university. Brno, 1964. Roc. 13, c. 12. 270 s. // Там же. – С. 389–390.

Рец.: *Schulz G.V.* Studien zum Wortschatz der russischen Zimmerleute und Bautischler. Berlin – Wiesbaden, 1964. XVIII + 229 S. (Slav. Veröff.: Bd. 30) // Там же. – С. 388–389.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1964. T. 2, zesz. 4. S. 337–448. // Там же. – С. 380–381.

Рец.: Słownik starożytnosci słowiańskich. Wrocław, etc., 1962. T. 1, cz. 2. S. 217–481; 1964. T. 2, cz. 1. 235 S. // Там же. – С. 386–388.

Рец.: Základní všeslovanská slovní zásoba. Brno, 1964. 560 s. // Там же. – С. 384–385.

Пер.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1967. – Т. 2. – 671 с. (С доп.).

Научно-исследовательская работа сектора этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР // Zpravodaj Místopisné komise ČSAV (Чехословакия). Roč. VIII, c. 4, 1967. – С. 389–393.

Ред.: Этимология. 1965: Материалы и исслед. по индоевр. и др. яз. / Отв. ред. – М.: Наука, 1967. – 399 с.

1968

Названия рек Правобережной Украины: Словообразование. Этимология. Этн. интерпретация. – М.: Наука, 1968. – 289 с.: карт.

Из материалов для этимологического словаря фамилий России: (Русские фамилии и фамилии, бытующие в России) // Этимология. 1966: Пробл. лингвогеографии и межъяз. контактов. – М., 1968. – С. 3–53.

О составе праславянского словаря: (Пробл. и результаты) // Славянское языкознание: VI Междунар. съезд славистов (Прага, авг. 1968 г.): Докл. сов. делегации. – М., 1968. – С. 366–378.

Этимологические исследования // Теоретические проблемы советского языкознания. – М., 1968. – С. 91–105. – Библиогр.: 50 назв.

Из опыта исследования гидронимов Украины // Baltistica. – Vilnius, 1968. – [T.] 4. – P. 31–53: ил.

Библиография по ономастике русская // ONOMA. Vol. XIII. – 1968. – S. 110–113.

Рец.: *Георгиев В.* и *др.* Български етимологичен речник. София, 1965. Св. 4. // Этимология. 1966: Пробл. лингвогеографии и межъяз. контактов. – М., 1968. – С. 378.

Рец.: Baltistica. Baltų kalbų tyrinėjimai. Vilnius, 1965. [T.] 1 // Там же. – С. 379–380.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1965. T. 2, zesz. 5 // Там же. С. 376–377.

Ред.: Этимология. 1966: Пробл. лингвогеографии и межъяз. контактов / Отв. ред. – М.: Наука, 1968. – 412 с.

1969

Заметки по лехитской этимологии // Исследования по польскому языку: Сб. ст. – М., 1969. – С. 296–306.

К сравнительно-этимологической характеристике союза *а* и сочетаний с ним в праславянском // Вопросы филологии: К 70-летию со дня рождения И.А. Василенко. – М., 1969. – С. 332–336.

Рец.: *Георгиев В.* и др. Български етимологичен речник. София, 1966. Св. 5. С. 321 – 400 // Этимология. 1967: Материалы Междунар. Симпоз. "Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии", 24–31 янв. 1967 г. – М., 1969. – С. 314–315.

Рец.: *Polański K., Sehnert J.A.* Polabian-English dictionary. Hague – Paris, 1967. 239 p. (Slav. print. and reprint.; 61) // Там же. – С. 327–328.

Рец.: *Sabaliauskas A.* Lietuvių kalbos leksikos raida. Vilnius, 1966. // Там же. – С. 318–320.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1966. T. 3, zesz. 1. S. 1 – 112 // Там же. – С. 315–317.

Рец.: Słownik starożytności słowiańskich: Encykl. zarys kultury Słowian od czasęw najdawnieszych do schyłku wieku XII. Wrocław, etc., 1965. T. 2, cz. 2. 587 s. // Там же. – С. 320–321.

Рец.: *Vahros I.* Zur Geschichte und Folklore der grossrussischen Sauna. Helsinki, 1966. 360 S. (Folklore Fellows Commn.; Vol. 82, № 197) // Там же. – С. 321–323.

Пер.: *Полянский К.* Проблемы полабской терминологии: Пер. с польского // Там же. – С. 5–10.

Ред.: Этимология. 1967: Материалы Междунар. симпоз. "Проблемы славянских этимологических иследований в связи с общей проблематикой современной этимологии", 24–31 янв. 1967 г. / Отв. ред. – М.: Наука, 1969. – 336 с.

1970

Этимологические заметки // Donum Balticum: To prof. Ch.-S. Stang on the occasion of his 70th birthday 15 March 1970 / Ed. by V. Rūcke-Draviņa. – Stockholm, 1970. – S. 544–547. – Res.: Engl. Bibliogr.: 10 ref.

II. Linguistic areas. I. Indo-European, Asianic & Mediterranean Languages. A. General. Etymology (Bibliography) // ONOMA. – Vol. XV. – 1970. – 2–3. – С. 305–321. – (Соавт.: Simone de, Tovar A., Duridanov I.).

1971

Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология. 1968. – М., 1971. – С. 24–67.

Из праславянского словообразования: именные сложения с приставкой *а-* // Проблемы истории и диалектологии славянских языков: Сб. ст. к 70-летию В.И. Борковского. – М., 1971. – С. 267–272.

Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство. – 1971. – № 6. – С. 3–17.

Две болгарские этимологии. *Самодъва. Момчил* // Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь 60-летия проф. С.Б. Бернштейна. – М., 1971. – С. 458–465.

Рец.: Baltistica. Baltų kalbų tyrinėjimai. Vilnius, 1967. [T]. 3, № 1. 130 p.; T. 3. № 2. 256 p. // Этимология. 1968. – М., 1971. – С. 265–266.

Рец.: *Bezlaj F.* Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljiana, 1967. 183 s. // Там же. – С. 266–268.

Рец.: A magyar nyelv történeti – etimológiai szótára. Budapest, 1967 // Там же. – С. 259–263.

Рец.: *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1967. Lfg. 3. S. 139–218 // Там же. – С. 263–264.

Рец.: *Scholz F.* Slavische Etymologie. Eine Anleitung zur Benutzung etymologischer Wörterbücher. Wiesbaden, 1966. 126 S. // Там же. – С. 251–256.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1967. T. 3, zesz. 2. S. 113–224 // Там же. – С. 269–270.

Пер.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1971. – Т. 3. – 827 с. (С доп.).

Ред.: Этимология. 1968 / Отв. ред. – М.: Наука, 1971. – 280 с.

1972

Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология. 1970. – М., 1972. – С. 3–20.

Литовское *nasrao* ‘пасть’: Этимология и грамматика (тезисы) // Baltistica. I priedas, 1972. – С. 225–226.

Об одной редкой словообразовательной модели // Русское и славянское языкознание: К 70-летию Р.И. Аванесова. – М.,1972. – С. 257–260.

Фасмер Макс // Крат. лит. энцикл. – 1972. – Т. 7. – Стб. 902–903. – Библиогр.: 5 назв.

Несколько древних латинско-славянских параллелей // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12–14 декабря 1975 г.). Предварительные материалы. – М., 1972. – С. 82–84.

Рец.: *Георгиев В.* и др. Български етимологичен речник. София, 1968. Св. 6. С. 401–480; 1969. Св. 7. С. 481 – 560 // Этимология. 1970. – М., 1972. – С. 370–371.

Рец.: *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1968. Lfg. 4. S. 219–298; 1970. Lfg. 5. S. 299–378 // Там же. – С. 373–374.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1968. T. 3, zesz. 3. S. 225–336; 1969. T. 3, zesz. 4/5. S. 337–502. // Там же. – С. 372–373.

Ред.: Этимология. 1970 / Отв. ред. – М.: Наука, 1972. – 402 с.

1973

Ранние славянские этнонимы. 1. Славяне и Карпаты // Симпозиум по проблемам карпатского языкознания (24–26 апреля 1973 г.). Тезисы докладов и сообщений. – М.: Наука, 1973. – С. 56–58.

Лексикография и этимология // Славянское языкознание: VII Междунар. съезд славистов, Варшава, авг. 1973: Докл. сов. делегации. – М.: Наука, 1973. – С. 294–313.

Славянские и балтийские этимологии // Балтийские языки и их взаимосвязи со славянскими, финно-угорскими и германскими языками. Тезисы докладов. – Рига: Зинатне, 1973. – С. 18.

Заметки по этимологии некоторых нарицательных и собственных имен // Этимология. 1971. – М.,1973. – С. 80–86.

Рец.: A magyar nyelv történeti – etimológiai szótára. Budapest, 1970. K. 2. L. 1107 // Там же. – С. 383–385.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1970. T 4, zesz. 1. S. 1–112 // Там же. – С. 372–373.

Пер.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1973. – Т. 4. – 855 с. (С доп.).

Ред.: Славянское языкознание: VII Междунар. съезд славистов, Варшава, авг. 1973 г.: Докл. сов. делегации / Чл. редкол.– М.: Наука, 1973. – 520 с.

Ред.: Этимология. 1971 / Отв. ред. – М.: Наука, 1973. – 408 с.

1974

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука. 1974. – Вып. 1. – Авторская работа. – 214 с. – Сбор материала совместно с др.

Наблюдения по этимологии лексических локализмов: (Слав. этимологии 48–52) // Этимология. 1972. – М., 1974. – С. 20–41.

Этимология и текст // Современные проблемы литературоведения и языкознания. – М., 1974. – С. 448–454.

Еще раз мыслию по древу // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: К 80-летию С.Г. Бархударова. – М., 1974. – С. 22–27.

Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян // ВЯ. – М., 1974. – № 6. – С. 48–67.

Рец.: *Георгиев В.* и *др.* Български етимологичен речник. София, 1971. Св. 8. С. 561–679. XCV // Этимология. 1972. – М., 1974. – С. 179–181.

Рец.: *Polański K.* Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich. Wrocław, etc. 1971. (esz. 2. S. 143–346 // Там же. – С. 178–179.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1971. T. 4, zesz. 2. S. 113–216 // Там же. – С. 177–178.

Ред.: Этимология. 1972 / Отв. ред. – М.: Наука, 1974. – 193 с.

1975

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1975. – Вып. 2. – Авторская работа. – 238 с. – Библиогр.: с. 3–5. – Сбор материала совм. с др.

Несколько древних латинско-славянских параллелей // Этимология. 1973. – М., 1975. – С. 3–16.

К вопросу о языке индоевропейского населения Приазовья // Античная балканистика, 2: Предварит. материалы. – М., 1975. – С. 38–47.

Историческая и этимологическая лексикография. Праславянская лексика на б-начальное // Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии: Тез. конф., Москва, окт. 1975 г. – Посвящается 50-летию Картотеки ДРС. – М., 1975. – Вып. 3. – С. 13–19.

Заметки по балто-славянской этимологии: рус. стар., диал. *овыдь* ~лит. *javidė* // Всесоюзная конференция по балтийскому языкознанию, 3-я, Вильнюс, 25–27 сент. 1975 г.: Тез. докл. – Вильнюс, 1975. – С. 150–155.

[Diskussionsbeitrag zum Referat von H. Schuster-Šewc I. // Slawische Wortstudien: Samml. Bd. intern. Sympos. für etymol. hist. Erforsch. slaw. Wortschatzes, Leipzig, 11–13. 10. 1972. – Bautzen, 1975. – S. 25–27.

Словообразование, семантика, этимология в новом "Этимологическом словаре славянских языков". 1–3 // Ibid. – S. 27–34.

Этимология // Крат. лит. энцикл. – 1975. – Т. 8. – Стб. 984–986. – Библиогр.: 6 назв.

К изучению советской палеословенистики // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1975. – Т. 34, № 5. – С. 463–464.

Aus dem Material für ein etymologisches Wörterbuch der Familiennamen des russischen Sprachgebietes // Sowjetische Namenforschung. – Berlin, 1975. – S 167–195.

Рец.: *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Л., 1973. Т. 2. 448 с. // ВЯ. – 1975. – № 1. – С. 131–135.

Рец.: *Połanski K.* Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich. Wrocław, etc. 1973, zesz. 3. S. 349–504. // Этимология. 1973. – М., 1975. – С. 179–180.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1972. Т. 4, zesz. 3. S. 217–320 // Там же. – С. 178–179.

Рец.: *Unbegaun B.O.* Russian surnames. Oxford, 1972. XVIII + 529 p. // Там же. – С. 191–193.

Ред.: *Булаховський Л.А.* Вибрані праці: В 5-ти т. / Чл. редкол. Т. 1: Загальне мовознавство. – Київ: Наук. думка, 1975. – 495 с.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. С.Г. Бархударов, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1975. – Вып. 1 – 2. Вып. 1. 371 с.; Вып. 2. 319 с.

Ред.: Этимология. 1973 / Отв. ред. – М.: Наука, 1975. – 207 с.

1976

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1976. – Вып. 3. – Авторская работа. – 199 с. – Сбор материала совм. с др.

Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976. – С. 147–179. – Библиогр.: С. 178–179.

[Выступление при открытии Конференции по проблемам славянской исторической лексикологии и лексикографии, 3–6 нояб. 1975 г.: Крат. излож.] // ВЯ. – 1976. – № 3. – С. 147.

О синдах и их языке // ВЯ. – 1976. – № 4. – С. 39–63: карт.

Академик Г.В. Церетели // Вост. филология. – 1976. – № 4. – С. 20–21.

Вместо предисловия // Ономастика: Указ. лит., изд. в СССР с 1963 по 1970 год / Сост. Б.А. Малинская, Р.Р. Мдивани и М.Ц. Шабат. – М., 1976. – С. 4–6.

Рец.: Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sv. 1. Předložky. Koncové partikule. Praha, 1973. 344 s. // Этимология. 1974. – М., 1976. – С. 175–177.

Рец.: *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1973. Lfg. 6. S. 379–492. // Там же. – С. 178–179.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1973. T. 4, zesz. 4. S. 321–400 // Там же. – С. 182–183.

Рец.: *Stang Chr.S.* Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen. Oslo, etc. 1972. 96 S. // Там же. – С. 179–181.

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл. ред. С.Г. Бархударов, ред. Г.А. Богатова. / Чл. редкол. – М.: Наука, 1976. – Вып. 3. – 288 с.

Ред.: *Смолицкая Г.П.* Гидронимия бассейна Оки: (Список рек и озер) / Отв. ред. – М.: Наука, 1976. – 403 с.

Ред.: Этимология. 1974 / Отв. ред. – М.: Наука, 1976. – 190 с.

1977

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1977. – Вып. 4. – 235 с. – Совм. с др.

Славянские и балтийские этимологии // Этимология. 1975. – М., 1977. – С. 3–12.

Temarundam 'Matrem maris': К вопр. о яз. индоевр. населения Приазовья // Славянское и балканское языкознание. – М., 1977. – Вып. 3: Античная балканистика и сравнительная грамматика. – С. 87–95.

Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // ВЯ. – 1977. – № 6. – С. 13–29: карт.

Лексикография и этимология // Введение в языкознание. Хрестоматия / Сост. Б.Ю. Норман, Н.А. Павленко / Под ред. проф. А.Е. Супруна. – Минск, 1977. – С. 198–204.

Sprachgeographie und etymologische Forschungen // Etymologie. Hrsg. von R. Schmitt. – Darmstadt, 1977. – S. 247–285 (перевод статьи: Лингвистическая география и этимологические исследования) // ВЯ. – 1959. – № 1. – С. 16–33.

Nichtskythisches im Skythien Herodots // Indogerm. Forsch. – 1977. – Bd. 82. – S. 130–135.

Рец.: *Георгиев В.И. и др.* Български етимологичен речник. София, 1974. Т. 2. Св. 9/10. 160 с. // Этимология. 1975. – М., 1977. – С. 172–173.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1974. T. 4, zesz. 5 // Там же. – С. 171–172.

Рец.: Słownik prasłowiański. Wrocław, etc. 1974. T. 1 // Там же. – С. 169–171.

Ред.: *Булаховський Л.А.* Вибрані праці: В 5-ти т. Т. 2: Українська мова / Чл. редкол. – Київ: Наук. думка, 1977. – 631 с.

Від редакційно колегії – Там же. – С. 5–7.

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл.ред. С.Г. Бархударов, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1977. – Вып. 4. – 403 с.

Ред.: Этимология. 1975 / Отв. ред. – М.: Наука, 1977. – 192 с.

1978

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1978. – Вып. 5. – Авторская работа – 232 с. – Сбор материала совм. с др.

Лингвистическая периферия древнейшего славянства: Индоарийцы в Северном Причерноморье // Славянское языкознание: VIII Междунар. съезд славистов, Загреб – Любляна, сент. 1978 г. – М., 1978. – С. 386–405, 1 л. карт.

Этимологический словарь славянских языков и Праславянский словарь: (Опыт парал. чтения) // Этимология. 1976. – М., 1978. – С. 3–17.

Серебро // Восточнославянское и общее языкознание. – М., 1978. – С. 95–102.

Rasparaganus rex Roxolanorum // Симпозиум "Античная балканистика 3": Яз. данные и этнокульт. контекст Средиземноморья, 3–5 апр. 1978 г. – М., 1978. – С. 50–52.

Из балто-славянских этимологий // Конференция "Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом", 11–15 дек. 1978 г.: Предварит. материалы. – М., 1978. – С. 140–142.

Этимология // БСЭ. – 3-е изд. – 1978. – Т. 30. – С. 296. – Библиогр.: 4 назв.

Федот Петрович Филин: (К 70-летию со дня рождения) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1978. – Т. 37, вып. 1. – С. 81–84: портр.

Этимологические исследования восточнославянских языков: Словари // ВЯ. – 1978. – № 3. – С. 16–25.

Из работы над русским Фасмером: К вопр. теории и практики перевода // ВЯ. – 1978. – № 6. – С. 15–24.

Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате Северного Кавказа в античное время // Вестн. древ. истории. – 1978. – № 4. – С. 34–42.

Рец.: *Заимов Йордан.* Български географски имена *-jь* [София, 1973] // Балканско Езикознание Linguistique Balkanique XXI (1978) 2. – София, 1978. – С. 57–60.

Рец.: Az etimólygia elmelete és módszere. Az 1974, aug. 22. és 24 között rendezett nemzetközi konferencia elöadásai. (Nyelvtud. értekezések 89: Sz. 2.). Budapest, 1976. L. 316 // Этимология. 1976. – М., 1978. – С. 176–177.

Рец.: *Boryś W.* Prefiksacja imienna w językach słowiańskich. (Monogr. slaw.: 32). Wrocław, etc., 1975. 180 s. // Там же. – С. 167–169.

Рец.: *Šaur V.* Etymologie slovanských příbuzenských termínů. Praha, 1975. 93 s. // Там же. – С. 166–167.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1975. T. 5., zesz. 1. 88 s. // Там же. – С. 164–166.

Рец.: Słownik prasłowiański. Wrocław, etc. 1976. T. 2. 367 s. // Там же. – С. 163–164.

Ред.: *Булаховский Л.А.* Избранные труды: В 5-ти т. – Киев: Наук. думка, 1978. – Т. 3.: Славистика. Русский язык / Отв. ред. – 601 с.

От редакционной коллегии // Там же. – С. 5–7. – Совм. с др.

Ред.: Восточнославянское и общее языкознание / Отв. ред. – М.: Наука, 1978. – 288 с.

Ред.: Славянское языкознание: VIII Междунар. съезд славистов, Загреб – Любляна, сент. 1978 г.: Докл. сов. делегации / Чл. редкол. – М.: Наука, 1978. – 469 с.

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл.ред. С.Г. Бархударов, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1978. – Вып. 5. – 392 с.

Ред.: Этимология. 1976 / Отв. ред. – М.: Наука, 1978. – 184 с.

1979

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1979. – Вып. 6. – Авторская работа. – 222 с. – Сбор материала совм. с др.

Таврские и синдомеотские этимологии // Этимология. 1977. – М., 1979. – С. 127–144.

Ein Fall der Typologie: Das Problem der 'Alten Arier' und die arische Trennung // Current issues in linguistic theory. – Amsterdam, 1979. – Vol. 11: Festschrift for O. Szemerényi on the occasion of his 65-th birthday / Ed. by B. Brogyanyi. – S. 903–908. – Bibliogr.: 9 ref. – (Amsterdam stud. in the theory and hist. of ling. sci.; 4).

Этимологический словарь // Русский язык: Энцикл. – М., 1979. – С. 405–407: ил.

Этимология // Там же. – С. 407–408. – Библиогр.: 4 назв.

"Старая Скифия" (Αρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) и славяне: Лингв. аспект // ВЯ. – 1979. – № 4. – С. 29–45.

[Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье: Докл. на VIII Междунар. съезде славистов: Крат. излож.] // Там же. – С. 158.

Zur Vorbereitung des Etymologischen Wörterbuches der slawischen Sprachen // Z. Slaw. – 1979. – Bd. 24. – H. 1. – S. 143–149.

География праславянских слов и праславянские диалекты // Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка: Тез. докл. и сообщ. – М., 1979. – С. 56–57.

Историческая и этимологическая лексикография (резюме) // Съпоставително изучаване на частните лексикални системи на славянските езици в синхрония и диахрония. – София, 1979. – С. 205.

Рец.: *Malkiel Y.* Etymological dictionaries. A tentative typology. Chicago, London, 1976. 144 p. // Этимология. 1977. – М., 1979. – С. 172–174.

Рец.: *Polański K.* Słownik jetymologiczny języka Drzewian połabskich. Wrocław, 1976. Zesz. 4. // Там же. – С. 165–166.

Рец.: *Sławski F.* Słownik jetymologiczny języka polskiego. Kraków, 1976. T. 5, zesz. 2. // Там же. – С. 164–165.

Русь, Россия: (Вопр. топонимики) // Сов. Россия. – 1979. – 2 сент. – (Гипотезы, предположения).

Ред.: *Непокупний А.П.* Балтійські родичі слов'ян // Отв. ред. – Київ: Наук. думка, 1979. – 183 с. – (Наук.-популяр. літ).

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл. ред. С.Г. Бархударов, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1979. – Вып. 6. – 359 с.

Ред.: Этимология. 1977 / Отв. ред. – М.: Наука, 1979. – 192 с.

1980

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1980. – Вып. 7. – Авторская работа. – 224 с. – Сбор материала совм. с др.

Работы В.И. Абаева в области исторической лексикологии и этимологии // Поэтика жанра: Межвуз. сб. ст.: К 80-летию В.И. Абаева. – Орджоникидзе, 1980. – С. 43–49. – На обл. г.: 1982.

От редактора (Слово о В.И. Абаеве) // *Исаев М.И.* Васо Абаев. – Орджоникидзе, 1980. – С. 5–8.

Из балто-славянских этимологий // Этимология. 1978. – М., 1980. – С. 3–18.

Indoarica в Скифии и Дакии // Античная балканистика: Этногенез народов Балкан и Сев. Причерноморья: Лингвистика, история, археология: Предварит. материалы: Тез. докл., 2–4 дек. 1980 г. – М., 1980. – С. 59–63.

Две литовских этимологии на индоевропейском фоне: 1. *Sáugoti, saugùs*; 2. *ūmas, ūmà* // Baltistica. – Vilnius, 1980. – T. XVI (2). – С. 117–119.

Этимология славянских языков // Вестн. АН СССР. – 1980. – № 12. – С. 80–85.

Реконструкция слов и их значений // ВЯ. – 1980. – № 3. – С. 3–14.

[Проблемы скифологии] // Народы Азии и Африки. – 1980. – № 5. – С. 117–118. – (Дискус. пробл. отечеств. скифологии: Круглый стол).

Об одном случае глагольного супплетивизма: праслав.*- *neti* "нести, приносить" // В чест на академик Владимир Георгиев. Езиковедски проучвания. – София, 1980. – С. 273–274.

Рец.: *Георгиев В.И.* и *др.* Български етимологичен речник. София, 1976. Св. 11/ 12. С. 161–288; София, 1977. Св. 13/14. С. 289–448 // Этимология. 1978. – М., 1980. – С. 183–184.

Рец.: *Нерознак В.П.* Палеобалканские языки. М., 1978. 231 с. // ВЯ. – 1980. – № 1. – С. 140–145.

Рец.: Словник гідронімів України. Київ, 1979. – 781 с. // ВЯ. – 1980. – № 6. – С. 132–136.

Рец.: *Schuster-Šewc H.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen, 1978. [Bd.] 1. XXXI + 48S. // Этимология. 1978. – М., 1980. – С. 184–185.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1977. T. 5, zesz. 3. S. 169–248 // Там же. – С. 182–183.

Ред.: *Булаховський Л.А.* Вибрані праці: В 5-ти т. Т. 4: Слов'янська акцентологія / Чл. редкол. – Київ: Наук. думка, 1980. – 575 с.

От редакционной коллегии // Там же. – С. 5–7. – Совм. с др.

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл.ред. С.Г. Бархударов, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1980. – Вып. 7. – 403 с.

Ред.: Этимология. 1978 / Отв. ред. – М.: Наука, 1980. – 208 с.

1981

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд. / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1981. – Вып. 8. – Авторская работа. – 252 с. – Сбор материала совм. с др.

Indoarica в Северном Причерноморье // Этимология. 1979. – М., 1981. – С. 111–130.

Этимологические исследования и лексическая семантика // *Березин Ф.М.* История советского языкознания: Некот. аспекты общ. теории языка. Хрестоматия [Учеб. пособие для студ. филол. спец. ун-тов]. – М., 1981. – С. 222–230.

Реплика по балто-славянскому вопросу // Балто-славянские исследования. 1980. – М., 1981. – С. 3–6.

Indoarica в Северном Причерноморье: Источники. Интерпретация. Реконструкция // ВЯ. – 1981. – № 2. – С. 3–21. – Библиогр.: 65 назв.

Этимология и история культуры // Наука и жизнь. – 1981. – № 5. – С. 45–46.

Etyma baltico-slavica controversa: *kúokštas-kustъ* // Acta Balt.-Slav. – 1981. – T. 14. – S. 273–276.

Indo-Arica dans la Scythie // Ponto-baltica. – 1981. – № 1. – P. 125–130. – Bibliogr.: 25 ref.

Die urslawische Lexik und die Dialekte des Urslawischen // Z. Phonetik. – 1981. – Bd. 34, H. 4. – S. 468–478.

Рец.: *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Л., 1979. Т. 3. 358 с. // Этимология. 1979. – М., 1981. – С. 177–179.

Рец.: *Георгиев В.И.* и *др.* Български етимологичен речник. Св. 15/16. София, 1978. С. 449–576; *Георгиев В.И.* и *др.* Български етимологичен речник. Св. 17/18. София, 1979. С. 577–736 // Там же. – С. 176–177.

Рец.: *Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978. L. 726. // Там же. – С. 189–190.

Рец.: *Szemerényi O.* Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages with special reference to Indian, Iranian, Greek and Latin. (Acta iran. 1977. Vol. 5, 7). Téhéran, 1977 // Там же. – С. 185–189.

Ред.: Балто-славянские исследования. 1980 / Чл. редкол. – М.: Наука, 1981. – 319 с.

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл.ред. Ф.П. Филин, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1981. – Вып. 8. – 351 с.

Ред.: Этимология. 1979 / Отв. ред. – М.: Наука, 1981. – 200 с.

1982

Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на **-ěninъ*, **-janinъ* // Этимология. 1980. – М., 1982.– С. 3–15.

Федот Петрович Филин (1908–1982): [Некролог] // ВЯ. – 1982. – № 4. – С. 3–9, 1 л. портр. – Соавт.: Иванов В.В.

Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Там же. – С. 10–26: карт. – Библиогр.: 95 назв.; № 5. – С. 3–17. –Библиогр.: 186 назв.

Przyczynek do historii pewnego sememu: oblegčit' → 'uladit', ustroit' delo' (pol. *załatwić*, starorus. *oblegčit'sja*) // Zesz. nauk. wydz. hum. Uniw. Gdańsk.: Filol. ros. – 1982. – № 11. – S. 58–61. – Res.: ros., angiel.

Ze studiów nad słowotwórstwem prasłowiańskim: geneza modelu *- *ěninъ*, *- *janinъ* // Onomastica. – 1982. – Vol. 27. – S. 23–37.

Заметки по славянской ономастике // Onomastica Jugoslav. – 1982. – Vol. 9. – S. 159–165.

Рец.: Słownik prasłowiański. Wrocław etc. 1979. T. 3. 332 s. // Этимология. 1980. – М., 1982. – С. 168–170.

Рец.: *Udolph J.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. (Beitr. zur Namenforsch. N.F. Beih.; 17). Heidelberg, 1979. 640 S. // Там же. – С. 170–177.

Пер.: *Рудницкий Я.Б.* Рец. на кн.: *Georgakas D.J.* Ichtyological terms for the sturgeon and etymology of the international terms Botargo, Caviar and congerens. Пер. с англ. Athens, 1987. Т. 43. // Там же. – С. 177–179.

Ред.: Балто-славянские исследования. 1981 / Чл. редкол. – М.: Наука, 1982. – 344 с.

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл.ред. Д.Н. Шмелев, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1982. – Вып. 9. – 357 с.

Ред.: Этимология. 1980 / Отв. ред. М.: Наука, 1982. – 200 с.

1983

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1983. – Вып. 9. – 197 с. – Совм. с др.

То же. – Вып. 10. – 198 с. – Совм. с др.

Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Славянское языкознание: IX Междунар. съезд славистов, Киев, сент. 1983 г.: Докл. сов. делегации. – М., 1983. – С. 231–270: карт.

Indoarica: Этимологии // Этимология. 1981. – М., 1983. – С. 101–108.

Rasparaganus rex Roxolanorum // Славянское и балканское языкознание: Пробл. яз. контактов. – М., 1983. – С. 36–37.

Illyrica // Там же. С. 49–53.

The study of the language and the ethnogenesis of the Slavs // IX Международный съезд славистов, Киев, сент. 1983 г.: Рез. докл. и письм. сообщ. – М., 1983. – С. 38–39.

Рец.: *Георгиев В.И.* Български етимологичен речник. София, 1980. Т. 3. Св. 19/20 // Этимология. 1981. – М., 1983. – С. 159–160.

Рец.: *Mayrhofer M.* Iranisches Personennamenbuch. Bd. 1: Die altiranischen Namen. Wien, 1977, 1979. Fasz. 1–3 // Там же. – С. 170–172.

Рец.: *Pfister* M. Einführung in die romanische Etymologie. Darmstadt, 1980. 228 S. // Там же. – С. 172–174.

Рец.: *Solta G.R.* Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen. Darmstadt, 1980. 261 S. // Там же. – С. 168–170.

[Этногенез славян: IX Международный съезд славистов, Киев, сент. 1983 г. // Лит. газ. – 1983. – 19 окт.

Ред.: Балто-славянские исследования. 1982 / Чл. редкол. – М.: Наука, 1983. – 287 с.

Ред.: *Булаховський Л.А.* Вибрані праці: В 5-ти т. Т. 5: Слов'янська акцентологія / Чл. редкол. – Київ: Наук. думка, 1983. – 615 с.

Ред.: Славянское языкознание: IX Междунар. съезд славистов, Киев, сент. 1983 г.: Докл. сов. делегации / Чл. редкол. – М.: Наука, 1983. – 324 с.

Ред.: Словарь русского языка XI– XVII вв. / Гл. ред. Д.Н. Шмелев, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1983. – Вып. 10. – 327 с.

Ред.: Этимология. 1981 / Отв. ред. – М.: Наука, 1983. – 192 с.

1984

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1984. – Вып. 11. – 220 с. – Совм. с др.

Историческая и этимологическая лексикография // Теория и практика русской исторической лексикографии. – М., 1984. – С. 23–36.

Книга в моей жизни // Альманах библиофила. – М., 1984. – Вып. 16. – С. 11–24.

Приемы семантической реконструкции // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии, Москва, 21–26 мая 1984 г.: Тез. докл. – М., 1984. – С. 47–51.

Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // III Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам языкознания "Типы языковых общностей и методы их изучения": Тезисы. – М., 1984. – С. 147–149.

Фасмер (Vasmer) Макс // Укр. сов. эцикл. – Киев, 1984.– Т. 11, кн. 1. – С. 458.

Фасмер (Vasmer) Макс // Укр. рад. енцикл. – 2-е вид. – Київ, 1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 535.

Языкознание и этногенез славян (Продолжение) // ВЯ. – 1984. – № 2. – С. 15 – 30. – Библиогр.: 59 назв.; № 3. – С. 18–29: рис. – Библиогр.: 114 назв.

Свидетельствует лингвистика: [О создании в СССР "Этимологического словаря славянских языков"] // Правда. – 1984. – 13 дек.

Indoarica в Скифии и Дакии // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. – М., 1984. – С. 148–152.

Лексикография и этимология // Введение в языкознание. Хрестоматия / Сост. Б.Ю. Норман, Н.А. Павленко / Под ред. А.Е. Супруна. – Изд. 2-е. – Минск: Высшая школа, 1984. – С. 207–212.

Ред.: Балто-славянские исследования. 1983 / Чл. редкол. – М.: Наука, 1984. – 200 с.

Ред.: *Варбот Ж.Ж.* Праславянская морфонология, словообразование и этимология / Отв. ред. – М.: Наука, 1984. – 255 с.

Ред.: Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии, Москва, 21–26 мая 1984 г.: Тез. докл. / Отв. ред. – М.: Наука, 1984. – 160 с.

1985

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1985. – Вып. 12. – Авторская работа. – 186 с. – Сбор материала совм. с др.

Indoarica в Северном Причерноморье. Этимологии // Этимология. 1982. – М., 1985. – С. 140–148. – Библиогр.: 28 назв.

Праславянская лексикография: Памяти Ф. П. Филина // Этимология. 1983. – М., 1985. – С. 3–19. – Библиогр.: 27 назв.

О семантической теории в этимологическом словаре. Проблема омонимов подлинных и ложных и семантическая типология // Теория и практика этимологических исследований. – М., 1985. – С. 6–15.

Языкознание и этногенез славян // Тезисы докладов советской делегации на V Международном конгрессе славянской археологии (Киев, сент. 1985). – М., 1985. – С. 46–48.

Kobyla – caballus – ΚΑΒΑΛΛΗΣ // Zbornik u čast Petru Skoku o stotoj obljetnici rodenja (1881–1956). – Zagreb, 1985. – Knj. 59. – С. 505–509. – Рез.: серб.-хорв.

Языкознание и этногенез славян: 5. Самоназвание и самосознание // ВЯ. – 1985. – № 4. – С. 3–17. – Библиогр.: 41 назв.

То же: 6 // ВЯ. – 1985. – № 5. – С. 3–14. – Библиогр.: 72 назв.

Linguistics and ethnogenesis of the Slavs: The ancient Slavs as evidenced by etymology and onomastics // The Journal of Indo-European Studies. – 1985. – Vol. 13. – № 1–2. – P. 203–256.

Рец.: *Malingoudis Ph.* Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenland. 1. Slavische Flußnamen aus der messenischen Mani. Wiesbaden, 1981. (Akad. Wiss. Lit. Mainz. Abh. der Geistes- und sozialwiss. Kl. Jg. 1981; № 3) // Этимология. 1982. – М., 1985. – С. 176–179.

Рец.: *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1979. T. 5, zesz. 4 // Там же. – С. 165.

Ред: Этимология. 1982 / Отв. ред. – М.: Наука, 1985. – 196 с.

Ред.: Этимология. 1983 / Отв. ред. – М.: Наука, 1985. – 232 с.

1986

Славяне, язык и история // Писатель и время: Сб. док. прозы. – М., 1986. – С. 315–324.

Праславянская лексикография // Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970–1980 гг.): Итоги и перспективы. Сб. обзоров. – М.: ИНИОН АН СССР, 1986. – С. 10–17. – Библиогр.: 13 назв.

[Выступления в прениях] // IX Международный съезд славистов, Киев, сент. 1983 г.: Материалы дискуссии: Языкознание. – Киев, 1986. – С. 22, 47–48.

Aus slavischen Etymologien: **kresati*, **krasa*, **krěsъ* // Festschrift für Herbert Bräuer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986. – Köln, Wien, 1986. – S. 641–645.

Мовознавство і етногенез слов'ян // Наука і культура. – 1986. – Вип. 20. – С. 274–275: портр.

Gedanken zur russischen Ausgabe von Vasmers Russischem Etymologischem Wörterbuch // Z. slav. Philol. – 1986. – Bd. 46. – S. 372–383.

Послесловие ко второму изданию "Этимологического словаря русского языка" М. Фасмера // *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1986. Т. 1. – С. 563–573.

Пер. и доп.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 1. – 573 с. (С доп.).

Пер. и доп.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 2. – 671 с. (С доп.).

Ред.: Балто-славянские исследования. 1984 / Чл. редкол. – М.: Наука, 1986. – 271 с.

Ред.: Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970 – 1980 гг.): Итоги и перспективы. Сб. обзоров / Чл. редкол. – М.: ИНИОН АН СССР, 1986. – 263 с.

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл.ред. Д.Н. Шмелев, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1986. – Вып. 11. – 456 с.

Ред.: Этимология. 1984 / Отв. ред. – М.: Наука, 1986. – 254 с.

От редактора // Там же. – С. 3–6.

1987

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1987. – Вып. 13. – Авторская работа. – 285 с. – Сбор материала совм. с др.

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1987. – Вып. 14. – 268 с. – Авторский текст: * *labati – latьno*, 3–53. – Совм. с др.

Несколько лингвистических глосс к моравско-паннонским житиям // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. – М., 1987. – С. 30 – 36.

Языкознание и история // Л.А. Булаховский и современное языкознание: К 100-летию со дня рождения. – Киев, 1987. – С. 119 – 125.

Indoarica в Северном Причерноморье: **kank-uta-* 'a gruibus fugatos / pulsos' // Античная балканистика. – М., 1987. С. 119–124.

К истории одной семемы XVII в.: *облегчить* – 'уладить, устроить дело': пол. *załatwić*, др.-рус. *облегчитися* // История русского языка и лингвистическое источниковедение. – М., 1987. – С. 233–236.

"Tajke nešto bjez kazanja sčinich" // Předźenak sobotna přiłoha "Noweje doby". – 11. 4. 1987. – S. 2.

Дополнения и исправления к томам II, III, IV издания 2-го // *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М., 1987. – Т. 3. – С. 828–831.

Дополнения и исправления к томам III, IV издания 2-го // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М., 1987. – Т. 4. – С. 853–861.

Из праславянской этимологии и лексико-семантической реконструкции: **krosno* // Sławistyczne studia Językoznawcze. – Warszawa, 1987. – S. 427–430.

[Выступление на годичном Общем собрании Отделения литературы и языка АН СССР, 9 марта 1987 г.] // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1987. – Т. 46. – № 4. – С. 297–299.

Русь, Россия // Рус. речь. – 1987. – № 3. – С. 131–134: рис.

Праславянская ономастика в Этимологическом словаре славянских языков. Вып. 1–13 / Науч. скупови / Срп. акад. наука и уметности. – 1987. – Књ. 37. Одељење јез. и књ. – Књ. 7. – С. 9–17, 90–91, 92, 337–338 (с дискус.). Рез.: серб.-хорв.

Germanisch-slawische Analogien **ruda* und **želézo* // Letopis In-ta serb. ludospyt. Rjad A. – 1987. – С. 34. – S. 38–44.

В защиту имени и авторства Михаила Булгакова // Советская Россия.– сент. 1987. – № 206. – С. 2. – В соавт. с Ю. Бондаревым и И. Бэлзой.

Die Sprachwissenschaft und die Ethnogenese der Slawen // Z. Slaw. – 1987. – Bd. 32 – № 6. – S. 911–919.

Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI – XVII вв. – М., 1987. – С. 17–28. Библиогр.: 10 назв.

Пер. и доп.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1987. – Т. 3. – 831 с.

Пер. и доп. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1987. – Т. 4. – 863 с.

Меняющийся мир и вечные слова // Лит. газ. – 1987. – 4 марта. – С. 6. – [Диалог, посвящ. слов.]. – Соавт.: Осетров Е.

Славяне: Язык и история: Возвращаясь к теме // Правда. – 1987. – 28 марта.

Реконструкция слов и их значений // Общее языкознание. Хрестоматия / Сост. Б.И. Косовский, Н.А. Павленко / Под ред. А.Е. Супруна. – Изд. 2-е. – Минск: Высшая школа, 1987.– С. 207–218.

Ред.: Балто-славянские исследования. 1985 / Чл. редкол. – М.: Наука, 1987. – 246 с.

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл.ред. Д.Н. Шмелев, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1987. – Вып. 12. – 384 с.; Вып. 13. – 319 с.

1988

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1988. – Вып. 15. – 263 с. – Авторский текст: **lice* – **linьkъ*,* *lisa* –* *l'ubъjь*. С. 75–114, 136–181. – Совм. с др.

Славянская этимология и праславянская культура // Славянское языкознание: X Междунар. съезд славистов, София, сент. 1988 г.: Резюме на докладите. – М., 1988. – С. 74.

Славянская этимология и праславянская культура // Славянское языкознание: X Междунар. съезд славистов, София, сент. 1988 г.: Докл. сов. делегации. – М., 1988. – С. 292–347. – Библиогр.: 88 назв.

Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Теория лингв. реконструкции. – М., 1988. – С. 197–222.

Праславянская ономастика в Этимологическом словаре славянских языков. Вып. 1 – 13 // Этимология. 1985. – М., 1988. – С. 3–10.

Языкознание и этногенез славян: (Дальнейшее продолж.) // Труды V Международного конгресса археологов-славистов, Киев, 18–25 сент. 1985 г. Секция 1. Древние славяне. – Киев, 1988. – Т. 4. – С. 216–223. – Библиогр.: 21 назв.

[О проблеме соотношения древнерусского и церковнославянского языков: Докл. в День слав. письменности и культуры, Новгород, 24–28 мая 1988 г.: Крат. излож.] // Сов. славяноведение. – 1988. – № 6. – С. 119–120. – ("Вначале было слово").

Славяне: язык и история // Дружба народов. – 1988. – № 5. – С. 243–249.

О языковом союзе и еще кое о чем // Дружба народов. – 1988. – № 9. – С. 261–264.

Ред.: Балто-славянские исследования. 1986 / Чл. редкол. – М.: Наука, 1988. – С. 267.

Ред.: Проблемы славянского языкознания в СССР: 1983–1987 гг.: К X Междунар. съезду славистов, София, сент. 1988 г. Сб. обзоров / Чл. редкол. – М.: ИНИОН АН СССР, 1988. – 253 с. – (Сер.: Теория и история языкознания).

Ред.: Славянское языкознание: X Междунар. съезд славистов, София, сент. 1988 г.: Докл. сов. делегации / Чл. редкол. – М.: Наука, 1988. – 391 с.

Ред.: Словарь русского языка XI – XVII вв. / Гл.ред. Д.Н. Шмелев, ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1988. – Вып. 14. – 311 с.

Ред.: Этимология. 1985 / Отв. ред. – М.: Наука, 1988. – 196 с.

1989

[О языковой ситуации в стране и путях совершенствования национально-языковых отношений: Ответы на вопросы] // Национально-языковые отношения в СССР: состояние и перспективы. – М., 1989. – С. 23–30.

Germanica и Pseudogermanica в древней ономастике Северного Причерноморья: Этимол. коммент. // Этимология. 1986–1987. – М., 1989. – С. 50–55.

Несколько слов о наших национально-языковых проблемах // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1989. – Т. 48, № 5. – С. 395–400. – Библиогр.: 25 назв.

О работе секции языкознания X Международного съезда славистов // ВЯ. – 1989. – № 3. – С. 118–128.

"Славистические конгрессы объединяют науку и людей": [Беседа] // Обществ. науки. – 1989. – № 2. – С. 225–229.

Русская культура и Русская энциклопедия // Наука и религия. – 1989. – № 10. – С. 32–34.

Непрерывность: (Мысли о единстве древней и новой культуры) // Культ.-просвет. работа. – 1989. – № 8. – С. 6–8: портр.

Предисловие // *Черепанов Л.* С. Леснина. – М., 1989. – С. 3–6.

Тысячелетняя жизнь народа: Начал работу Общественный совет по подготовке "Русской энциклопедии" // Сов. Россия. – 1989. – 4 янв.

Русская энциклопедия: [Беседа] // Лит. газ. – 1989. – 22 марта. – С. 5.

В круге втором: Нерадостные размышления о подготовке "Русской энциклопедии" // Сов. Россия. – 1989. – 4 авг.

Ред.: Балто-славянские исследования. 1987 / Чл. редкол. – М.: Наука, 1989. – 253 с.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1989. – Вып. 15. – 285 с.; Вып. 16. – 294 с.

Ред.: Что с нами происходит?: Зап. современников / Чл. обществ. редкол. – М.: Современник, 1989. – Вып. I. – 372 с.

Ред.: Этимология. 1986 – 1987 / Отв. ред. – М.: Наука, 1989. – 255 с.

Рец.: *Сафронов В.А.* Индоевропейские прародины. – Горький.1989. – 400 с. // *Сафронов В.А.* Индоевропейские прародины. Горький. 1989. – С. 394–397.

1990

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1990. – Вып. 16. – 264 с. – Авторский текст: **loza –* lupьnь.* – С. 118–188. – Совм. с др.

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1990. – Вып. 17. – 269 с. – Совм. с др.

В поисках единства: Мысли по случаю тысячелетия русской культуры // Прометей. – М., 1990. – Т. 16. – С. 6–30: фот.

В поисках единства // Русь многоликая: Думы о национальном. – М., 1990. – С. 10–15: портр.

В поисках единства // Рус. речь. – 1990. – № 1. – С. 105–115. – (Из истории культуры и письменности); № 2. – С. 97–108. – (Из истории культуры и письменности).

В поисках единства: 2. Откуда есть пошел Киев... и другие вопросы // Рус. речь. – 1990. – № 5. – С. 99–109; № 6. – С. 63–64 (продолж.). См. №№ 1, 2, 5. – 1990.

В поисках единства: 3. "А кто там идет?": (Взгляд на этногенез белорусов) // Славяне: адзінства і мнагастайнасць: Міжнар. конф., 24–27 мая 1990: Тез. дакл. і паведам. Секц. 2. Этнагенез славян. – Мінск, 1990. – С. 91–93.

Этногенез и культура древнейших славян // VI Международный конгресс славянской археологии, г. Прилеп, Югославия. 1990 г.: Тез. докл., подготов. сов. исследователями. – М., 1990. – С. 100–104.

В поисках единства // Вначале было слово. – Л., 1990. – С. 173–183.

Где была Великая Русь? // Славянский вестник. – 1990 – Сент.- № 1. – С. 6–7.

Письмо брату: [Открытое письмо по поводу ст.: *Гумилев Л.Н.* Биография научной теории, или Автонекролог (Знамя. 1988. № 4. С. 202–216)] // Моск. строитель. – 1990. – 11–12 дек. – С. 15.

Достойна своего народа: [Беседа] // Нар. образование. – 1990. – № 1. – С. 148–152: портр. – ("Русская энциклопедия" – начало пути).

Русская энциклопедия: Предварит. материалы (1988–1989 гг.): От ред. // Там же. – С. 153–154.

Ученые об ученом // Социалистическая Осетия. – 1990. – Окт. – № 240. – С. 3.

Die Ethnogenese der Slawen und das indogermanische Problem // Ethnologia Slavica. – 1990. – XXII. – S. 171–190.

D'une pluralité primitive à la pluralité postérieure. Le cas de vocabulaire slave // Metódy výskumu a opisi lexiky slovanských jazykov: Materialy zo sympózia konaného v rámci 7 zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24–26 aprila 1989). – Bratislava, 1990. – S. 103–115.

Ред.: Славяне / Чл. редкол. – М.: Наука, 1990.– № 1. – 64 с.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1990. – Вып. 16. – 294 с.

1991

Этногенез и культура древнейших славян: Лингв. исслед. – М.: Наука, 1991. – 271 с.

Славянская этимология и праславянская культура // Историко-культурный аспект лексикологического описания русского языка. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 9–30. – Мы – народ софийный // Слово. – 1991. – № 1. – С. 24–25.

Великая – Малая – Белая: В поисках единства // Домострой. – 1991. – 21 мая.

Смешение языков // Лит. Россия. – 1991. – 11 окт. – С. 4–5: фот.

Русь, Россия // Слово о русском языке: Кн. для чтения для студ.-филологов. Иностранцам о рус. яз. – М., 1991. – С. 217–220: ил.

Этимологическая лексикография и история культуры // Русский язык и современность: Пробл. и перспективы развития русистики: Всесоюз. науч. конф., Москва, 20–23 мая 1991 г.: Докл. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 264–277.

В поисках единства: 3 "А кто там идет?" Взгляд на этногенез белорусов // Рус. речь. – 1991. – № 3. – С. 72–83. – Библиогр.: 15 назв.; № 4. – С. 81–96. – Библиогр.: 38 назв.; № 5. – С. 83–93. – Библиогр.: 18 назв.

Смоленские мотивы // Домострой. – Дек. 1991.– № 49. – С. 8–9.

Русская энциклопедия – начало пути: (Первые проб. материалы) // ЖВХО. – 1991. – Т. 36 – № 4. – С. 501.

Ред.: Славяне / Чл. Обществ. совета. – М., 1991. – № 1. – 64 с.

В поисках единства: Смоленские мотивы // Славянский вестник. – 1991. – № 1. – С. 2.

Рекомендации научной конференции по случаю праздника славянской письменности и культуры (Смоленск, май 1991 г.).

Ответы на вопросы редактора журнала Ю.Н. Караулова [О русском языковом союзе] // Ю.Н. Караулов. О состоянии русского языка современности. Дискуссия. – М., 1991. – С. 57–58.

Slavische Etymologie gestern und heute // Wien. Slav. Jahrbuch. – 1991. – Bd. 37. – S. 198–212.

В поисках единства // Славянский вестник. – Апр. 1991. –№ 5. – С. 1.

1992

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1992. – Вып. 18. – 254 с. – Авторский текст: **mavati – *meslo*. – С. 20–105 – Совм. с др. – (доп. тираж – 1993).

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1992. – Вып. 19. –255 с. – Авторский текст: **męs(')arь – *mlivo*. – С. 6–69. – Совм. с др. – (доп. тираж – 1993).

"Slavische Etymologie – 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklošich (20. 11. 1813–7. 3. 1891)", konaná ve dnech 30. 9. – 1.10. 1991.

У истоков Великороссии // За изобилие. – Нояб. 1992. – № 140. – С. 2.

Вначале было слово // За изобилие. – Дек. 1992. – № 146. – С. 2.

Как утверждал Нестор-летописец // За изобилие. – Дек. 1992. – № 156. – С. 3.

В поисках единства. – М.: Наука, 1992. – 186 с.

Языкознание и этногенез славян. VII // Этимология. 1988–1990. – М., 1992. – С. 3–12 –(доп. тираж – 1993).

Этногенез славян и индоевропейская проблема // Там же. – С. 12–27.

Из смоленских мотивов (*Гнёздово, горуня*) // Slavia. – 1992. – Rocn. 61. – S. 495–502.

К отдаленнейшим истокам нашего самосознания: Презентация одной книги // Литературный Иркутск. – 1992. – Апрель. – С. 12 – 13.

Постигая и разгадывая прошлое // Ветеран. – Май 1992. – № 17 (225) – 18 (226).– С. 6.

В поисках единства. IV. Смоленские мотивы // Рус. речь. – 1992. – № 4. – С. 72–88.

В поисках единства. IV. Смоленские мотивы // Рус. речь. – 1992. – № 5. – С. 63–71.

В поисках единства. IV. Смоленские мотивы // Рус. речь. – 1992. – № 6. – С. 51–61.

Ответ оппоненту // Рус. речь. – 1990. – № 3. – С. 80–83.

Русский языковой союз // Домострой. – Июнь 1992. – № 27 – С. 10.

Ред.: Этимология. 1988–1990 / Отв. ред. – М.: Наука, 1992. – 204 с. (доп. тираж – 1993).

Унаследовано от Кирилла и Мефодия: Осторожнее со славянской душой. – Правда. – № 124 (26878). – 15.9. 1992. – С. 4.

Русская энциклопедия // Домострой. – 1992. – № 43. – С. 12–13.

Дневник сталинградца // Домострой. – №№ 2, 3, 4 – Нояб. 1992. – С. 10.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – Вып. 18. – М.: Наука, 1992. – 288 с.

Объемный портрет отечества // Культурно-просветительная работа. – 1992. – № 10–12. – С. 17–18.

Очарованный странник продолжает свой путь по России // Русский вестник. – 17 июня 1992.

1993

Говорять випускники університету / Укладачі Н.М. Бикова, В.Д. Демченко, Л.Л. Прокопенко. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1993. – С. 92–93.

К истокам Руси (наблюдения лингвиста). – М.: Международный фонд славянской письменности и культуры, 1993. – 68 с.

"Ясно говорящие" // За изобилие. – Янв. 1993. – № 7. – С. 3.

Где "прародина славян"? // За изобилие. – Февр. 1993. – № 15. – С. 3.

"Не дать забыть о нашем родстве" // Вехи (субботнее приложение к газете "Российские вести"). – Май 1993. – Вып. 8. – С. 1.

Urslavisch im Lichte des Wortschatzes (Sprache und Kultur in weiteren Zusammenhängen) // Aufbau, Entwiklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen (= Heidelberger Publikationen zur Slavistik. A. Linguistische Reihe. Bd. 6). – Frankfurt a. M., 1993. – S. 94–103.

Славянская этимология вчера и сегодня // Научн. докл. высш. школы. Филол. науки. – 1993. – № 2. – С. 3–18.

Синхрония, диахрония – und kein Ende... Маргиналии к конференции по русскому историческому словообразованию (Звенигород, осень 1989 г.) // Slavia. – 1993. – Roen. 62. – S. 65–75.

История началась на юге // За изобилие. – Авг. 1993. – № 102. – С. 2.

Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание: XI Междунар. съезд славистов, Братислава, сент. 1993 г. Докл. рос. делегации. – М.: Наука, 1993. – С. 3–23.

Этногенез и культура древнейших славян // Palaeoslavica. – 1993. – I. – P. 9–40.

Этногенез и культура древнейших славян // Советская археология. 1990. – М., 1993. – Вып.3. – С.10–33.

Беседы о методологии научного труда. 1. "Трактат о хорошей работе" // Рус. словесность. – 1993. – № 1. – С. 3–12.

Образованный ученый // Рус. словесность. – 1993. – № 2. – С. 3–13.

Истина познается в споре // За изобилие – Сент. 1993. – № 117. – С. 2.

Тайна имени. По следам Азовско-Черноморской Руси // Домострой. – 1993. – № 21. – С. 13.

Патриотизм, наука, правда // Домострой. – № 52. – 12.11.1993.

Ред.: Славянское языкознание: XI Междунар. съезд славистов, Братислава, сент. 1993 г. Докл. рос. делегации / Чл. редкол. – М.: Наука, 1993. – 351 с.

1994

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1994. – Вып. 20. – 256 с. – Авторский текст: **mulьga – *mъrsknǫti*. – С. 187–255. – Совм. с др.

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1994. – Вып. 21. – 236 с. – Авторский текст: **mъrskovatъjь–*mъrsьnъ(jь), *na–*nadejьnъjь*. – С. 6–7, 185–236. – Совм. с др.

Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // Этимология. 1991–1993. – М., 1994. – С. 3–23.

К отдаленнейшим истокам нашего самосознания: Презентация одной книги // Palaeoslavica. – 1994. – II. – P. 313–324.

Überlegungen zur vorchristlichen Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft // Z. slav. Philol. – 1994. – Bd. LIV. – S. 1–20.

Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания (по поводу новой книги: Leszek Mosżynski. Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft. Böhlau Verlag. Köln; Weimar; Wien, 1992) // ВЯ. – 1994. – № 6. – С. 3–15.

Мысли по поводу новой книги: L. Mosżynski. Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft. Böhlau Verlag. Köln; Weimar; Wien, 1992 // Palaeoslavica. – 1994. – III. – P. 211–229.

Русь, Россия. Очерк этимологии названия // Рус. словесность. – 1994. – № 3. – С. 67–70.

Маргиналии к новому "Этимологическому словарю древнеиндоарийского языка" М. Майрхофера // ВЯ. – 1994. – № 3. – С. 81–91.

О работе XI Международного съезда славистов (Историческое языкознание) // ВЯ. – 1994. – № 4. – С. 136–143.

Как рождаются мифы (еще раз о терминах "великая", "малая" и "белая Русь" // 340 лет Переяславской Рады: Тез. докл. – Донецк, 1994. – С. 6–9.

Ред.: Русская словесность / Чл. ред. совета. – М.: Школа-пресс, 1994. – № 4. – 96 с.

Ред.: Этимология. 1991–1993 / Отв. ред. – М.: Наука, 1994. – 192 с.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1994. – Вып. 19. – 272 с.

1995

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1995. – Вып. 22. – 255 с. – Авторский текст: **naděliti – *nadьnica, *naloga – *naręsti*. – С. 6–22, 175–246. – Совм. с др.

Славяне: язык и история – как основа этногенеза: К 20-летию издания "Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд" (1974–1994, I–XX, A–M) // Јужнословенски филолог. – 1995. – LI. – С. 291–304.

Размышления о словарях и личности лексикографа // Историко-культурный аспект лексикографического описания русского языка. – М., 1995. – С. 113–122.

SCLAVANIA на Майне в меровингскую и каролингскую эпоху. Реликты языка // Dialectologia slavica: Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна (= Исследования по славянской диалектологии. 4). – М., 1995. – С. 11–35. – Рез. нем.

Inauguračný prejav akademika Olega Nikolajeviča Trubačova [слово о матери] // Universitas šafarikiana, Košice – 1995. Roč. XXV, čislo 3/4. – S. 9.

Русский – российский (История, динамика, идеология двух атрибутов нации) // Русская нация: историческое прошлое и проблемы возрождения. – М., 1995. – С. 28–36.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова. / Чл. редкол. – М.: Наука, 1995. – Вып. 20. – 288 с.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова. / Чл. редкол. – М.: Наука, 1995. – Вып. 21. – 280 с.

1996

Этимологический словарь славянских языков. Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1996. – Вып. 23. – 239 с.

Slavica Danubiana continuata. Продолжение разысканий о древних славянах на Дунае / Международная научная конференция "Сопоставительные, типологические и сравнительно-исторические исследования русского и других славянских языков" (25–28 сентября 1996 г.) (= Сербский фонд славянской письменности и славянских культур. Библиотека "Славистического сборника". 1. Редактор Р. Мароевич). – Белград: Сербский лексикограф, 1996. – 37 с.

К прародине ариев (По поводу выхода книги: Ю.А. Шилов. Прародина ариев, история, обряды и мифы. Киев, 1995) // ВЯ. – 1996. – № 3. – С. 3–12.

О 'рябчике', 'куропатке' и других лингвистических свидетелях славянской прародины и праэкологии // ВЯ. – 1996. – № 6. – С. 41–48.

Беседа о црном и белом хлебу // Расковник. – Београд, 1996. – Год. XXII. – Број 85–86. – С. 59–62.

Рай // Рус. словесность. – 1996. – № 3. – С. 7.

Послесловие: *М.Ф. Мурьянов.* Рождение трагедии "Моцарт и Сальери" // Вест. РАН. Сер. лит. и яз. – 1996. – Т. 66. – № 1. – С. 68–69.

Александр Саввич Мельничук (к 75-летию со дня рождения) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – 1996. – Т. 55. – № 4. – С. 91–92.

Занимаясь законом о русском языке // Патриотизм: общероссийский и национальный. – М., 1996. – С. 54–57.

Ред.: Русская словесность / Чл. ред. совета. – М.: Школа-пресс, 1996. – № 4. – 96 с.

К третьему изданию // *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – СПб., 1996. – Т. I. – С. 4.

Послесловие ко второму изданию "Этимологического словаря русского языка" М. Фасмера // *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – СПб., 1996. – Т. I. – С. 563–573.

Дополнения и исправления к томам II и III издания 2-го // *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – СПб., 1996. – Т. III. – С. 828–831.

Дополнения и исправления к томам III, IV издания 2-го // *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – СПб., 1996. – Т. IV. – С. 853–861.

Пер. и доп.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – СПб.: Азбука – Терра, 1996. – Т. I–576 с.; Т. II–672 с.; Т. III – 832 с.; Т. IV – 864 с.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1996. – Вып. 23. – 253 с.

1997

Этимологический словарь славянских языков. Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1997. – Вып. 24. – 234 с. – Авторский текст: **ne*, **ně* – **nelьzьnъjь*. – С. 91–151. – Совм. с др.

В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 1997. – 284 с.

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд // Вест. Рос. гум. научн. фонда. – 1997. – № 2. – С. 116–122.

Продолжение диалога // Этимология. 1994–1996. – М., 1997. – С. 20–26.

SCLAVANIA am Obermain in merovingischer und karolingischer Zeit: die Sprachreste // Central Europe in 8th–10th centuries. International scientific conference, Bratislava, Oct. 2–4, 1995. – Bratislava, 1997. – P. 53–55.

Древние славяне на Дунае. Южный фланг (лингвистические наблюдения). II // Palaeoslavica. – 1997. – V. – P. 5–29.

"Библейские" статьи из "Русской энциклопедии" // Palaeoslavica. – 1997. – V. – P. 327–334.

Русская энциклопедия и ее антиподы. Хатчинсоновская карманная энциклопедия // Рус. словесность. – 1997. – № 3. – С. 12–16.

Русская энциклопедия и ее антиподы. "Карманная энциклопедия the Hutchinson" // Деловая книга. – 1997. – № 6 (54). – С. 13–14.

Мои воспоминания о Никите Ильиче Толстом // ВЯ. – 1997. – № 2. – С. 5–15.

[Без назв., под общим назв.] Личность. Из воспоминаний о Н.И. Толстом // Культурное возрождение. – 1997. – Ноябрь. – № 1. – С. 5.

Взгляд на проблему прародины славян // Держава. – 1997. – № 1. – С. 26–31.

Русская национальная идея (Дневниковая запись для несуществующего дневника) // Рус. вестник. – 1997. – № 15–17. – С. 5.

Когда в России два Чубайса – это слишком (Дневниковая запись для несуществующего дневника) // Правда – 1997. – 7 июня. – № 5.

Пер.: *Мошинский Л.* Современные лингвистические методы реконструкции праславянских верований: Пер. с польск. // Этимология. 1994–1996. – М., 1997. – С. 9–20.

Ред.: Этимология. 1994–1996. / Отв. ред. – М.: Наука, 1997. – 223 с.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1997. – Вып. 22. – 298 с.

1998

Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду // ВЯ. – 1998. – № 3. – С. 3–25.

То же // Славянское языкознание: XII Международный съезд славистов: Докл. росс. делегации. – М., 1998. – С. 3–33.

То же [Краткая версия] // Научн. докл. высш. школы. Филол. науки. – 1998. – № 3. – С. 3–14.

Slavica Danubiana continuata (Продолжение разысканий о древних славянах на Дунае) // Palaeoslavica. – 1998. – VI. – P. 5–24.

Из работы над ЭССЯ 26 // Слово и культура. Памяти Н.И. Толстого. – Т. 1. – М., 1998. – С. 306–315.

Фрагменты этимологического словаря индоарийских реликтов Северного Причерноморья // POLYTROPON. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. – М., 1998. – С. 53–60.

Меняющийся мир и вечные слова // Отечественные лексикографы XVIII–XIX вв.: Материалы для хрестоматии. – М., 1998. – С. 9–14.

[Выступление на церемонии закрытия XII Международного съезда славистов в Кракове 2 сентября 1998 г.] // XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków. 27 sierpnia – 2 września 1998. Biuletyn informacyjny 3. – [s. 1, s. a.] – S. 11–14.

Слово на открытии Международной конференции "130 лет Московскому славянскому съезду" 21 мая 1997 г. // Славянское движение XIX–XX веков: съезды, конгрессы, совещания, манифесты, обращения. – М., 1998. – С. 10–14.

Через лексику – к этническому прошлому народов // Новая деловая книга. – 1998. – № 5. – С. 5–8.

Человек-эпоха (акад. Б.А. Рыбакову – 90 лет) // Слово. – 1998. – № 4. – С. 29–30.

Взгляд на проблему прародины славян (парадоксы науки и парадоксы жизни) // Рус. ист. вест. – Т. 1. – 1998. – С. 52–64.

Ответы на вопросы корреспондентов журнала "Славия" // Русско-славянская цивилизация: исторические истоки, современные геополитические проблемы, перспективы славянской взаимности. – М., 1998. – С. 161–169.

Академик Рыбаков: Человек-эпоха // Новая книга. – 1998. – № 8 (46). – С. 5–6.

Ответы на вопросы корреспондентов журнала "Новая книга": И было слово... // Новая книга. – 1998. – № 7. – С. 6–8.

"Чтоб соединены были в одном духе и одних мыслях" // Всеславянский собор: Альманах международного союза общественных объединений. – М., 1998. – С. 22–23.

1999

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1999. – Вып. 25. – 238 с. – Авторский текст: **neugotopьnъjь – *niščьjь*. – С. 54–123. – Совм. с др.

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 1999. – Вып. 26. – 237 с. – Авторский текст: **o–*obděnǫti*. – С. 70–153. – Совм. с др.

INDOARICA в Северном Причерноморье. – М.: Наука, 1999. – 320 с.

Славистика на XII Международном съезде славистов (краткий обзор) // ВЯ. – 1999. – № 3. – С. 3–19.

Россия – Польша – Югославия // Вест. РАН. – 1999. – Т. 69. – № 7. – С. 640–645.

Поминая первоучителей славян // Новая книга России. – 1999. – № 5. – С. 11–12.

Славистика на пороге XXI века // Рус. яз. в шк. – 1999. – № 1. – С. 95–100.

К итогам XII Международного съезда славистов / Беседа отв. секр. "Московского журнала" Александра Александровича Белая с акад. РАН Олегом Николаевичем Трубачевым // Московский журнал. – 1999. – № 1. – С. 15–17.

Реконструкция реликтов языка // Новая книга России. – № 11. – 1999. – С. 13.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 1999. – Вып. 24. – 254 с.

2000

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 2000. – Вып. 27. – 247 с. – Авторский текст: **obixoditi – *obizьrěti; *oblabiti–*oblězati*. – С. 93–97, 232–247. – Совм. с др.

Из истории лингвистической географии восточнославянского освоения (В поисках единства. Вятичи-рязанцы среди восточных славян) // Русская историческая лексикография на современном этапе: К 25-летию издания СлРЯ XI–XVII вв. – М, 2000. – С. 7–14.

Предисловие // *Марojвић Р.* Старославенске студије. – Београд, Крагујевац, 2000. – С. 6–14.

Региональный славянский суффикс *-otja: (Продолжение одной лингвистической идеи Бошковича) // Српски језик. – 2000. – Број 5/1–2, година V. – С. 227–232.

Из лексических комментариев к поискам прародины славян // Studia etymologica brunensia 1. – Praha, 2000. – С. 17–22.

Человек словаря // Рязанские ведомости. – 24.5.2000. – Интервью с корр. Г. Гапуриной.

Из истории и лингвистической географии восточнославянского распространения // Јужнословенски филолог. – 2000. – LVI/3–4. – С. 1257–1279.

Меняющийся мир и вечные слова // Отечественные лексикографы. – М.: Наука, 2000. – С. 12–18.

Из истории и лингвистической географии восточнославянского освоения // ВЯ. – 2000. – № 5. – С. 4–27.

Информация для участников очередного, XIII Международного съезда славистов 2003 г. // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – 2001. – Т. 6. – № 2. – С. 88.

О настоящем (Слово, сказанное по случаю торжества жизни) // Новая книга России. – декабрь 2000 г. – № 12. – С. 41–44.

Ред.: Этимология. 1997–1999: (К 70-летию О.Н. Трубачева) / Чл. редкол. – М., 2000. – 240 с.

Ред.: Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова / Чл. редкол. – М.: Наука, 2000. – Вып. 25. – 315 с.

2001

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 2001. – Вып. 28. – 266 с. – Авторский текст: **obležti* – **obmilьje*; **obpolza*–**obpovědanьje*. – С. 5–66, 256–266. – Совм. с др.

Русский – российский: История двух атрибутов нации // Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. – М., 2001. – С. 13–21.

Из воспоминаний (посвящается 25-летию начала публикаций Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ): 1974–1999) // Рус. яз. в науч. освещении – 2001. – № 1. – С. 264–269.

"Плавание необходимо...": Предисловие // Кавад Раш. Христос воскресе, матросы. М., 2001. – С. 3–9.

Алфавитная глобализация // Советская Россия. – 14.12.2001. – № 144 (12189). – С. 5. – Интервью с корр. Ю. Лощицем.

Предисловие и ред.: Верещагин Е.М. Церковнославянская книжность на Руси: Лингвотекстологические разыскания. М.: Индрик, 2001. 608 с. – С. 8–12.

Предисловие // Смирнов С.В. Отечественные филологи-слависты середины XVIII–нач. XX в. М., 2001. – С. 6.

2002

Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Отв. ред. – М.: Наука, 2002. – Вып. 29. – 254 с. – Авторский текст: **obpovědati* – **obrьšina*. – С. 5–59. – Совм. с др.

Вятичи-рязанцы среди восточных славян (к проблеме этногенеза) // И.И. Срезневский и современная славистика: наука и образование: Сб. науч. тр. (по материалам Международной научно-практической конференции "Славянские языки, письменность и культура", 27–29 мая 2002 г. Ряз. гос. пед. ун-т им. С.А. Есенина) / Отв. ред. Г.А. Богатова, Е.В. Архипова. – Рязань, 2002. – С. 11–17.

Из истории и лингвистической географии восточнославянского распространения // В пространстве филологии / ДонНУ, Филологический факультет. – Донецк: ООО "Юго-Восток Лтд", 2002. – С. 22–45.

Проблемы исторической лексикологии (К столетию В.И. Абаева) // Вопросы филологии – № 2 (11) 2002. – С. 5–8.

Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. – Изд. 2-е, дополненное. – М.: Наука. 2002. – 489 с.

2003

Книга в моей жизни // ВЯ. – 2003. – № 1 (янв.–февр.) – С. 6–14.

Путешествие за словом. Беседа первая (2 сентября 2000 г.) // Новая книга России. – январь 2003. – № 1 (49). – С. 24–26.

Путешествие за словом. Беседа вторая (6 сентября 2000 г.) // Новая книга России. – февраль 2003. – № 2 (50). – С. 28–30.

Путешествие за словом. Беседа третья (8 сентября 2000 г.) // Новая книга России. – март 2003. – № 3 (51). – С. 42–43.

Слово о русской энциклопедии и некоторых библейских энциклопедических статьях // Православный палестинский сборник. – Вып. 100. – М., 2003. – С. 172–182.

Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974–2003). (Доклад пленарного заседания XIII Международного съезда славистов в Любляне) / Отв. ред. И.Б. Еськова. – М.: Институт русского языка РАН, 2003. – 47 с.

2004

Главное слово народа. – О Русская земля. Русские писатели о нашей Родине. – № 2 (34) 2004. – С. 6–7.

Заветное слово. Взгляд лексикографа на проблемы языкового союза славян / Союз писателей России; Отв. ред. и составители Г.А. Богатова, Ю.М. Лощиц – М: Информационно-издательская продюсерская компания "ИХТИОС", 2004. – 224 с. – (Славянский мир: Приложение к журналу "Новая книга России").

Труды по этимологии: Слово. История. Культура. В двух томах. Т. 1. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 800 с. (Opera etymologica. Звук и смысл).

2005

Труды по этимологии: Слово. История. Культура. В двух томах. Т. 2. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 664 с. (Opera etymologica. Звук и смысл).

ЛИТЕРАТУРА ОБ О.Н. ТРУБАЧЕВЕ

Літературно-творчий гурток // За більшовицькі наукові кадри*. – 1951. – 19 грудня, № 7. – С.2.

На Днепре: фотоэтюд с текстом Г. Павзенко // Днепропетровская правда. – 1951. – 1 мая, № 87 (2935). – С. 4.

Похвальні грамоти за наукові студентські роботи // За більшовицькі наукові кадри*. – 1952. – 19 березня, № 9. – С. 1.

Государственные экзамены в Госуниверситете // Днепропетровская правда. – 1952. – 7 июня, № 112 (3216). – С. 3.

Кравчук Р.В. З історії слов'янського мовознавства. – Київ: Радянська школа, 1961. – 140 с. (№№ 76, 385, 708, 1444).

Стехін Ю. О.М. Трубачов // За передову науку**. – 1967. – 20 грудня, № 40 (622). – С. 2.

Трубачев Олег Николаевич // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1977. – Т. 26. – С. 256.

Трубачев Олег Николаевич // Русский язык: Энциклопедия. – М., 1979. – С. 356.

Трубачев Олег Ник. // Сов. энцикл. слов. – М., 1980 (и след. изд). – С. 1368.

Академик-языковед О.Н. Трубачев. Имена волгоградцев в энциклопедии // Вечерний Волгоград. – 13 авг. 1980. – № 186. – С. 3.

Бернштейн С.Б. Олег Николаевич Трубачев: [К 50-летию со дня рождения] // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40, вып. 1. – С. 85–88.

Трубачев Олег Николаевич // Укр. сов. энцикл. – Киев, 1984. – Т. 11. – С. 270.

Трубачов Олег Миколайович // Укр. рад. Енцикл. – 2-е вид. – Київ, 1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 365.

[О переводе словаря М. Фасмера] // Namenkundliche Informationen. – Karl-Marx-Universität. – Leipzig, 1988. – S. 76.

Трубачев Олег Николаевич // Укр. сов. энцикл. словарь: В 3 т. – Киев, 1989. – Т. 3. – С. 409.

Наровчатская Л. Сопричастие // Литературная газета. – 14 июня 1989. – № 24. – С. 10.

---

* Орган партбюро, ректорату, комітету комсомолу, профкому та місцевкому Дніпропетровського державного університету.

** Орган парткому, профкому, комітету ЛКСМУ і ректорату Дніпропетровського державного університету імені 300-річчя возз'єднання України з Россією.

Гиндин Л.А. Олег Николаевич Трубачев: К 60-летию со дня рождения // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1990. – Т. 49, вып. 4. – С. 394–396. (отдельный оттиск).

Петухов Ю. [Об О.Н. Трубачеве] // *Петухов Ю.* Вечная Россия: Публицист. очерки. – М., 1990. – С. 22–24. – (Б-ка журн. "Молодая гвардия").

Гиндин Л.А. Члену-корреспонденту АН СССР О.Н. Трубачеву – 60 лет // Вест. АН СССР. – 1991. – № 2. – С. 157–158.

Олег Николаевич Трубачев / Сост. Л.В. Шутько; Авт. вступ. ст. Л.А. Гиндин. – М.: Наука, 1992. – 72 с. (материалы к биобиблиографии ученых. Сер. лит. и яз.; Вып. 21).

Гиндин Л.А. Краткий очерк научной и научно-организационной деятельности // Олег Николаевич Трубачев: Российская академия наук: Материалы к биобиблиографии ученых. Сер. лит. и яз. Вып. 21. – М., 1992. – С. 6–25.

Васильев А. Единая и неделимая // Красноярская газета. – 31.12.1992. – № 150 (226). – С. 3.

Лисовой Н. "Знай свой род": Размышления над книгой О.Н. Трубачева // Домострой. – 18.5.1993. – № 20. – С. 10.

Лощиц Ю.Н. Трубачев // Образ: Журнал писателей православной России. – 1995. – № 1. – С. 89–92.

Važnost hidronimije za proučavanje slavenske etnogenese // Filologija. – Zagreb, 1997. – Knjiga 29. – S. 1–24.

Трубачев Олег Николаевич // Кто есть кто в России. – М.: МТ-Траст, 1997. – С. 377.

Трубачев О.Н. // Кто есть кто в современной русистике. – М.; Хельсинки, 1998

Калашников А.А. Указатель трудов Олега Николаевича Трубачева за 1992–1999 гг. // Этимология. 1997–1999. – М., 2000. – С. 225–230.

Жукова Л.Н. Отряд Трубачева сражается // Парламентская газета. – 2.11.2000. – № 210 (590). – С. 6.

Олег Николаевич Трубачев // Отечественные лексикографы XVIII–XX века. – М.: Наука, 2000. – С. 479–501.

Баженова А. Одна семья – три энциклопедии // Лит. Россия. – 15. 9. 2000. – С. 15.

Добродомов И.Г. Олег Николаевич Трубачев // Изв. РАН: Сер. лит. и яз. – 2000. – Т. 59. – № 6. – С. 75–76.

Юдакин А.П. Ведущие языковеды мира: Энциклопедия. – М.: Советский писатель, 2000. – С. 725–727.

Топоров В.Н. К семидесятилетию О.Н. Трубачева // Этимология. 1997–1999. – М., 2002. – С. 3–5.

Служение слову: Памяти О.Н. Трубачева // Московский строитель. – 11. 03. 2002.

Никитин О.В. "Русского человека стало меньше": Памяти выдающегося слависта акад. Олега Николаевича Трубачева (1930–2002) // Моск. журнал – 2002. – № 5. – С. 13–17.

Олег Николаевич Трубачев: (1930–2002) // Рус. яз. в шк. – 2002. – № 3. – С. 107–108.

Калашников А.А., Куркина Л.В., Петлева И.П. Олег Николаевич Трубачев: 23.X.1930 – 9.III.2002 // ВЯ – 2002. – № 3. – С. 5–7.

Ondruš Šimon. Odišiel vel'ký slavista // Strana. Literárny týždenník. – 18. Apríla 2002. – С. 5.

Топоров В.Н. Слово при прощании // Рус. яз. в науч. освещении – 2002. – № 1(3). – С. 5–7.

Журавлев А.Ф. Академик Олег Николаевич Трубачев (1930–2002) // Известия АН. Серия литературы и языка – 2002. – Т. 61. – № 4. – С. 78–79.

Eckert R. In memoriam Akademiemitglied Oleg Nikolaevic Trubacev. Nekrolog // ZfSl 48 (2003) 1, 107–109.

Топоров В.Н. Памяти Олега Николаевича Трубачева // ВЯ. – 2003. – № 1. – С. 5.

Добродомов И.Г. Олег Николаевич Трубачев // ВЯ. – 2003. – № 1 (янв.–февр.) – С. 18–29.

Чернышева М.И. Олег Николаевич Трубачев и наше поколение. Из воспоминаний // ВЯ. – 2003. – № 1. – С. 30–36.

Богатова Г.А. Библиотека в жизни О.Н. Трубачева // ВЯ. – 2003. – № 1 (янв.–февр.) – С. 15–17

Богатова-Трубачева Г.А. О.Н. Трубачев // Новая книга России. – март 2003. – № 3(51). – С. 41.

Бакаленко И.Н. Слово об ученом. Памяти выдающегося слависта, академика РАН Олега Николаевича Трубачева // Трубачев Олег Николаевич. Биобиблиографический указатель. – Запорожье, 2003. – С. 3–7.

Целищева Н. Нить времени проходит через сердце (Сумка, полная сердец... "Патриархи" журнальных страниц и талантливый "зеленый молодой народ") // Народное образование – 2003. – № 1 (1324) – С. 321.

Академик Олег Николаевич Трубачев: Слово о замечательном волгоградце. – Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2003. – 128 с.

Герои нашего времени – О.Н. Трубачев и Г.А. Богатова // Л.В. Козарь, при участии В.А. Пивень. Хлебниково: большая история маленького поселка (по материалам школьной краеведческой работы) – Хлебниково, Изд-во "Вестком", 2003. – 1000 экз. – 88 с. – С. 74–80.

Дерягина З.С. Русский континент в науке. Об академике О.Н. Трубачеве рассказывает Г.А. Богатова-Трубачева, доктор филологических наук, руководитель программы "Историческая память Росии" // Русский Вестник. № 6 (634), 2004. – С. 12.

Шапошников А.К. рец.: О.Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. Изд.2. М.: 2002. 489 с. // Изв. РАН. Сер. лит. и яз., 2004, том. 63, № 5, С. 61–64.

БИОБИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ О.Н. ТРУБАЧЕВА

Олег Николаевич Трубачев: Российская академия наук: Сер. лит. и яз. Вып. 21: Материалы к биобиблиографии ученых / Сост. Л.В. Шутько / Автор вступ. статьи Л.А. Гиндин. – М.: ИНИОН, 1992. – С. 26–54.

Калашников А.А. Указатель трудов Олега Николаевича Трубачева за 1992–1999 гг. // Этимология. 1997–1999. – М., 2000. – С. 225–230.

Олег Николаевич Трубачев: Науч. деятельность: Хронолог. Указ. / Гл. ред. Е.П. Челышев; Отв. ред. Г.А. Богатова; авт. вступ. ст. Л.А. Гиндин, И.Г. Добродомов. – М.: Наука, 2003. – 96 с.

Трубачев Олег Николаевич. Биобиблиографический указатель. – Запорожье, 2003. – С. 3–7.

Олег Николаевич Трубачев: Материалы к библиографии ученого. – Красноярск: РИО КГПУ, 2003. – 88 с.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АН СССР – Академия наук СССР
БСЭ – Большая советская энциклопедия
Вест. АН СССР – Вестник Академии наук СССР. Москва
Вест. древ. истории – Вестник древней истории. Москва
Вест. РАН. Сер. лит. и яз. – Вестник Российской академии наук. Серия литературы и языка
Вест. Рос. гум. научн. фонда – Вестник Российского гуманитарного научного фонда
Вопр. слав. языкознания – Вопросы славянского языкознания. Москва
Вост. филология – Восточная филология. Тбилиси
ВЯ – Вопросы языкознания. Москва
Домострой – Домострой. Москва
Дружба народов – Дружба народов. Москва
ЖВХО – Журнал химического общества. Москва
Изв. АН СССР. ОЛЯ – Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка
Изв. АН СССР. Сер. геогр. – Известия Академии наук СССР. Серия географическая. Москва
Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка
Картотека ДРС – Картотека Словаря русского языка XI–XVII вв.
Картотека СДР – Картотека Древнерусского словаря XI–XIV вв.
Крат. лит. энцикл. – Краткая литературная энциклопедия
Крат. сообщ. Ин-та славяноведения – Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. Москва
Культ.-просвет. работа – Культурно-просветительная работа. Москва
Лит. газ. – Литературная газета. Москва
Лит. Россия – Литературная Россия. Москва
Мовознавство – Мовознавство. Київ
Молодежь Литвы – Молодежь Литвы. Вильнюс
Моск. строитель – Московский строитель
Нар. образование – Народное образование. Москва
Народы Азии и Африки – Народы Азии и Африки. Москва
Наука и жизнь – Наука и жизнь. Москва
Наука и религия – Наука и религия. Москва
Наука і культура – Наука і культура. Київ
Научн. докл. высш. школы. Филол. науки. – Научные доклады высшей школы. Филологические науки

Науч. скупови / Срп. акад. наука – Научни скупови. Српска академја наука и уметности. Београд
Обществ. науки – Общественные науки. Москва
Рус. вестник – Русский вестник
Рус. ист. вест. – Русский исторический вестник
Рус. речь – Русская речь. Москва
Рус. словесность – Русская словесность
Рус. яз. в науч. освещении – Русский язык в научном освещении
Рус. яз. в шк. – Русский язык в школе
Слово – Слово. Москва
Сов. Россия – Советская Россия. Москва
Сов. славяноведение – Советское славяноведение. Москва
Сов. энцикл. слов. – Советский энциклопедический словарь
Укр. сов. энцикл. словарь – Украинский советский энциклопедический словарь
Укр. сов. энцикл. – Украинская советская энциклопедия
Acta Balt.-Slav. – Acta Baltico-Slavica. Białystok
Am. Anthropol. – American Anthropologist. Menasha (Wisc.)
Beitr. Namenforsch. – Beiträge zur Namenforschung. Heidelberg
Indogerm. Forsch. – Indogermanische Forschungen. Berlin; New York
J. Indo-Eur. Stud. – Journal of Indo-European Studies. Washington
Jazykoved. aktual. – Jazykovedné aktuality
Kauno tiesá – Kauno tiesá. Kaunas
Letopis In-ta serb. ludospyt. Rjad A – Letopis Instituta za serbski ludospyt. Rajad A. Budyšin
Lingua Posnaniensis – Lingua Posnaniensis. Poznań
Names – Names. New York
Onomastica – Onomastica. Wrocław
Onomastica Jugoslav. – Onomastica Jugoslavica. Zagreb
Paideia – Paideia. Geneva
Ponto-Baltica. – Ponto-Baltica. Florence
Prace filol. – Prace filologiczne. Warszawa
Slav. orient. – Slavia orientalis. Warszawa
Slav. rev. – Slavistična revija. Ljubljana
Slavia – Slavia. Praha
Welt Slav. – Die Welt der Slaven. Wiesbaden
Wien. Slav. Jahrbuch – Wiener Slavistisches Jahbuch
Z. Phonetik – Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Berlin
Z. slav. Philol. – Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg
ZfSl. – Zeitschrift für Slawistik. Berlin
Zesz. nauk. wydz. hum. Uniw. Gdańsk. Filol. ros. – Zeszyty naukowe Wydziału humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia rosyjska

ОГЛАВЛЕНИЕ

К ЧИТАТЕЛЮ 3

I. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 11

II. ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЕЛ КИЕВ... И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 35

III. "А КТО ТАМ ИДЕТ?". ВЗГЛЯДЫ НА ЭТНОГЕНЕЗ БЕЛОРУСОВ 59

IV. СМОЛЕНСКИЕ МОТИВЫ 93

V. К ИСТОКАМ РУСИ (НАБЛЮДЕНИЯ ЛИНГВИСТА) 131

VI. ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКА ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РУСИ 189

VII. РУССКИЙ – РОССИЙСКИЙ. ИСТОРИЯ, ДИНАМИКА, ИДЕОЛОГИЯ ДВУХ АТРИБУТОВ НАЦИИ 225

VIII. СЛАВЯНЕ И ЕВРОПА 237

ПРИЛОЖЕНИЕ 243

Научное издание

Трубачев Олег Николаевич

В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА

Взгляд филолога
на проблему истоков Руси

3-е издание, дополненное

Утверждено к печати
Ученым советом
Института русского языка
им. В.В. Виноградова
Российской академии наук

Зав. редакцией *Е.Ю. Жолудь*

Редактор *Т.М. Скрипова*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Т.В. Болотина*
Технический редактор *В.В. Лебедева*
Корректоры *А.Б. Васильев, Е.Л. Сысоева*

Подписано к печати 13.07.2005
Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Гарнитура Таймс
Печать офсетная. Усл.печ.л. 18,0 + 0,1 вкл.
Усл.кр.-отт. 18,6. Уч.-изд.л. 19,9. Тип. зак. 1171

Издательство "Наука"
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

ППП "Типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6

О.Н. Трубачев

В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА

Олег Николаевич ТРУБАЧЕВ (1930–2002), славист, индоевропеист, всемирно признанный этимолог-лексикограф. Его «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» и перевод «Этимологического словаря русского языка» Макса Фасмера являются фундаментальными трудами, лежащими в основе научной этимологии России. Широкую известность приобрели труды О.Н. Трубачева «Этногенез и культура древнейших славян» (1991, 2002), «Indoarica в Северном Причерноморье» (1999). Среди книг, издание которых приурочено к 75-летию со дня рождения О.Н. Трубачева, упомянем двухтомник «Труды по этимологии. Слово. История. Культура» (2004–2005) и научно-популярную книгу «В поисках единства» (1992, 1997). В данном издании речь идет о происхождении восточнославянских народов, о названиях городов, областей и стран Русского Мира.

ISBN 5-02-033259-3

НАУКА